

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: М. Н. Долгов

1/2017

Содержание

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Анатолий КИРИЛИН. Белая дверь. Повесть. | 3 |
| Татьяна СКРУНДЗЬ. Мера привязанности. Рассказы. | 52 |
| Владимир КУНИЦЫН. У зеркала. Миниатюры и эссе. | 66 |
| Марина НЕКРАСОВА. Улица желтых фонарей. Рассказ. | 86 |
| Виталий МАКСИМЕНКО. Поймать ветер. Рассказ. | 96 |
| Ирина КОСЫХ. Все прощено. Рассказы. | 102 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|----|
| Василий РЫСЕНКОВ. Заповедник туманов. Стихи. | 47 |
| Лидия ЛЮБЛИНСКАЯ. Старый Петербург. Стихи. | 61 |
| Михаил БАЗИЛЕВСКИЙ. «И этот слух, настроенный на шепот...» Стихи. | 82 |

У НАС В ГОСТЯХ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТАЛ «БЕЛЫЙ МАМОНТ»

| | |
|--|-----|
| Татьяна САПРЫКИНА. Бог Ефимыч. Рассказ. | 112 |
| Алексей ГРЕБЕННИКОВ. Дух бобра. Рассказ. | 117 |
| «Петуния у монастырских стен...» Татьяна ЗЛЫГОСТЕВА, Владимир ЗАХАРОВ. Стихи. | 125 |

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|-----|
| Сергей ЗАПЛАВНЫЙ. Город на реке чистоводной. Историческое повествование. | 129 |
|---|-----|

Народные мемуары

| | |
|---|-----|
| Валентина КОТЕГОВА. Ради чего живем. Воспоминания первостроителя новосибирского Академгородка. | 172 |
|---|-----|

Картинная галерея «Сибирских огней»

| | |
|---|-----|
| Светлана ГОЛИКОВА. Томск в графике Вадима Мизерова. | 189 |
|---|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Авторы номера | 191 |
|----------------------------|-----|

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Анатолий КИРИЛИН

БЕЛАЯ ДВЕРЬ

П о в е с т ь

Глава первая

Я обошел всю землю вдоль и поперек. Я нигде не был. Про меня написал Василий Розанов: обежал все пространства, не выходя из ворот. Написал задолго до моего появления на свет. В этом маленьком городе, где прошла вся моя жизнь, я люблю все: грязные улицы, обшарпанные дома, неработающие фонтаны, бабуку, визгливо исполняющую под баян песни вагонных побирушек. Даже ее грязные перчатки с обрезанными пальцами. Даже мороз, который никак не выгонит эту бабуку с улицы. Я люблю — как живое существо, до сладких позывов в сердце — огромный камень черного габбро перед зданием напротив моего дома. Когда я возвращаюсь из винной лавочки, где давно уже запрещено распивать, а мне, как ветерану винопития, потихоньку наливают в стаканчик с бодрой надписью «пепси-кола», я обнимаю черный камень, прижимаюсь к нему, остужая свою хмельную голову.

— Брат мой, — говорю ему, — пойдем домой! Чего разлежся? Вот сейчас поднатужимся, встанем на ноги — и пойдем.

На камне написано: «Здесь будет установлен...», но я-то знаю, что никогда и ничего здесь не будет установлено.

Я этот город придумал. Я в нем главный архитектор, с моего согласия построены дома и расчерчены улицы, потому мне точно известно, что тут будет, а чему не бывать, на десятилетия вперед.

И вот я уйду. Когда выходил из дому, в коридоре взорвалась лампочка. Интересно, сколько вещей надо взять с собой? Каких? Сейчас лето, а потом... Сколько продлится это «потом»? Лучше всего выкинуть из головы все эти вопросы. Без того есть чем занять ее, мою редко бывающую ясной голову. Прежде всего надо выяснить, от какого времени начинается мой исход. Или назовем это точкой отсчета?

Надо же, вот дом, в который мы с родителями переехали, когда мне не было еще и восьми. Тем не менее он построен по моему проекту, это я придумал пилястры и карниз, арку с чугунными литыми воротами.

Такое же литье соединяет наш дом с соседними — справа и слева, замыкая квартал от улицы Новой до Брестской. Я, может быть, хотел, пускай бы привратник запирали все эти ворота на ночь, чтобы лихие люди не могли попасть во двор? Нет, наверно, мысли были о другом, потому что ничего не стоило обойти дома и попасть во двор с той же Брестской или Дёповской... Как бы там ни было, ворота ни разу не запирались, и в арку то и дело заскакивают прохожие с проспекта и справляют нужду, прячась за колоннами. Таким образом, мое архитектурное чудо во все времена года отвратительно пахнет. Говорят, наш город во многом повторяет зодческие мотивы Питера. Ничего удивительного, предки мои оттуда, мать во всяком случае.

Но я пойду не отсюда, не с этого места.

— Здравствуй, Валя! Хорошо выглядишь. На работу?

— С внучкой сидеть — такая у меня теперь работа. А ты?

— Я тоже теперь не работаю.

Какая красавица была! Мой друг Левка ходил по ней с ума и дрался со всеми ее одноклассниками. Куда все девается? Кстати, а где сейчас Левка? Года три назад я нашел его фотографию в социальных сетях, отписался, но ответа не последовало. Эта фотография до сих пор присутствует в Интернете: в кресле жена Ирина, устроившись на подлокотнике, приник к ней Лева. Оба молодые, даже не верится, ведь столько лет прошло. Такими я их видел, когда был у них в гостях в Алма-Ате тридцать лет назад. Обстановка в доме шикарная, прямо-таки дворцовые покои: Левка всегда был настроен на обеспеченную жизнь. Бесстрашный карманник с рыночного проезда. Под фотографией: «Израиль, Хайфа». И больше ничего.

Не так давно Левкин сосед по парте Эдик сказал, что он умер. И уже давно, года три пожалуй. Я оглядел Эдика, толстого, обрюзгшего, с отечным лицом, с желтой кожей, и вспомнил Левку с фотографии, на которой он был совсем как в той юной нашей жизни. А потом встретил человека по кличке Ероха; имени его никто и никогда не называл. Ероха в далеком детстве вместе с Левкой на рынке чистил у зазевавшихся теток карманы. Все говорили, что он своей смертью не умрет. Так вот же, дожил до шестидесяти.

— Звонил мне месяца два назад, — прохрипел Ероха на вопрос о Леве. — Живее всех живых. Дай бог каждому.

У Левки были еще друзья и одноклассники, помню Славку и Толю. Они сидели за одной партией, так парой и пошли учиться после школы — не то музыке, не то хоровому пению, а может, тому и другому вместе. Потом они пели в городском сводном хоре, а еще в церковном, а еще — это уже порознь — в кабаках, вечерами. Времена наступили трудные, хоровым певцам везде платили копейки. Позднее Толя стал петь в милицейском хоре, только почему-то для сцены его и товарищей обряжали в военные мундиры. Из-за всеобщей нелюбви к милиции, что ли? Так это не довод, у нас большая часть населения не любит свою нынешнюю жизнь, а продолжает упорно голосовать за тех, кто ее такую им устроил.

А Славка прямой дорогой пошел в попы. Ну, постепенно, конечно, как у них там водится — сначала псаломщиком, потом алтарщиком, пономарем... Не знаю, врать не буду. Но во время службы в Никольском храме я его видел собственными глазами — прислуживал батюшке, простоволосый, в желто-золотистом облачении.

И любили они одну и ту же свою одноклассницу, тихоню и отличницу Людочку. А Людочка любила меня, учившегося в той же школе тремя классами старше. Но это — отдельная история, долгая, печальная и греховная. По сию пору встречаю ее, она вроде бригадирши среди торговки цветами в районе Октябрьской площади. Цветы красивые, из Голландии, а торговки, говорят, все больше из проституток. Иные, опять же по слухам, предлагают наряду с цветами и себя. Правда, думается мне, вряд ли кто пойдет покупать цветы, надеясь на последующее знакомство, а тем более на связь со шлюхой, скорее всего и логичнее — оно, знакомство, уже состоялось. Чаще всего цветы покупают дамам и барышням.

Нынче при встречах Людочка делает вид, будто едва со мной знакома. Она постарела, подурнела, наверно, пьет, как ее покойная мамаша. Макияж на увядшем лице и вызывающе броская одежда делают ее похожей на грустного клоуна... Мысли дурацкие лезут в голову. Например. Что бы ей не открыться мне тогда, в дни ее выпускных экзаменов в школе? А она вместо того простаивала ночи напролет под моими окнами. И ни слова. Все могло быть по-другому, но в те дни я не замечал ее. И все случилось как случилось. И полюбил я Людочку, застав еще любовь ее ко мне, да, видимо, остатки оказались слишком уж незначительными. Она изменяла мне направо и налево, спала с моими друзьями и говорила, что не хочет делить меня ни с кем, ревнует к прошлым женщинам, будущим и даже к тем, кто еще не достиг совершеннолетия. Ревнует даже к тарелке, из которой я ем суп. Это она мне объясняла, сидя зареванная посреди горы разбитой посуды.

А Славка с Толей ненавидят меня по сей день. Смешно, честное слово! Но не буду же я им втолковывать, что судьба отнесла их от многих бед и потерь, может быть, благодаря мне. Тихоня и отличница превратилась в какое-то странное существо, где соединились алчность, распутство, пьянство и желание казаться дамой «из общества».

Откуда же начать свой тихий исход? Почему-то в последнее время то и дело всплывает в памяти лесная опушка, вагончик на ней, наша бригада, строящая зерноток. Мой день рождения, как раз половина сегодняшнего возраста. Наверно, то время стало неким пересадочным пунктом между предыдущей жизнью и последующей, так же непохожими друг на друга, как гора и море. Потому и помнится как-то по-особенному.

И совсем уж никуда не годится, когда женщины начинают тебя учить, как надо жить. Как, к примеру, моя московская любовница-подруга. Я дословно не вспомню, но было что-то в этом роде:



— Следует немедленно выключить все раздражители — навсегда. Как свет в доме, из которого уезжаешь очень далеко: рубильник вниз — и привет. И — забыл. Потому что все функции уже выполнены: все оплатил, все сказал, все убрал, сложил, раздал, выбросил... Теперь следует начать решать свое — то, что откладывал годами. И надо правильно понять эти знаки и непременно сказать спасибо, ибо только такой факт заставит тебя принять нужное решение. Вот для сравнения: все шло как по маслу в эти замечательные семь дней в апреле. Чего бы ни придумали, все складывалось. И билеты в театр, и поездка в Питер (сами виноваты, что поленились дойти до вашего дома на Рубинштейна, а так ведь ничего не мешало), и даже этот крем (кстати, куда я его спрятала?), и даже электричка до Каланчевской. Когда ты говоришь — «надо бежать» или «скорее отсюда», то для меня это команда действия на 24 часа. Я не понимаю, как это срочно, если надо сделать еще то-то и то-то. Это и еще вот это, а еще хорошо бы вот это... У меня другие параметры. Я не понимаю, как можно тюкаться с каким-то там кредитом, когда вокруг... Или эти разговоры о какой-то там мифической даче за тридевять земель... Да сожги ты ее, блин! Страховку получишь хоть (шутка). Почему, почему всякий мелкий вопрос вырастает у тебя до небес? Ты чего-то боишься? Если так, то ничего не получится. Ты должен еще и понимать, что всякое решение требует много разных изменений: условий жизни, климата, наличия других людей рядом (а не тех, что привычны), другого темпоритма, новых проблем и вопросов, которые предстоит решать. И знать, для чего все это!

И так далее и тому подобное — бла-бла-бла... Или правда все так просто, или просто, когда сообщаем кому-то? Нет, я несколько не сомневаюсь в ее искренности, только лица перепутаны и роли достались не тем, для кого старался автор пьесы. И все это по телефону — вот же дурацкое изобретение! Из всяких прочих переписок, разговоров, якобы отношений — семь дней настоящей жизни, бок о бок (с оголенной кожей!), глаза в глаза. Любовь во всякое время суток, под солнцем и луной... И времени на поучения не было.

Оглядываюсь по сторонам и вижу, что еще не прошел центр города. Это ерунда, день только начинается, у меня уйма времени. И вот опять... Запретил же себе думать о времени, о расстояниях, это все теперь не имеет никакого значения — когда приду, куда, зачем...

Кафе «Для двоих». Его придумал и построил мой друг Боря Устинов — уютное заведение со столиками для двоих, место любовных свиданий. Ах, Боря, Боря! Свою любовь он прятал от всех — даже сюда, где все только парами и никому ни до кого больше дела нет, не приводил. Держал взаперти в квартире, купленной для нее.

— Я принесу все, что тебе надо. И даже — что не надо, — предупреждал он любые капризы девушки.

Варей ее звали, помню. Красива и молчалива. Боря доверял только мне, потому что я тогда был с Ленкой и ни на кого больше смотреть не



хотел. Мы вчетвером устраивали пир на весь мир — в этой самой однокомнатной квартире. Боря хотел уберечь свое счастье, спрятать от всех и навсегда, но история с золотой клеткой, увы, не нова. Варя однажды убежала. Убежала далеко, аж в другую страну — в Германию. Любила ли она Бору, спрашивал я себя, спрашивал Ленку. Конечно, отвечала она. Не знаю, до сих пор говорю себе я.

Помню себя за столиком этого кафе напротив Ленки. В дальнем углу печальный саксофон, какая-то еда, совсем чуть-чуть выпивки. Она молодая и красивая. Собираясь к выходу из дома, Ленка дала мне подержать свое платье — оно уместилось в кулаке! Глаза жжет, я знаю, это слезы подступают. Вот ведь история — не плакать же на людях! Ах, Ленка! Ты ведь догадалась уже, что мы расстаемся, мы это знали еще вчера, сгорая в объятиях друг друга. Ничего не закончилось, а я ухожу. Наверно, я трус, я боюсь того момента, часа, вечера, когда станет ясно, что все кончилось, — и сбегая заранее. Ленка знала это про меня, чувствовала, предугадывала. Помню, я ушел с какого-то жутко скучного торжества, где присутствовал по обязанности, купил по дороге цветы и зашел к Ленке. Похоже, меня увидели еще на подходе к дому, потому как в прихожую вышла вся семья: Ленкина мать, моя ровесница, ее сожитель, она сама и даже огромный кот, который почему-то все время укладывался на мои башмаки. Боже мой! Вот идиот-то, подумал я тогда. Посмотри на себя со стороны — торжественный наряд, цветы. Они же все (вместе с котом) решили, что я пришел свататься!

...А лампочки перегорают при моем появлении повсеместно. И всякая бытовая техника отказывается служить, едва я к ней прикоснусь. Человек-катастрофа — так определила меня одна из жен.

Глава вторая

А тот день рождения в вагончике... До деревни четыре километра, но девчонки не поленились, пришли. Ведь узнали же откуда-то! Здесь мужики в возрасте, я самый молодой — тридцать три, а из девчонок самой старшей двадцать два. В деревне не осталось парней и мужиков, точно войной выбило...

Мне хорошо, нет, правда мне хорошо. У меня ничего нет, даже моей маленькой библиотеки, которую я таскал за собой по стране в коробке из-под финской мебели. Не знаю про мебель, коробка же выдержала пару десятков переездов в багажных вагонах. Только где она сейчас? Есть три наиболее вероятных варианта: у квартирной хозяйки Эльзы, сдававшей мне угол в приспособленном под жилье гараже, у ее соседки Светланы, любившей меня на безопасном расстоянии, и у Людочки, в чьей квартире мне все-таки довелось пожить некоторое время. В первых двух случаях за книги можно не беспокоиться, в последнем — прощай, моя библиотека! У меня нет даже чемодана, потому что класть в него нечего, а для одежды достаточно дорожной сумки.

За тот год, когда мы жили в вагончиках, я заработал на сельских стройках денег — на машину бы хватило и даже на обмыть. Я вышел из метро на станции «Маяковская» и двинул вверх по улице Горького. Москва тогда для меня не значила ровным счетом ничего — большой суетливый город, очень большой, очень суетливый. Некоторое время назад сюда сбежала моя первая жена, с которой мы не были расписаны. Она хотела красивой жизни, светских тусовок, бриллиантов. Чего-то еще, наверно, хотела — любви? Конечно, кто же не хочет? Она вышла замуж за космонавта. То есть ко времени их свадьбы он еще не был в космосе, но вот-вот, говорили, должен полететь. Так и не полетел, насколько мне известно, однако числился в отряде космонавтов, носил военную форму и ездил на службу в Звездный городок.

Надо ж такому случиться — в Москве, говорили мне после, бывает. Встречаю прямо возле Главтелеграфа на улице Горького знакомую, любовницу дружка своего. Красивая деваха, модная, ей только по Горького, нынешней Тверской, разгуливать, не в нашем захудалом Барнауле. И то сказать, она и у нас в передовиках этого... труда, ну когда ходят на помосте перед зрителями. По субботам. На подиуме — так правильно. В общем, манекенщицей работала. И был в ее красоте не то чтобы изъян какой, а вот и сказать-то не знаешь как...

Юрка, дружок мой и ее ухажер, так определил это нечто:

— У нее же на лбу во-от такими буквами, — он показал размер большой палец по высоте, — написано слово на букву «б»!

Я по простоте и доверчивости своей потом все пытался заглянуть ей под челку — чего там такое написано?

В общем, встретились. На сессию она приехала, модельером стать решила. А уж не так молода для студентки-то. Дочка большая уже, муж, правда, спортсмен, футболист, на сборах все время. Вот Юрка его и заменяет в отлучках, тоже мне, запасной!..

Если вы думаете, будто я знаю, куда направляюсь, вы глубоко заблуждаетесь. Впрочем, дорога в никуда — это тоже не про меня, куда-то все же я иду!

Телефонный звонок. Вот об этом-то я не подумал. Наверно, надо было оставить трубку дома, зачем она теперь? Но ведь когда-то — и вся-ма скоро — зарядка кончится. И я эту трубку выброшу. Выброшу, ей-богу, выброшу!

— У нас несколько дверей остались, не могу выяснить, кто хозяева.

Это Михаил, помощник или заместитель, сам не знаю, как правильно. А теперь — наплевать. Наверно, думает, я отправился за металлом.

— Металл подвезли, складывать некуда.

Та-ак, металл, значит, уже подвезли...

— Три медных, две серых, черные, не знаю сколько. А там еще эти люки.

— Ты, Миш, это... сам что-нибудь придумай, куда металл разгрузить, а с дверями я попробую разобраться.

Отключить или пусть сначала зарядка кончится? Двери, чьи же там двери?

— Двери! Вы чьи?

Палата белая, только в колер высоких панелей совсем чуть-чуть добавлено голубого. Отделение интенсивной терапии, палата реанимации неврологического отделения. По обе стороны белой двери специальные лежанки, занята только одна. Мне со своего места (лежу на такой же кровати напротив, голова слегка приподнята) виден нос с трубкой для искусственной вентиляции легких, часть щеки и скрутки, которыми привязаны к кровати ноги. Одна ступня выставлена прямо передо мной — сухая кожа с сеточкой белых просечек. Линии судьбы? А они разве могут быть на ступнях? Собственно, почему нет, если на ладонях есть и просвещенные даже читают по ним?

Ходить по своей судьбе! Ежедневно, ежечасно наступать на судьбу... Гм. Кому-то может не понравиться. Да и как это представить — суешь гадалке или, извините, другому какому специалисту по хиромантии под нос ступню?

А это случилось между двумя моими жизнями — перед самым выходом из той, где работа, осколки семьи, извечная суета, и *этой*, где дорога, свобода и неизвестность. Странное дело, пустота чаще всего селится там, где все вроде бы заполнено. И таинственным образом исчезает, когда вокруг тебя нет ничего. Это замечание между строк. А между жизнями я попал в палату реанимации неврологического отделения. Как знать, может, с этого момента и начался мой исход...

Над головой мужчины (я догадался про мужчину: не положат же меня в женскую палату, к тому же размер ступни явно не женский) белый пластиковый планшет с его фамилией — Ереминко. Да-да, так и написано, через «и». Инициалы у него «И. С.», и мне почему-то сразу в голову пришло — Иосиф Сталин. Интересно, исправят они ошибку в фамилии? Нет, не это интересно, другое: мужчине, если верить все тому же планшету, девяносто четыре года! На тридцать с лишком больше, чем мне. И мы в одной камере. Простите, палате.

Мужчина в коме, он жутко хрипит, под такие звуки уснуть невозможно.

— Не спите? — уточняет сестра. — Наверно, думы одолевают?

Здесь все ходят в разноцветном — оранжевом, зеленом, белом — и никто не носит бейджиков. Наверно, чтобы к ним не обращались. В реанимации не приняты разговоры.

— Который час? — спрашиваю у той, которая переключивала меня с каталки на кровать.

Молчание. Хотя мы с ней уже успели поговорить. Правда, это был не совсем разговор. При переключке она обнаружила на мне трусы — небывалый наряд для здешних мест.



— Это кто додумался? — В глазах изумление самой большой неожиданностью в ее жизни. — А ну-ка, снимай немедленно!

И тут я, точно, ее поразил. Хотя меня привезли сюда не в коме, голова работала не совсем ясно.

— Тогда ты тоже снимай! — брякнул я.

Согласитесь, некоторая логика в моем предложении все-таки была. Если учесть, что прием нового больного в реанимацию происходит в присутствии нескольких персон, кое-кому веселья сдержать не удалось...

Манекенщица Галка приехала в Москву на два дня раньше срока. Ночевать ей в эти дни негде. Я, если честно, тоже плохо представлял, где буду обретаться, однако позвал ее с собой. А мне накануне вдруг позвонила бывшая жена, сказала, что хочет видеть, и назвала адрес, по которому будет ждать. Еще говорила про какую-то компанию, только я не запомнил...

Дверь была филанчатая, старая, но не из тех старых московских дверей, устремленных вверх, к столетним паутинам. Обычная дверь хрущевки начала семидесятых годов. По прошествии трех десятков лет я бы подумал, стоя перед этой охряной дверью: подарить им, что ли?

Настороженным чертом выскочила моя бывшая.

— Значит, так, — торопливо зашептала она. — Нинка, сука, успела настучать — он про тебя знает. Ну, мало ли что было. Все равно ты — не ты, понял? Тебя зовут Саша, понял? Мы знакомы, но так, по работе. Ты с девкой — это хорошо. Кстати, где подцепил-то?

— Да Юркина это...

— Я тебе не девка!

— Ладно, ладно, давайте быстрее, сейчас вся орава вывалит.

При этом обе дамы успевают рассмотреть друг друга полностью, а из того, что надето на каждой, — всё. Конечно, моя космическая жена уже столичная штучка со стажем, Галка рядом с ней выглядит соискателем на конкурсе юных портняжек. Но и красивы же обе!

Веселье в доме шло горой. За столом известный генерал-лейтенант, не менее известный — в штатском, еще один чуть менее известный... Е-мое! Убрать бутылки со стола — ни дать ни взять пресс-конференция с героями-космонавтами!

— Радик! — протянул руку коренастый полковник.

— Саша! — опередила меня жена, и я понял, что передо мной ее новый герой. — Александр то есть.

— «То есть» — это моя фамилия, — сгрубил я.

Главной фигурой собрания оказался некто Иван Павлович Вихуньков, личность на редкость малорослая, неприметная, пожухлая, с огромными линзами в учительской оправе и вытертой плешью. Женщины все без исключения звали его Ванечкой. А женщин кроме названных было еще две. Одна, судя по всему, подруга Ванечки, восходящая оперная звезда, разумеется, солистка Большого. Она и сама была большая. Правда

большая — и все тут! И звали ее Ольгой. Вот все такое большое и круглое. А другая... Тут я просто готов был надорваться от смеха: другая была наша популярная ведущая с телевидения. Местного, само собой, барнаульского! И, само собой, она была красавица!

Все находились уже в хорошем подпитии и потому на реверансы время тратить не стали.

— Барнаул? — выплюнул генерал и стал водить пальцем по краю стакана, покуда тот не завизжал противно. — И вот они все как есть трое из Барнаула? Разыгрываете?

Генерала убедили, что так оно и есть на самом деле. Он узнал, что я тоже из Барнаула, и добился от меня утверждения, будто в Барнауле почти все такие — красавицы на подбор.

— Нет, не почти — все!

К тому времени я уже приканчивал второй стакан коньяка. И ведь знал же: с военными людьми не пошутить.

— У нас свободный борт найдется? — Генерал повернулся к человеку в штатском и, не дожидаясь ответа, скомандовал: — Завтра летим в Барнаул. — Он повторил название нашего города на разные лады и заметил: — Здесь что-то есть от Луны... А где у вас там... Ну, где они все собираются?

— Девочки? А выйдешь на Ленинский — лопатой гребь!

— Обеспечишь?

— Запросто! — Меня несло на волнах коньяка и злости моей бывшей.

Генерал приложил широкую ладонь к столу, точно печать поставил:

— Все, завтра садимся на Ленинском.

Я представил, как какой-нибудь Су, или Ил, или Ан, срубая мои любимые тополя, приземляется на аллее посреди проспекта. Вот доигрался! Дожить бы до завтра и утром не умереть со страха!

Ладонь будущей примы на лысине Ивана Павловича, а он стоит на коленях перед телеведущей из глухой провинции и обещает ей бросить под ноги от трапа самолета ковровую дорожку, сплошь усыпанную бриллиантами. Интересно, до какого места дотянется дорожка, вертелся у меня в голове дурацкий вопрос.

— Ему запросто, — авторитетно заявил генерал, пытаясь стащить кофточку с Галки. — Я хочу поцеловать вас в локоток, — объяснил он свой порыв.

— Так же проще! — отбивалась манекенщица, закатывая рукав.

Забыл сказать, что все происходило в однокомнатной квартирке, где кухня от комнаты отделена едва намеченным выступом стены. Театр военных действий! Космических!

Среди веселого погрома и любовного запала спокойствие, я бы даже сказал — невозмутимость, демонстрировали только космонавт в штатском и оперная прима Ольга. Нелетавший космонавт Радик досадливо поглядывал на жену, предлагая всем девушкам по очереди выпить на бру-

дершафт. Надо отметить, девушки вели себя достойно. Так вам, злорадствовал я.

И тут случилось что-то незапланированное. Звонок в дверь, легкая суета в доме — и нет ни космонавтов, ни моей бывшей жены, ни телеведущей. Последняя, как я узнал позднее, исчезла под шумок, ее положение было самым угрожающим. Но так исчезнуть целому полувзводу! Солдаты из казармы по команде «Готовность номер один!» столь быстро не разбегаются.

На лестничной клетке я успел заметить военного в младшем офицерском звании, многозначительные взгляды моей жены, брошенные из-за спины Радика, и услышал сдавленный рык генерала:

— Космонавтами не рождаются!

— Военная тайна! — блеснув своими линзами, молвил Иван Павлович.

Внезапное исчезновение гостей несколько не огорчило хозяина.

— Завтра поедем покупать мне машину, день рождения как-никак. А сейчас — все это к черту. — Он обвел взглядом разор на столе и во всей квартире. — ...А поутру они просну-у-у-лись! — И начал демонстрировать желейную дрожь всех прелестей Ольги по очереди. — М-м-м, — сладко постанывал он. — Ур-р-р, — урчал ошалевшим котярой.

Свет выключен, кровать ухнула под мощной звездой, а мы с Галкой остались один на один с диванчиком в темной комнате.

Глава третья

Муха. Отвратительная, зеленая помойная муха.

Анимация — оживление, одушевление. Тогда, выходит, реанимация — наоборот?

Меня-то зачем сюда привезли?

Все-таки не вяжется исключительная стерильность всего вокруг и эта муха, свободно разгуливающая по палате. Декабрь на дворе! Это между прочим.

Монитор над головой дедушки показывает несколько причудливых линий: синие, зеленые, красные, коричневые. Вот эти, коричневые, вызывают неприятные чувства, тревожные, они разгуливают по синусоиде, все время меняя ее амплитуду и ширину шага. Я знаю, у меня за спиной такой же, очень хочется повернуться и посмотреть. Но я, хотя и не привязанный, в движениях ограничен, шея не ворочается.

— А что на картинках? — спрашиваю сестру, скорее чтобы подразнить ее.

И тут она высовывает язык. Представляете, я, можно сказать, лежу в палате смертников, а мне официальный представитель персонала язык показывает! Да как она!.. Да я ее!.. А язычок аккуратненький такой, узенький, розовый, без намека на нездоровый налет.

— Черт возьми! У вас тут мухи! В реанимации, понимаете, да?



Дед мне прохрипел сквозь бульканье мокроты в искусственной трахее:
— Реанимация — оживление мертвых, приведение в чувство зомбированных.

— Дед, а дед? Ты меня слышишь?

Хрипение в ответ.

— Деда! Ты меня слышишь? — тормозит соседа сестра. — Давай-ка мы с тобой почистимся... Ты трубку не закусывай, не закусывай трубку, говорю!

— Хр-р-р-р!

— Оля! Тащи эту чертову железяку! Сейчас мы ему последние зубы попортим! Мать честная, да у него они все до одного целы!

Притащили что-то наподобие ширмы, отгородили деда от меня — будут делать санацию.

Санация. Чистка. А ширма для того, чтобы побережь мои нежные чувства.

— Вот так, разожми-ка еще рот, я же знаю, ты меня слышишь! Ты хитрый дед. Ну вот, услышал же.

Через некоторое время они уходят, но ширму оставляют.

— Дед, — окликаю его довольно громко. — Я же знаю, что ты слышишь.

— Хр-р-р-р...

— Говорят, никто не болеет случайно, не слышал?

— Хр-р-р-р...

— Сказывал кто-то, что умирают от беспомощности перед жизнью, которая так и выражается: отказывают легкие.

— Хр-р-р-р...

— Дед, они мне всегда повторяли: если хочешь жить, выкидывай из башки все страхи и неприятности дальнейшего существования! И начинай нормально жить!

— Хр-р-р-р...

— Дети, к слову, тоже болеют неслучайно! Это доказано-передоказано. Зайди в любую детскую поликлинику и спроси у мамы любого ребенка: «У вас дома хреново?» — и она ответит «да». В счастливых семьях дети здоровы. Только счастливых семей нет. Во всяком случае, там, где дети еще маленькие.

— Хр-р-р-р... Знаешь, меня часто стали одолевать воспоминания... Что такое? Я оглянулся на дверь, но там никого не было!

— Это ты, дед?

Тишина. А после паузы опять:

— Какие-то мелочи, детали... И еще в последние год-два часто вспоминаю ту твою, длинноволосую, похожую на гречанку с Крита. Раньше я ее не вспоминал так часто! А теперь почти каждый день. И я думаю, что это тоже из разряда «неслучайностей». Она как бы сопровождает мои мысли. И ходит поверх твоих! Фантастическая женщина! С ней было интересно из-за того, что она умела не фантазировать, она сама была —

фантазия! Глядя на нее, придумывали другие, она только усмехалась. Она вела! Думаю, именно за это ее любил... известный тебе затейник. А она почему-то любила тебя, беззатейника...

Каждый год 13 февраля вспоминаю ее.

Память должна быть светлой.

— Дед, послушай, дед!

— Хр-р-р-р...

Мы с Галкой улеглись, предварительно разложив диванчик, и тут напал на нас смех. Я представил, как изводит себя жадная до всего моя жена и как ее Радик ищет пятый угол в квартире.

— А что, — спрашивает Галка, делая страшные глаза, — этот генерал тот самый?

— Ты чего, телевизор не смотришь?

— Да как-то неожиданно... Слушай, мне твоя-то что сказала! Он, — Галка ткнула в темноту, — здесь самый главный, у него денег — всем космонавтам вместе не снилось. Вот они и выются тучей. А квартиру эту он себе после развода отхлопотал. Барахло, конечно, квартира.

Хихикая, она стащила с себя верхнюю одежду, колготки.

— Дальше раздеваться? — И продолжает хихикать.

— Иди-ка ты... к стенке!

Галка — конфетка еще та, но, извините, у нас тоже есть принципы. К тому же — Юрка! Тот самый дружок мой Юрка, который без зазрения совести затаскивал в постель всех моих подружек. Однако это его личное дело.

— А может, попритворяемся, попыхтим хотя бы?

— Давай!

Наша активность очень скоро была замечена. В углу закричали.

— А что бы нам, Ваня, не поменяться местами? — удушливо просипело из хозяйского угла.

Да, кстати, меня зовут Иваном, так же как и хозяина московской квартиры. Иван Семенович Адов — это я. Фамилия моя может показаться надуманной и даже зловещей, но с этим я ничего не могу поделать: эта штука, фамилия, хуже песни, из которой слова не выкинешь. Вам ничего не стоит убедиться, что лицо с указанной фамилией, именем и отчеством зарегистрировано во всех официальных документах и прикреплено ко всем значимым для добропорядочных граждан конторам и всяким разным заведениям необходимым набором удостоверений, мандатов и справок.

Итак, Иван Семенович Адов рожден в одна тысяча девятьсот пятьдесят первом году в селе Зимовье Новосибирской области. Затем семья переехала в Косихинский район Алтайского края, следом — на станцию Гордеево Троицкого района того же края. А уж потом ставший самосто-

ятельным выпускник техникума Иван Семенович Адов переехал в город Барнаул.

Зачем так подробно? Так ведь речь идет обо мне, а не поверить в мое реальное существование никак нельзя. Ибо все, что я рассказываю, чистая правда! И вы просто не имеете права не поверить! Правда, правда — всего-то одна буква!

Ну как еще доказать, что я — это я? Вот выпишите на бумажку все мои метрические данные — и вам в милиции все подтвердят. А то привыкли: автор просит сходство с теми-то и теми-то считать нечаянным, совпадения — случайными...

На мысли о том, что когда-то наша родовая фамилия на далеких жизненных перекрестках потеряла в своем начале букву «р», Галка помешала думать, закусил пододеяльник и тихо заскулила:

— Не пойду! Старый, облезлый!

— Дура! — вдруг пришла мне в голову мысль.

Нашел дуру! Она поняла все в ту же минуту.

И через несколько мгновений я, утонув в необъятных звездных телесах, спал самым невинным сном из последней пятилетки своей сумасшедшей жизни. А соседи по замкнутому пространству хитрили всяк на свой манер. Как выяснилось впоследствии, модель с провинциального подиума перехитрила старичка.

Он работает большим человеком в Московской патриархии, не священником — просто большим человеком!

А моя фамилия, если читать задом наперед — вода!

А этот маленький негодяй, придворный шут, этот, кто аккуратно распределяет меня на части между экзопсихикой и эндопсихикой, — он занят нынче, видите ли, чем-то третьим. Он, вероятно, думает, что станет делать со мной, когда последует полный расцвет *могущества*. Здесь читателю необходимо пояснить, о чем идет речь. У большинства ученых светил эндопсихика определяется как подструктура личности и выражает внутреннюю взаимозависимость психических элементов и функций, как бы внутренний механизм человеческой личности. Экзопсихика определяется отношением человека к внешней среде, то есть ко всей сфере того, что противостоит личности, к чему личность может так или иначе относиться. Эндопсихика включает в себя такие черты, как восприимчивость, особенности памяти, мышления и воображения, способность к волевому усилию, импульсивность, а экзопсихика — систему отношений человека: интересы, склонности, идеалы, преобладающие чувства, сформировавшиеся знания. Понятно, что в основе одной — биологические факторы, в основе другой — социальные.

Этот некто издавна следил за мной, вечный соглядатай, сначала по заданию, а потом по привычке. Задание кончилось и его работа тоже. Он никак не мог с этим смириться, не может до сих пор. Он, очевидно,

запутался сам и теперь путает меня. Во всяком случае, когда он пытается обработать меня, я далеко не всегда нахожу разницу между этими самыми психиками. Так или иначе, ему удалось меня разделить, и я до сих пор не пойму, кто там впоследствии поселился в Москве или вернее — который? И кто кому это говорит?

— Я не знаю, чем могу тебе подмогнуть, когда ты находишься в Барнауле... Это совсем другая территория — по ментальности, по «дыму отечества». Недавно был в Новосибирске, и было мне в тот момент очень нелегко, и я готов был даже остаться там... ну, накатило что-то. Так мне одна мудрая дама и говорит: «Ты уже не сможешь здесь. Ты и раньше был “не местным”, а теперь тем более...» И когда я вернулся в Москву, я шкурой понял: есть какой-то местный инстинкт душить инакомыслящих... Меня от этой веревки спасла сначала бандитская крыша, а потом федеральная служба. А потом было мое стремительное восхождение к народной любви, а потом — Газпром, Чернобырдин... В общем, все четырнадцать лет (!) я имел возможность не обращать внимания ни на кого. В нашей стране этот «независимый фактор», к сожалению, может иметь лишь человек с мощной защитой свыше. Теперь у меня ее нет. Я теперь такой же, как все. Но здесь другие условия, другой город — мегаполис, здесь нет такого увеличительного стекла, как в наших любимых провинциях.

Ах, это водитель мой и предводитель! Он, видите ли, не пропал и зовет не пропасть меня. То есть он-то пропал давным-давно, только не знает этого.

— Семеныч! — Телефон работает исправно. — Я тут обнаружил у тебя в каморке еще одну дверь — белую с серебром, богатая такая. Ее куда?

— На мой фальшбалкончик.

— Так там же натуральный дуб, новье!

— А ту — в комнату отдыха... или в туалет. В общем, куда хочешь. Конец связи.

Придумали же: современный мир стоит на кладбище великих идей! Читай: старых идей. Легко предположить, что завтрашний мир воссядет на нынешних, во всяком случае — отчасти. Можно начинать смеяться...

Я уже говорил, что придумал этот город. Он-то наверняка считает, будто я его дитя. Как бы не так! Да! Но в какой кошмарной полудреме можно было сочинить это дурацкое полукружье вдоль Оби, которое закрыли бетоном, обнесли проволокой и наставили там кучу заводов с охранниками по периметру!.. Да сам же ты и придумал, Иван Семенович! Войну надо было выигрывать, не до архитектурных красот. Куда еще их размещать? Котельный, станкостроительный, Трансмаш... Твои родственники ведь тоже прибыли сюда с одним из заводов, голодные, больные, раздетые. Отогрелись, спаслись. А едва на ноги встали — Родину пошли спасать, на эти самые заводы пошли. Мамка твоя по семь кило-

метров на работу и обратно каждый день вымахивала. А диагноз еще не сняли — цинга, дистрофия. На тех заводах тебе родители и штаны заработали, и хлеб с колбасой, и мандат на дальнейшее проживание на этом замечательном свете. Потом вас всех предали, тихонько увели людей с заводов, как в той сказке, под волшебную дудочку. Да вы и сами хороши! Бежите вот...

Заводы кончились, заборы остались, количество охранников увеличилось, а внутри периметра лепят пельмени из мясных отходов!

Я подхожу к проходной механического завода и думаю, что следующая война будет самая кровавая в истории человечества: пушки из маковых рулетов, снаряды из кулебяк, штурделей и патроны из пельменей.

— Мне необходимо пройти на территорию, — обращаюсь к охраннику у турникета. — Вы не могли бы некоторое время покачать коляску с моим внуком? Он спит и будет спать еще долго.

— Вы с ума сошли, мужчина, я же при исполнении, я в форме, я, я, я...

— Да успокойтесь вы, пожалуйста, не нужен мне ваш завод, что я, пельменей не видел? Да и внука у меня никакого нет. А детская коляска... Это я собирал по запчастям пулемет по чертежам из вашего КБ. Вот, получилось что получилось...

Я неспешно прошел вдоль бетонного забора и в дальнем углу наружного периметра заметил затянутую грязью и поросшую травой крышку люка. Поковыряв грязь на крышке, с трудом прочел вылитую на чугуне надпись: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Где-то этот вензель мне уже попадался... Точно, вспомнил, я поставил его на лицевой части балкона рядом с квартирой Саши Родионова!

Утром видок у всех был еще тот. За исключением Галки — испытанный боец. Мы и вправду поехали покупать машину. Кто помнит — тот знает. Семьдесят третий год, за машинами трудящиеся люди стоят в очередях по двадцать лет, отмечаясь ночами на тайных сходках. Выбывший из очереди по смерти или другой какой уважительной причине вызывал бурю восторга. В Москве существовала какая-то дурацкая система открыток. Некое ведомство отслеживало твою очередь и оповещало о подходе ее с помощью почтовых карточек. Хороший бизнес! Ивану Павловичу принесли открытку на дом в назначенное время за деньги, равные цене машины.

В общем, в то же утро мы оказались в кабине замечательной «копейки», весь день гоняли на ней по Москве и, что самое удивительное, не совершили ни одной аварии. Иван Павлович не уступал руль никому, даже космонавту в штатском, сопровождавшему нас все время. Притом надо отметить, что сам хозяин авто, по его собственным словам, сел за руль лет тридцать назад. Но как он знал Москву! Мы заезжали в маленькие глухие дворики, и Иван Павлович рассказывал, рассказывал...

— Сломают, — безнадежно махнул он рукой, и мне это тогда показалось верхом безумия.

Как сломают? За что? Как вот это можно сломать? Я без устали крутил головой, разглядывая старинные постройки, и вдруг наткнулся взглядом на балкончик. Это же мой балкончик! И литье знакомое, и вензель николаевский посередине!

— Сашка! — заорал я, уверенный, что сей же час из-за шторыны высунется всклокоченная рыжая борода Родионова. — Сашка!

Трижды за дорогу Галка нашептывала мне, будто ночью она не поддалась на Ванечкины горячие уговоры. Наверно, сильно опасалась, что не услышу с первого раза. По наивности я подумал было, что она боится Юрку, потом понял, в чем дело. Она умнее и хитрее Юрки, меня и даже самого Ивана Павловича, вместе взятых.

Когда Галка собиралась на свое место в общежитие, я услышал, как Ванечка обещал ей ковровую дорожку в бриллиантах. Но я уже знал, что нужно Галке. И не сомневался: она это получит.

Мой разводящий и сводящий, мой вечный соглядатай зудит беспрестанно:

— Все хочу тебя спросить: а ты сам-то как определяешь свое сегодняшнее состояние? Как самое хреновое в жизни или бывали времена почище? Мне интересна твоя личная оценка себя. От этого надо плясать, как от той печки. Просеять мусор сквозь колосники головы и определить. А так можно сколь угодно долго переливать из пустого в порожнее. Я, например, не очень уверен даже в том, что ты можешь решиться на такой отчаянный поступок, как переезд в «центр мира». Ты же в принципе человек абсолютно оседлый и уехать от цивилизации навсегда вряд ли сможешь. Или я ошибаюсь?

Глава четвертая

А как бы мне хотелось увидеть тебя в ряду привокзальных дурочек-побирушек! Со спутанной челкой из-под клетчатого коричневого платка, с присохшей к щеке слюной, с кошелкой, из которой поверх мятого плаستيкового пакета выглядывает надкушенный беляш. От тебя даже перронные полицейские отворачиваются — чего с тебя взять, разве что вшей набраться...

Для нее я и жил. Вероятно. Для нее и родился. Возможно.

— А мы заведем собаку, беспородную, лохматую, четырехцветную и четырехлапую, и теперь все рассказы про любовь будут называться «про собаку». Представляешь, вчера на даче я вдруг (это было почти в полночь, руки-ноги-спины убиты дачной пыткой) испекла фантастический пирог! Вот не поверишь, на этой даче меня в который раз преследует «тень Адова». Так вот этот пирог пекся для «тени». И он получился и вправду особенным! А сегодня запекла мидии... Дома тоже есть твоя тень. Здесь даже что-то большее живет, чем тень. Дух! Так что садимся за стол. У нас обед!

А по телевизору идут титры фильма «Еще раз про любовь».

Таня Пирогова! Вот же! Это ее имя и фамилия! Я почти забыл! Как мог? Таня Пирогова! Таня Пирогова!

Вместо тебя со мной говорят многочисленные подруги, знакомые, черт знает кто. Подозреваю, что во всем этом принимает участие и этот потаенный подсказчик, который, с одной стороны, экзопсихолог, а с другой — эндопсихолог. Я тебе больше скажу — только по страшному секрету! — они даже живут со мной, они прописываются на моей жилплощади, пытаются кормить меня завтраками и рожают детей. Но на самом деле это ты, я знаю точно. И это твои дети! И меня смех разбирает, когда они подносят их, месячных, к зеркалу и угадывают сходство с собой!

— Да скажет мне кто-нибудь, который час?

Молчание.

— Дед, а ты знаешь, какая погода на улице? Какое время года? Месяц? Ты, как всегда, прикидываешься, а ведь все видишь и слышишь. Однако я тебе все-таки скажу, то есть не я, некто Маркес.

«И снова был декабрь, наставший точно в свое время».

Нет, дед, силы наши отняты в сей момент не для того, чтобы мы декабрь (подумаешь, месяц как месяц!) за окном не разглядели, а вот эти волшебные гирлянды куржака, в которых забавляется бриллиантовыми играми солнце. За грехи наказывают и так, а не обязательно лишением богатства и даже близких. Ты вот, наверно, они думают, нагрешил больше меня уже тем, что прожил сверх моего целых тридцать четыре года! Простая арифметика — и все?

Я же вижу и куржак, и солнце, пронизывающее сверкающую ткань, и сбитые веселыми птицами невесомые снежные лопухи.

Я буду жить!

И ты, дед, будешь жить! Нелепо помирать, когда ты еще не увидел, как полуденный куржак превращается в снегопад!

— А твой монитор, дед, слишком уж пестрит, и нет никакого порядка в чередовании синусоид, парабол и пунктиров. Кстати, ты не заметил, что он еще и звуки издает? Это же музыка, понимаешь! Музыка твоего тела, твоего организма, твоего мозга, который переваривает этот замечательный свет вот уже девяносто четыре года! Вряд ли ты слушал когда прекрасно-опасное творение под названием «Тристан и Изольда», разве что краем уха, по радио... Они в свое время не смогли исполнить эту оперу в Страсбурге, Карлсруэ, Париже, Веймаре, Праге, Ганновере. Ну еще бы! Великий сумасшедший предупреждал же: страсть сильнее рассудка.

Ах уж эти законники и правильники! Ну возьмите и переправьте в либретто Тристан — тенор, Изольда — сопрано на обратное: Тристан — сопрано, Изольда — тенор. Что получилось бы, понятия не имею. Но спокойный Вагнер разнес бы вдребезги свой попитр, а неистовый Ницше сошел бы с ума на семь лет раньше.

— Дед, а когда православие говорит — надо верить, это ведь касается не только веры в Бога... Это касается всего, да?

— Надо верить, что все будет хорошо. Не знаю, можно ли так сказать, но верить надо с уверенностью, что именно так все и будет...

— А ты, вообще-то, дед, верующий?.. Ты же знаешь, дед, все наши проблемы — из головы. Так пусть лучше голова наполняется новыми сюжетами! А не новыми людьми! Я очень надеюсь, что после излечения ты будешь думать обо мне чаще, это и поможет тебе скорее восстановить голову. Ведь как чудесно мы говорили накануне! Счастливая болтовня тебе больше подходит в тех условиях, в которых ты покуда пребываешь. Пусть она и вытесняет все злое прошлое. Давай чаще говорить. Голос — он лучше лечит, быстрее... Так давай же, дед! Наговоримся! А когда устанем, я включу Вагнера. Да, дед?

— Хр-р-р-р...

Мы остались в машине вдвоем и быстро поняли, что не нужны друг другу. Иван Павлович уронил голову на руль (при его-то возрасте такие нагрузки!), но уже через пару секунд, бормоча под нос что-то бравурное, листал свою объемистую записную книжку.

— Минуточку!

Подрулив к телефону-автомату, он выскочил из кабины. Еще несколько мгновений — и снова за рулем.

— Новых поступлений нет! — сообщил он почти обрадованно. — Та-а-ак... — И задумался.

— А куда вы звонили? — с опаской поинтересовался я.

— Да на вахту. — И, глянув на меня искоса, решил, что этого объяснения недостаточно. Правильно решил, раскатываюсь тут с ними дурак дураком. — Понимаешь, у меня на вахте в ГИТИСе тетки свои. Как новый товар, пардон, абитуриентки, первокурсницы подъезжают — они мне сигналчик. Сами уже научились выбирать, меня не дожидаются.

— И что?

— Милый! — посмотрел он на меня с сожалением. — Девочки в Москву приехали, им на колготки маминых денег не хватит. А это, прошу иметь в виду, ГИТИС!

— И вот он — добрый дядя Ваня!

— Да они в очередь стоят, когда я позову хоть одну из них!

— Слушай, дед, а буква «и» в твоих инициалах — это Иван? Или кто другой: Илья, Иосиф, Илларион, Иракий, Иосафат? Нет, ты Иван, конечно. И ты никогда не читал «Дядю Ваню» господина доктора Чехова. Докторов, дед, читать иногда надо. Они такие глупости порой несут, что начинаешь понимать: дорога в больницу возможна только на «скорой помощи». Там есть такой типчик — Астров, вечный зануда и заноза. Вот он и говорит: «Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои



жизни так глупо и так безвкусно, — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... У нас с тобою только одна надежда есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные». А ты ведь, дед, можешь до ста прожить. До двухсот — это вряд ли. Интересно, что ты там, в своем гробу, увидишь?

— Хр-р-р-р...

— Эй, сестра! У деда сплошная красная линия и зуммер какой-то настойчивый!

— Чего разорался? Все нормально. Тут вообще молчать положено.

— Даже когда сосед помирать будет?

— А он помрет — ты не заметишь даже. И тебя тоже никто не заметит. Был — и нету.

— Добрые вы тут как-то по-особенному, изысканно. Наверно, потому что едите много. Как ни гляну в коридор — всё с тарелками. А кстати, слышал, что больше всех пищи потребляют ночные дежурные в моргах. Правда-нет?

— Нинка! — крикнула она в дверь. — Этот, в трусах, точно, на голову навернулся. Может, ему расторможку попросить, скажу доктору, не спит, мол, совсем, заговаривается...

В моем доме бывали женщины. И случалось, задерживались по долгу. На год, два, десять. Замечу по секрету, у них нет никакой психологической программы, они просто намазаны — кто медом, кто смолой. Эффект прилипания одинаковый.

— Скажу тебе сразу, у меня есть один очень большой недостаток! Возможно, ты меня из-за этого разлюбишь. Самое главное я всегда забываю сказать и говорю в финале...

Так вот, про пошаговую программу. Скажи мне честно, а тебя кто этому научил? Кто тебе рассказал, что есть пошаговые программы? И главное, покажи мне людей, которые по этим шагам куда-то идут? А не пошел бы ты в пим дырявый со своими программными шагами? Я тебе что, компьютер? Я, что ли, с тобой в шахматы играю? Ты, вообще-то, сам понял, чего спросил? Слушай, давай жить, а? А не подставлять вместо жизни какие-то схемы. Я не скажу тебе никаких программ, не надо со мной так. Нет, я не обиделась, мне с вас смешно. Развеселила я тебя? Я старалась тебя отвлечь от тяжких дум и вселить немного надежды, я старалась тебя переключить на другую волну, чтобы ты оказался поблизости. Допускаю, что могла тебя взбесить своей благоглупостью, а могла и, наоборот, привести в то самое человеческое состояние, помогающее пре-о-до-леть. Не знаю... Ты разный. И еще... Всего тебя я не научилась чувствовать. Время надо. Зато я постаралась быть максимально открытой... собой... глупой... умной...

Прошло... сколько лет? словно четыре жизни.

Таня! Таня! Таня!

Да разве ж сказали мы с тобой друг другу столько слов? Ты — мне, во всяком случае? Да разве слушали лес с сумасшедшими птицами, которые притворялись соловьями, и это было похоже на то, что в оркестре партию флейты взялась исполнить валторна. Зато мы ночью хотели в полном мраке отыскать запоздалые ягоды брусники. То есть пыталась, конечно, ты; меня мутило от выпитого, и не хотелось ни ягоды, ни твоих сладких губ. Однако потом воспоминание ожгло так остро, будто я был той терпкой ягодой на твоих упругих губах, будто я был той шалой птицей, которая вовсе никого не изображала, а просто валяла дурака от упоения дурманной, замороченной ночью.

Ах да, вот еще что ты мне тогда не сказала, опять воспользовавшись посредниками — той, наместницей, дуэньей, и моим паразитом-психологом. Слушай, мне так хочется называть его Вовой! Пускай он будет Вовой, ладно?

— Когда-то мне пришлось полностью перекраивать себя, чтобы кто-то другой не обкарнал по своему лекалу. Но, пережив все это, могу сказать однозначно: все к лучшему! Честно: мне теперешняя я нравится больше, чем та, что была в прежней жизни. Там была наивная девочка, верящая всем и всему. Хотя мне казалось, что и тогда я неплохо знала жизнь и якобы умела рулить по ней... Фигня! Ничего я тогда не знала и не умела! Главное, я же женщина и мне природой дадено прижимать ребенка к сердцу. А у тебя нет такой льготы, ты вынужден принимать условия другой стороны. И тогда что? Постарайся уступить с минимумом душевных затрат. Что тут еще посоветуешь? Однажды — как голос с неба! — уступи, уйди, пусть подавятся! Душа дороже!

Иван Павлович стянул со своей лысины «пирожок» из морского котика и с гулевым размахом шлепнул его о приборную панель своего нового автомобиля.

— А знаешь ли, не послать бы нам всех этих ряженных кукол подальше? Охота нормальных рабочих девчонок! С завода, представляешь? Чтобы от них машинным маслом слегка подпахивало. Из общежитской комнаты, где они вчетвером ночи свои девичьи коротают. А? Какова идейка?

— Иван Павлович, а может, вечер отдыха устроим, скажем, у телевизора с яичницей и глинтвейном?

Я чувствовал себя измотанным псом в продуваемой подворотне.

— Яичница! Студенты! Мейерхольд!.. Настоящая жизнь пахнет по-другому! Вперед!

У него все просто. Вахта, в момент ставшая любезной привратницей, посыльная девочка в стоптанных тапках... И вот уже две девчонки, хихикая, забираются на заднее сиденье. Нормальные, на Горького увидишь — и не скажешь, что заводские. Я поначалу принимался — не пахнет ли машинным маслом? Уж я-то знаю, как оно пахнет или, во вся-

ком случае, как пахнет эмульсия, которая подается к резцу на токарном станке. Или листовой металл в промасленных пачках... Нет, духи — дорогие, но приличные.

— Познакомься, — кивнул Иван Павлович мне, — Неля, работает на упаковке готовых изделий. Изделий, заметь! Завод-то военный. Военный, правда, лапочки?

— Ой, военный! — залились в смехе лапочки. Смущенными они казались куда меньше меня.

— А это, — указал Иван Павлович на существо в мохнатой шубке, — Вероника, работник отдела технического контроля. Представляешь, она с микрометром выясняет, не допущен ли брак при изготовлении деталей! Ты, кстати, взяла с собой микрометр?

— Зачем? — искренне удивилась девочка.

— Померяли бы чего, — хохотнул Иван Павлович.

— Фи-и-и! Если к вам с микрометром подходить — сразу поехали назад.

В этот момент я сильно усомнился, что мы побывали в рабочем общении, хотя, честно сказать, к тому времени мне уже было на все наплевать.

Женщина — вторая ошибка Бога. Это Ницше, это не я и даже не тот психопат, которому кажется, будто он управляет мной, как школьник велосипедом без рамы.

Меня не покидает странное чувство, что-то похожее на горечь утраченной радости. Но это не все и неточно. К этому примешивается бессилие, которое угнетает и отнимает последние остатки веры в себя. Это настояно на какой-то лагерной привычке к несвободе. Иногда я кажусь себе старой проституткой, которую использовали до крайнего остатка и бросили догнивать на обочине жизни. Ну нельзя же с этим жить, в конце-то концов! Старый, ворчащий, брюзжащий, толстый, облезлый... Что там еще? Да, это я, это все про меня. Я, наверно, не научился любить себя, а надо бы. Пушкин? Да-а-а... «На свете счастья нет...» А самая замечательная строчка в этом стихотворении, на мой взгляд: «...предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем». Умирать не хочется, а жить нету сил.

Пример из сегодняшней жизни. Много лет по утрам принимаю холодный душ, зимой контрастный: горячая вода, насколько терпеть можно, следом ледяная — до той же поры. С некоторых пор каждый такой душ заканчивается воспалением ушей, по очереди — то правое, то левое. Вылечу, опять душ — и снова болячка. Не могу ни проснуться без этой водной процедуры, ни почувствовать себя человеком. И вот доктора говорят: забудьте про холодную воду, у вас нет выбора — оглохнете. Я, кстати, и так слышу уже неважно. То есть выбора не остается. Безальтернативная ситуация. Я не могу еще к этому привыкнуть, как и к подобным проделкам жизни. Всегда ведь был выбор. Хочу оставлять за собой право выбора, понимаешь? А ощущение — будто все кому не лень

стараятся это право отнять. Где-то вычитал: мужество — это поступать так, как хочешь. Негусто у нас с мужеством...

Иван Павлович остановил машину возле ресторана «София». Он оказался закрытым, в фойе виднелись строительные подмости, стремянки, бочки с известкой.

— Ремонт, — развел я руками.

Большой человек усмехнулся и затарабанил в стеклянную дверь.

После некоторой сумятицы в пределах видимого пространства дверь была отворена и мадам в жабо, не сумевшем скрыть ее необъятную грудь, в низком поклоне поприветствовала:

— Дражайший вы наш Иван свет Павлович! Да нет в мире такого события...

— Милейшая! Нам бы в моем уголке и... Ну, сами знаете.

Дама в жабо и полдюжины жилетно-бабочных мальчиков будто ждали того момента, когда явится царь царей Иван Павлович. Ни одного посетителя, кроме нас разумеется, в ресторане не было. На стол был явлен запотевший графинчик, бутылка вина, две огромные миски с черной и красной икрой, плашка со сливочным маслом и изящные булочки из белой и серой муки. Почему-то отвратительнее всего выглядели воткнутые в миски ложки. Мне показалось, такими хлебают щи в заштатных столовках.

— А это чуть позднее, — сказал он склоненной к нему мадам. И мне — указывая на миски с икрой: — Вот этого надо наесться до отращения, понятно? Это не тот продукт, который можно возжелать постоянно, зато уважение к себе некоторые получают однажды и на всю оставшуюся жизнь.

Затем подали особые сковородочки, устроенные на тиглях с живыми угольями. Мясо дичи из каких-то северных пределов. Вкусно, ничего не скажешь. Я вспомнил колбасно-ветчинный разор в доме у Ивана Павловича и подумал, что вряд ли он часто ужинает как сегодня. Хотя... кто знает.

— Я хочу расплатиться, — сказал я так, чтобы услышали все.

Мадам изумленно посмотрела на Ивана Павловича, половые замерли, как по команде в детской игре. И только Иван Павлович сохранил полное спокойствие. Он принял от ливрейного свое драповое пальтишко и молча направился к выходу.

Потом мы приехали в разоренное жилье Ивана Павловича. Он послал меня в магазин за продуктами и выпивкой, поскольку все кончилось или безнадежно пропало. А девчонки тем временем, сказал он, наведут порядок. Разумно.

В Москве осень. Крупные, еще не свернувшиеся кленовые и дубовые листья ровным слоем устилают землю, мягко шелестят под ногами, будто внизу не твердь земная, а водная гладь. Есть в московской осени, когда наблюдаешь ее не на шумных проспектах, а в тихих дворах, какое-

то безнадежное воронье беспокойство, кошачье шмыганье и чувственное старанье голубей нагадить вам на пальто. И такой родной и беспросветной провинцией вдруг пахнёт, что захочется податься на речку Пивоварку и долго думать на ее захламленном берегу, как же суметь ухитриться утопнуть в этих мелких, мутных, печальных водах.

Я не торопился возвращаться, хотя магазин располагался в двух шагах. И правильно сделал. От самой двери я услышал веселую возню на три голоса под аккомпанемент пружинного матраса, что не оставляло сомнений в моей изначальной непричастности к мероприятию. Что тут поделаешь, деньги в Москве нужны не только будущим актеркам! Я потихоньку притворил дверь и вышел обратно на улицу.

— Возьми, — протянул я деньги первой вышедшей из подъезда представительнице столичного пролетариата.

— Что вы! — замахала руками она. — У меня есть, у меня много, Иван Павлович дал. Вот... — Она начала лихорадочно выворачивать из карманов купюры. — Между прочим, у нас ничего не было, вы не думайте! Совсем ничего!

А почему я так долго хожу вдоль этого заводского забора? Завод бывший, забор настоящий. Все равно за ним ничего нет. Я бы заварил ворота, и сделался бы в итоге сплошной закрытый периметр. И пусть бы за ним роилась своя жизнь. Собаки, кошки, крысы, кроты... А потом — разных обличий мутанты. Рано или поздно от скуки и безысходности они все начнут совокупляться и нарушат нетленные законы видового единства...

Глава пятая

Когда-то, во времена не столь давние, в моем родном городе на площади Октября, между бывшим Домом культуры меланжевого комбината и первым жилым домом по проспекту Калинина, росли три яблони. Без возраста и времени, помнящего их зернышками. По инерции. Росли себе и росли. И цвели каждый год в отведенное для этого время. Никому не мешали: дом на этом пятачке не выстроишь, кафе-ресторан не откроешь. Но шло время, и год от года они стали казаться все более неуместными. Ладно бы речь шла о людях случайных, посторонних, а то ведь и я стал думать о них как о некоем инородном теле — гнутые, корявые, дуплистые. А напротив аллея новых пирамидальных тополей.

И вот однажды... Тополя оказались ни при чем. Вместо двух спиленных яблонь поставили коммерческие киоски, уродством своим соперничающие с навозными клетями на задах скотного двора. И я ужаснулся себе! Ведь я же не зря знал о них, помнил все время, кидал взгляд в их сторону, когда ехал на велосипеде от Потока до Старого рынка. А кто-нибудь из вас знает, что от Потока до Старого рынка можно доехать ни разу не крутнув педали? Да, так устроен наш город, так он катится сверху вниз,

и я вместе с ним, потому что я придумал эту дорогу через год после того, как придумали велосипед. Или через два — неважно. Потому что за все время этого дурацкого прогресса у меня было несколько машин. Они или проданы со стыдом тайного убийцы автомобилей, или обрели естественную смерть за поскотиной позади дедовой деревенской усадьбы.

А велосипед цел и, можно сказать, невредим!

— Совесть, говоришь? Увы, эта штука всегда приходит с опозданием. Те яблони — твое время. Цвет сошел — год прошел. При чем тут совесть? Жалость? Тоже ерунда. Есть хорошее слово — жаль! Как там у твоего любимого Астрова из «Дяди Вани»? «С каждым днем земля становится все беднее и безобразнее».

— Я верю в чудо!

— А я верю в чушь! Единицы понимают, что это и есть величайшее из чудес!

Доктор участливо поинтересовался, не мешает ли мне хрип деда. Я решил, что здесь, среди молчащих фигур, мне тоже отвечать не обязательно. Между тем у меня перед глазами поставили дополнительную перегородку, и соседом занялись врач и три сестры. Я догадался, что ему меняют искусственную трахею на трубку большего диаметра. Ну, не из-за меня же, на самом-то деле! Просто дед в любую минуту мог захлебнуться в собственной мокроте.

— Что, дед, полегчало? — спросил я притихшего соседа, когда волшебники в белых халатах скрылись за дверью служебки.

Дед молчит, дыхание вроде ровное. Вот те на! Теперь мне никакого ответа не дожидаться. Для меня они постарались, как же! Раньше я хоть нос его с трубкой видел, а теперь лишь морщинистую пятку.

— Дед, ты подожди! Ты вон сколько прожил, поживи еще чуть-чуть! Ты заглянешь по ту сторону, ну, ненадолго, на чуть — и расскажешь мне, как она выглядит — Арктида, первородина человечества, колыбель, откуда явились прапрапрадеды твоей изрезанной временем пятки. Говорят, некоторым Арктида открывается в первые мгновения попыток перехода отсюда — туда. Но ты же вернешься, дед, ты только заглянешь! Иначе как я узнаю?

Смирное сопенье и едва уловимый клекот.

Дьявол побери! Я бегу! Я никогда не был знаком с техникой бега, даже от обязательной школьной стометровки сумел отвертеться. Я не ускоряю шага, не сгибаю руки в локтях, но как же еще можно назвать этот мой поход? Да-а-а... Фрейд считал, что бег во сне символизирует половой акт.

В Ивана Павловича точно бес вселился, он пожелал продолжать свой день рождения, пока не объедет все замечательные места Москвы, где можно отыскать свежих девочек с какой-нибудь экзотической начинкой

или хотя бы приправой. Фантазии у него было с избытком, а вот остатка жизни вряд ли хватило бы даже при его небывалом умении обгонять весь транспорт столицы.

Только я-то здесь при чем? Мне не хватало подушек, чтобы как следует заткнуть уши, свернувшись на выделенном мне диванчике.

— Ну-ка, девчонки! Парню нужна инъекция жизни! Что он у вас тут от скуки подышает?

И я уходил во дворы топтать листья, которые изо дня в день издавали под моими башмаками все более безнадежные звуки.

И боже мой! Я знал в те минуты дорогу отсюда! Вслед за поэтом повторял: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Я действительно слышал, я правда знал. До меня долетал голос моих яблонь и звуки растекающейся по губам ночной ягоды!

Но я с бульдожьим упорством таскался за Иваном Павловичем и его компанией по кабакам и всякий раз требовал, чтобы платить доставалось мне. Причем в любом заведении к концу вечера официанты, звериным чутьем угадывая, у кого здесь настоящие деньги, обращались исключительно к нему. А еще у Ивана Павловича появилось любимое развлечение: едва обосновавшись за столиком, он собирал вокруг себя как можно больше народу. Это не составляло никакого труда, потому что в каждом ресторане его знала как минимум половина посетителей. И все охотно откликались на приглашение.

— Вот, братья мои пустоголовые! Полюбуйтесь, как пьют настоящие русские мужики. Заметим, из Сибири.

Мне подносили на маленьком хрустальном подносике хрустальный же фужер, объемом точно повторяющий дорогой каждому широкому русскому сердцу граненый стакан, и я выпивал его залпом без закуски.

— Иван Семенович, — фальшивым голосом циркового импресарио обращался ко мне Иван Павлович, — вы готовы к продолжению турнира? — И не дожидаясь ответа: — Пускай это будет форой, не было никакого фужера, начинаем с нуля. Итак, желающие!

Желающих почему-то не находилось, и тогда Иван Павлович предлагал в качестве форы выпить мне второй фужер. Слава богу, до этого не дошло ни разу. Однако водку в продолжение вечера мне наливали вдвое больше, чем остальным.

— Ты где так ее жрать научился? — спросил он меня в один из первых аттракционов.

— А я и не умею, потому она не знает, что со мной делать.

Врал я, конечно. Заработанное на калымах мы пропивали с яростью пролетариата, ненавидящего деньги, как инструмент эксплуатации трудового народа. Правда, обычный пролетариат столько не зарабатывал, поэтому и выпить столько не мог. Ну и не станешь же объяснять московскому полупопику, гуляке и бабнику, что питье крепких напитков требует, помимо всего, здоровья? Вся калымная братия города Барнаула знала, что мы с бывшим футболистом Толякой Брыкиным без передыху укладывали в фундаментные ленты по десять камазов бетона.



И кто мне объяснит, какого лешего я месяц без малого не отлипал от Ивана Павловича? Однажды, когда его квартиру после шумного вечера наконец-то освободили погоны и регланы, он сел напротив меня, приблизившись насколько можно, и абсолютно трезвым голосом сказал:

— Надоели!.. Потерпи еще чуть-чуть.

Тот год был на редкость грибным. Наш начальник стройки, он же прораб, главный инженер, мастер, короче — Юрий Иванович, вытащил из вагончика панцирные сетки от кроватей и устроил из них сушилка для грибов.

— Домой привезу! — потирал он руки. — Галька с ума сойдет — это вместо обычного пузыря-то!

Одну из этих сеток в тот пьяный вечер, когда Таня Пирогова вывела меня подышать, я, не заметив в темноте, перевернул. И мы ночью собирали грибы! И ягоды! Вы же помните!

Чужие голоса преследуют повсюду. Я же не тебя вспоминал, зачем тогда?..

— Еще заметила, что меня везде сопровождает информационное поле. Вот пример. Вчера села писать эсэмэску одному мальчику про китайский язык (учить его захотел), и сразу же на НТВ пошел сюжет про китайцев, которые живут в России. То есть только подумаю о чем-то — сразу прилетает дополнительная информация. Я ощутила, что подсознательно начинаю контролировать мысли, слова... Не дай бог подумать о плохом! Я даже слова выбираю позитивные, чтобы ушло в космос только хорошее.

Я раньше такого не встречала в своей жизни. И в связи с этим меня осенило: может, у тебя тоже так? Может, чем больше ты глаголешь о плохом, тем больше его становится?

Возможно, мы перешли на очередной виток развития сознания, только никто об этом не рассказывает в новостях?

А тут днями меня пробило. Жил ты себе тихо-спокойно — как получалось жил. И не глючился ни по какому поводу. И тут я вперлась в твою жизнь, и пошла-поехала ломка. И глючит, и колбасит, и ответов нет. И хочется, и колется, и не знаешь, что делать. А ответ-то прост как белый день! Ты выкини меня из башки — и все снова встанет на свои места. Не надо будет ни думать, ни решать, ни ломать, ни строить. И я все правильно пойму и судить не буду...

Я купил себе японскую куртку на синтепоне: холодно стало в моей прежней. И вдруг понял, что это единственная и последняя покупка для себя из всех заработанных за полгода денег.

Неожиданно я получил приглашение в дом к своей бывшей. Через Ивана Павловича. Зачем ей это надо? Из-за непонятных расстояний Москвы пришел раньше времени и застал в квартире одного хозяина.

— Последние штрихи для праздничного стола, — объяснил Радик отсутствие жены. — Скоро будет. А мы пока, чтобы не терять время...

Он достал бутылку и — вот придумать же, разгадство! — налил мне огромный фужер под самый обрез.

И тогда я не выдержал:

— Слушай, ты, космонавт из тарелочки, а тебе известно, что я всего лишь подсобный рабочий на стройке — землю копать, бетон месить, грузы стропить... И вообще никакой я не Саша, а тот самый бывший муж твоей жены, кого бы ты, точно, видеть в этой своей жизни не хотел.

— Я догадывался, я чувствовал, — забормотал он.

— Чего ты догадывался? Вам же в голову не придет: если нормальный человек появился в вашем доме, он уже никогда не покусится на ваше имущество, пусть это будет даже женщина, с которой он когда-то задыхался в объятьях. Вы сами воры по сути своей, так и норовите что-нибудь друг у друга стянуть... Саша! Сына своего так назовите, хорошее имя.

И тут он кинулся драться.

Подошедшая вскоре хозяйка застала меня сидящим на диване, а своего мужа у меня под задом в бельевом диванном ящике. Он никак не хотел там утихомириться — ну не связывать же хозяина в его собственном доме! Я пообещал прибить крышку гвоздями намертво, с тем и ушел.

Любить нельзя много. Любить нельзя часто. Любить нельзя ни умно, ни глупо, ни каким-либо другим образом...

Ну кто там провозгласил, что лишь благодаря узам любви наша жизнь перестает быть кратким эпизодом и обретает смысл вечности?

Это все от слабости, это от бессилия, это от невозможности захотеть вдруг — и сделать *это!*

Я вчера влюбился — бред, вранье, сказка про аленький цветочек, начатая с конца!

Я мало молитв помню, но почему-то все время повторяю слова из колыбельной, которую моя давно забывшая все на свете жена сочинила сыну:

— Мальчик мой! Не теряйся в ночи!

Таня! Танечка! Танюша! Ты рассеяна по белу свету! Я не разменивал тебя, не тратил по мелочам! Я не разносил твои запахи по безумным своим походам, не развеивал медные волосы по шалым ветрам. Я просто увидел тебя, но не нашел. У меня было мало времени и у меня оказалось его так много!

И кто-то вероломный поместил тебя во все, из чего создан этот мир!

Я иду по Москве, в новой куртке, свободный и счастливый. Мы неделю не виделись с Иваном Павловичем, я попросту не выдержал, сбежал от него. Однако он каким-то фантастическим образом отыскал меня. И вот я отправляюсь по указанному адресу.



— Эй, дядька!

Меня окликает человек как минимум вдвое старше меня. Видок еще тот, не иначе только что с гор спустился. У нас дома их много, соседи. Республика у них теперь. Своя.

— Алтаец, что ли?

— О! Как узнала?

И он взялся оглядывать себя, будто табличку искал, где написано, кто он такой есть. Со смеху помереть! Малахай с лисьими лапами, какое-то подобие стеганого халата, мягкие сапоги с галошами. Вообще-то можно еще с казахом спутать. Кто не разбирается толком.

— Мне, дядька, больница нада...

— Так их тут немеряно.

— Мне особо нада, вот.

Он протянул бумажку с несколькими строчками, среди которых я разобрал слово «Бурденко».

— Ясно. Тебе лучше всего к постовому подойти, так-то хрен кто скажет, тут все вроде нас с тобой, приезжие — или гордые старожилы. Понял?

— Понял.

— А что ж ты в такую даль приехал, у вас там шаманы, говорят, лучше всяких докторов лечат. Чего к шаману не пошел?

— Это которые экстрасенсы, что ли?

— Тьфу ты! — махнул я рукой, утверждаясь в мысли, что уголков с нормальной человеческой жизнью уже не осталось нигде. — А мы все равно рванем в Шамбалу! Точно, горный орел?

Иван Павлович насовал мне денег в карманы — на билеты до дома. На первый случай, до зарплаты.

— А я бы все равно рассказал ему, кто ты есть на самом деле: с друзьями нельзя иначе.

Это, понятно, о моей бывшей и ее нынешнем.

— Странная у вас тут дружба... А во-вторых, не я этот цирк затевал. Ладно, проехали! Как там моя землячка, встречаетесь?

— Галина-то? Это отдельное собрание изящной словесности. Я ее прописал у людей в Крылатском, нормально с меня взяли, не постеснялись. А через несколько дней — вестовой к ним из местной власти. Вас сносят, здесь будет строиться какой-то спорткомплекс. А это что означает? Каждый законно прописанный гражданин имеет право на собственную жилплощадь. Ей как минимум надлежит получить однокомнатную квартиру. Хозяева ко мне с отступными — давай назад ее забирай, хоть за тройную плату. Я-то что, пожалуйста! Только паспорт с пропиской уже не в моих руках. А она — девочка не дура...

Московская квартира прямо с неба! Ха! Вот они, провинциалы!

— Слушай, я сейчас загнусь от восторга! Это вас-то, жучар московских, так обусть! Давай я следующую вам подвезу! Да я готов вернуть

все твои червонцы и топать до Барнаула пешком, чтобы больше времени хохотать было!

— Если уж о червонцах — это я вернул твои. Ты полный дурак, но парень неплохой. Я тебя к делу не зову, не будет из тебя дела. Меси свой бетон, меньше яду хапнешь. Кстати, вот тебе для смеха еще: она с меня за ночь по четвертаку берет.

С этими словами он отвел меня на кухню, где посреди помещения стояли две огромные запечатанные коробки.

— Здесь еда, вкусная, считай — подарок к Новому году. Одну тебе, другую — на телевидение, сам знаешь кому.

— О-о-о! Ковровая дорожка с бриллиантами!

— Нет, ты, точно, дурак!

И тут — о диво! — я впервые увидел, как он улыбнулся. И ведь действительно, до того в голову не приходило, что он никогда не улыбается. Улыбка у него оказалась такой детской, беспомощной, удивленной. Вот пришел к тебе Дед Мороз, вытащил из мешка огромного робота, напичканного электроникой, — мечта любого мальчишки. А ты ждал щенка, ты слышал, как родители обсуждали новогодние подарки, укрывшись в спальне. И слышал про щенка...

— У меня в Долгопрудном дочка живет, Даша. Веришь-нет — мне никто на этом свете больше не нужен!

Глава шестая

— Сынок, ты помнишь эту колыбельную? Мама ее пела тебе, когда ты уже был большой. «Мальчик мой, не теряйся в ночи!»

— Нет, папа, не помню...

Я придумал этот город!

Я придумал дом под названием «небоскреб», который не выше обычной хрущевской пятиэтажки. И сами хрущевки в небывалом количестве придумал я. Если, допустим, начать сносить их такими же темпами, как в Москве, две трети барнаульцев окажутся без жилья. Я придумал яму в районе улиц Гоголя и Короленко, куда скатывается весь холод с городских проспектов и переулков и все выхлопные газы. Я придумал закуток в старом деревянном доме на улице Никитинской, где можно с товарищами хоть сутки напролет играть в карты и пить портвейн. И никто никогда тебя не погонит оттуда. И полицию не вызовет. Я придумал новую архитектуру, когда на самом высоком месте города построили самые высокие дома. И стало казаться, что эта нависшая над проспектом Красноармейским громадина рухнет однажды и погребет под собой полгорода. Я придумал Светку с улицы Пушкина, 62 и сам себе воткнул в ногу нож, чтобы показывать потом друзьям, как пострадал за любовь от местных Светкиных ухажеров...

Вот я и услышал наконец!

— Да что ты мог здесь придумать, послевоенный выкормыш, когда город старше тебя почти в пять раз!

А вы, господа материалисты, головы разверните, устали, поди, глаза носить с одной стороны! Я родился в бараке где-то в районе улиц Червонной и Бриллиантовой (а вы говорите, у советских чиновников не было чувства юмора!). Так вот, интересно, был бы я, если б не было барака? А с другой стороны — был бы барак, если б не было меня? Для вас все вроде здесь очевидно, да так ли это на самом деле?

В общем, вы пока посомневайтесь, а я скажу следующее. У всякого из вас есть право придумать себе все что угодно, город в том числе.

Только чур я первый!

И еще. Для чего мне придумывать то, что, может быть, давно уже придумано? Вы, может быть, это хотите спросить у меня? А вот об этом потом. И я буду помнить — за мной должок!

А голоса с небес все не дают покоя.

— Ах, белые штаны! А у нас дождик. Хорошая московская погода: плюс 23—24 и легкий летний дождь. Зовут в Калининград погостить. Может, съезжу. Там тетенька живет из моего далекого прошлого — из юности. Мамина подружка! Давно зовет на море, а я все никак не соберусь. А ведь интересно: Балтика, янтарь, дюны, анклав...

Просматриваю списки вакансий (приходят автоматически с кадровых сайтов), каких только профессий нет! Даже и не думала, что этикие могут быть. А на самом деле, скорее всего, сидят в носу ковыряются. Я долго привыкала к стилю работы местных офисов. Те, кто профессионально пашет, считаются идиотами, и от них стараются скорее избавиться... Ленивый день сегодня! Все вроде прибрала в доме, но вот до стола руки так и не дошли — бардак еще с твоих пор. Да и ладно, мелочи жизни!.. Да, все забываю тебе сказать: тут уже девочки в очереди стоят «на мальчика Мишу». Хочешь не хочешь, в разговорах с очень близкими подружками мелькает твое имя и, естественно, все спрашивают: а нет ли у него сына? Так что можно и для Миши найти московскую девочку.

Истерзанной душе всегда не хватает одного — любви!

— Я тебе двести раз произносила фразу: «Еще никто не умер от недостатка секса, умирают от недостатка любви», но ты все время пропускал ее мимо ушей и спорил со мной, когда я пыталась объяснить тебе, что надо научиться любить. Ты же все время говорил, что искал любовь. А раз много искал, значит, так и не находил. Хотя «научиться» — звучит плоско, это не математика. Ничего случайного, как известно, не бывает. Вот я и думаю, почему у нас с тобой так — то потухнет, то погаснет, встречаемся, расстаемся... И так всю жизнь. Какой такой закон драматургии управляет нами? А мозг мой, словно диаграмму, рисует эпизоды наших встреч, четко совпадающие с теми периодами, когда воды двух морей раздвигаются и образуется дорожка суши, по которой можно идти. Значит, для чего-то это надо.

А годом раньше:

— Я прям встала и нервно стала ходить по комнате. «Ой» — это единственное, что я могу сейчас произнести. Этого просто не может быть. Я сейчас просто умру. Нет, любимый, мне это никогда не приходило в голову. Не знаю, что тому причиной. Ой, просто как ливень! Ты столько на меня орал, что я уже хотела было сделать себе харакири. Вот уже реву. Наверное, со мной следует говорить так, как в этом вчерашнем нашем разговоре. А по-другому, похоже, до меня тугο доходит. Спасибо тебе. Я ошарашена... и счастлива.

А Таня сказала тогда, — запомнилось вот! — у нас, говорит, телочка родилась, забавная такая, чистенькая и вся белая, как молоко! И мама ее Муркой назвала! Мама, говорю, так же только кошек называют! Нет, Мурка — и никаких!

— Слушай, дед, ты ведь родился в начале века, того еще, когда атеистов не было. То есть были придурки среди всяких там ученых, но ты ж не ученый... Стало быть, ты с рождения знал, что душа вечна, хотя смерть — единственная безусловная реальность. Вы же не кричали на всех углах, что земная жизнь — это прихожая во Дворец Христа, а просто жили, чтобы за прихожей было что-то. Иначе в чем смысл жизни? Атеизм, говорят, произошел от ужаса, что придется давать ответ за все свои земные деяния... Ты кивнул мне, да? Ах, дед! Хорошую тебе трубку поставили!

— Тогда восклоните головы ваши, ибо наконец приблизилось избавление...

— Дед! Ты чего? Какое избавление?

Я приподнялся на своей койке насколько смог и увидел, что сосед мой все в том же состоянии. Кома.

— Кто здесь? — обратился я к пустому пространству.

Тишина.

— Иван Семенович! — донеслось из небытия. — Тут хотят забрать три вишневые двери. По четыре штуки за каждую.

— Отдавай, чего спрашиваешь?

— Так дешево вроде...

— Пойдет. А белая с серебром?

— Стоит, не трогали пока.

— Во-от. Пускай стоит.

Мне ни разу не пришел в голову вопрос: а не потеряют ли меня? А, собственно, кто? С сыном и так неделями не видимся. На работе... Уже потеряли. И что? А кто-нибудь из шестидесятилетних вообще когда-нибудь, выходя из дому, задавал себе вопрос: он назад домой вернется? А если да, то зачем?



Был такой древнеримский ученый Колумелла, — его почему-то даже и философом не считают, а так, аграрником, специалистом по орошению, — вот он хотел видеть человека, который знает. Который хочет. Который может. А более поздний философ Печчеи уточнял или, если хотите, развивал эту формулу следующим образом: может, но не хочет, потому что не знает.

Думаю, второй или не знал много чего, или лукавил. Хочет, потому что не знает — вот это будет правильно. Богатство, власть, сила, честолюбие, прочие амбиции — все хотят и никто не знает, к чему все это приведет. Тот же Печчеи задает страшный вопрос, на который ни сам и никто другой не знает ответа: что следует за полным расцветом могущества?

Из трех моих яблонь осталась одна. Киоски, в которых жарили куриц и торговали колониальными фруктами, снесли, и там теперь пусто. Три яблони в центре города — интересно, кому-нибудь приходило в голову, что это тоже архитектура? А я загадал на эту последнюю. Не скажу что.

Мы строим мост через маленькую речушку, протекающую в двух десятках верст от Барнаула. Все как в жизни: речушку и в половодье не разглядеть, а сооружение, чтобы переехать через нее, потрясает масштабами. Надо съездить к маме — год работай, чтобы скопить на билет. Надо выйти за угол в булочную — побрейся, вымой голову, выбери одеколон...

Лютый мороз — землю под фундамент можно выбирать только в мерзлом виде. Мы закутаны и замотаны во что попало, как немцы в походе на Москву. Работаем. Натыкаюсь своим отбойником на какую-то жилу, оказывается, это подземный узел, куда сходятся сточные воды со стоящих наверху скотных дворов. Я — космонавт-водолаз, плаваю в огромной луже дерьма, по глинистым откосам скользят мои товарищи, пытаюсь меня вытащить. Цепляюсь за крюк лебедки бульдозера, выбираюсь. Заработал полдня отдыха.

Я не женат, хотя давно забыл свою бывшую. Ту, первую бывшую. Правда, она меня никак забыть не хочет. У нее многочисленная родня в Барнауле, старенькие уже почти все, помирают один за другим. И вот она почему-то решила, что я должен присутствовать на всех без исключения похоронах ее родственников. Неважно, знал я их при жизни или нет. Прихожу с парой гвоздик — шепотки за спиной. Вот что ей надо!

Живу в гостинице, это в родном-то городе! Родительский дом теперь далеко отсюда. Наверно, скоро сниму квартиру, надо будет съезжать, потому что директор заведения направил мне последнее предупреждение по поводу неумного оптимизма моих многочисленных гостей. Во Всеобщей декларации прав человека про меня сказано сплошь и рядом, про него, директора гостиницы, ни слова, а он...

Да, я все еще не женат на женщине, которая родит мне сына. И умрет, не дожив до его десятилетия. Потому что ее постоянно будет преследовать Таня Пирогова!



Нет! Ерунда! Это я вру, это я придумал только что, чтобы придумать — как и многое из якобы случившегося со мной. Сильнее всего она смеялась, когда я врал. Это был настоящий смех, без истерики, без горечи, без досады. Никогда не понимал, чего тут такого смешного?

Мальчик мой! Не теряйся в ночи!

Суббота. Надо сегодня поужинать пораньше, иначе в ресторане начнется обычная выходная лабуда с бесконечной лезгинкой и песней, любимой всякими народами: «Ах, какая женщина, какая женщина!»

На подоконнике возле женского туалета сидела Нинка. Просто сидела. Просто курила. Просто не было того десятка (или чуть меньше?) лет, когда она вместе со своей подругой и по совместительству моей женой умчалась в Москву за счастьем. То есть — как будто не было. Мне показалось, что на выпускном вузовском вечере она была в этом самом платье. Нинка сидела спиной ко всему миру: дорогие кольца, дорогие сигареты, дорогие туфли. В эту минуту мне казалось, что только Нинка и могла вот так сидеть — вызываясь беззастенчиво поставив ноги на общественный подоконник. Мне удобно — и идите вы все...

И тут я вспомнил песенку, которую она с подружками пела на школьных концертах. Папа у Нинки был директором музыкального училища, и она умела играть на фортепиано и хорошо пела. А в песенке были такие слова: «Четыре неразлучных таракана и сверчок». Может быть, песенка так и называлась.

Потом, через годы и годы, она мне скажет:

— Господи! Никкак не пойму, что тебе мешает жить нормально? Вот перечисляю все твои качества и не могу среди них отыскать такого, которое стало бы основой для твоих несчастий. Не может быть так, чтобы романтический, умный, честный, открытый, веселый, добрый и заботливый притягивал к себе неприятности с такой силой! Так не бывает! Или ты от меня скрываешь что-то существенное... Хотя я же не совсем дура, чтобы это «что-то» не вычислить. Ну не вижу я в тебе проблемности. Скажи сам, что я недоучла? Понимаю, каждый получает свою порцию граблей — за свои ошибки.

— Ты? — спросила она, будто мы расстались не далее как вчера. И тут же опомнилась, бросилась мне на шею с ревом: — Ты-ы!

Потом мы сидели в банкетном зале, где у ее брата была свадьба. На нее-то и прилетела она из Москвы.

Мы нахально целовались прямо за праздничным столом, а ее мама все время шипела:

— Нинка! Ты не забыла, у кого сегодня свадьба?

— А! Идите вы все! — послала она родственников и потащила меня к выходу.

На первом же лестничном пролете, ведущем в гостиницу, меня окликнули:

— Иван Семенович, вы не забыли, что у нас посещения посторонних лиц разрешены до одиннадцати?

Перегнувшись через перила, Нинка объявила:

— А мы и до одиннадцати... — И она произнесла словечко, после которого уронили очи долу даже издавшие виды вышибалы.

Закрывшись в номере, мы страстно целовали, ласкали друг друга, и при этом каждый целовал и ласкал кого-то другого. Мы к сему дню сожгли по куску жизни и теперь дожигали остатки угольков от этого куска. Вы думаете, это можно сделать мгновенно? Увы, не всегда.

Утопая в алых омутах, я почему-то цеплялся за одну и ту же дурацкую мысль — вот сейчас очнемся и запоем дуэтом: «Четыре неразлучных таракана и сверчок!»

Глава седьмая

В своем уголке на Октябрьской площади я решил собрать несколько дорогих мне вещей. Я нашел в шести метрах от уцелевшей яблони колодез с крышккой, точно подходящей по величине к той, старинной. Однажды ночью я найму машину и поменяю их. Ведь от этого никому не станет хуже, не правда ли? Жаль, невозможно перетащить сюда тот камень из черного габбро. И двери мои не приспособишь никуда, разве что предложить их хозяину кафе, разместившегося в подвале ближайшего дома. Дверь бы как раз смотрела на яблоню. А еще можно ночью же, потихоньку, посадить здесь маленькую рябину, я даже знаю местечко в лесу, где ее выкопать. Вряд ли кто посмеет навредить саженцу! Со временем вырастет в большое дерево, в точности как на углу моего дома. Когда осень, облетают листья и ветки склоняются до земли под тяжестью ягод, все говорят, что зима будет лютая, поскольку природа обильным урожаем ягод готовит спасение птицам. Ерунда! Много лет наблюдаю за рябиной — не совпадает.

Мой знакомый психиатр-психолог замечает, будто бы это я музей сам себе создаю.

— А зачем? Ты что, так и не понял, что я уйду отсюда навсегда?

— Тем более. Тебя нет — а память жива. Памяти как свойству мозга никто ведь не доверяет, вот и стремятся нагромоздить чего-нибудь ошутимого да основательного. Не вспомните так — потрогайте!

Он почти прав, этот самозванец-недоучка! Только он не учитывает одного, пожалуй главного: здесь все — сплошная память обо мне!

Звонок.

Почти триста километров, а слышно, будто человек рядом. Там есть девочка Оля, которая была рождена назло мне, вернее — обстоятельству, когда у меня родился сын. Хотя после рождения первого ребенка Олиной мамой прошло уже шестнадцать лет и следующий не предполагался... Олина мама, — это звонит она, — романтическая странница, в своих мечтаниях она уводит нас поочередно на все, какие есть, края света. Иногда так убедительно фантазирует, что я просыпаюсь и иду в ванную смывать с себя пляжный песок Желтого моря.



— Дорогой! — говорит она нараспев. — Я иду из церкви, молилась за нас, поставила свечку за твоё здоровье. У нас ночью прошёл ливень, и воздух пахнет горами... Валя, отложи две пары носков сорок второго размера. — Стало быть, она идет вдоль рыночных рядов (я помню этот рынок, он тянется посреди села). Носки, естественно, мужу. — Ох, сказать так много хочется, но телефон... А электронной почте я не доверяю. Представляешь, мне в последнее время видится домик в маленькой совсем деревне, на окраине, возле леса, и мы там живем: ты, я и Оля. И здорово так... Я всю жизнь буду мечтать об этом. А что тебе лучше прислать на день рождения? Я пришлю эмэмэску, ладно? Ты же их получаешь? А почта... Брат у меня вот идет по улице, видит, кошки совокупаются. Он их снимает на сотовый. Потом присылает мне по электронке. Зачем, спрашиваю. А это, говорит, жизнь. А ты наденешь свою черную куртку и идешь мрачным пятном. Вот и подруга мне: ты чего такая в Барнаул приехала ненакрашенная? Да вы тут в куче и накрашенные-то незаметны. Улыбаться не умеете. Я тоже, кстати, редко улыбаюсь, только тебе... Сколько, Валя, это будет стоить? Пятьдесят рублей? Да, я подсчитала, по двадцать пять за пару...

Мы с Нинкой неделю не расставались ни на час. Я уже решил, что меня уволили и мост через речку-воночку будут достраивать без меня. Как мы находили места, где можно было заниматься любовью, — это отдельный разговор. Мы жили будто бы в последний раз. Завтра закончится все! Но если б кому-то — постороннему или нам самим — пришло в голову назвать происходившее с нами любовью, мы от души хохотали бы. Я и сейчас не знаю, что это было.

Последний день. Аэропорт. Ресторан. Мы никакие. В обнимку проходим в самолет. Надо отметить, что в то время еще никто не убивал нашу землячку стюардессу Надю Курченко, никаких терактов в помине не было и в самолеты садились как в автобус. Короче, самым идиотским образом с одним Нинкиным билетом мы разместились в полупустом Ил-18.

И полетели! Понятно, что, протрезвев и прохохотавшись, мы кинулись искать по Москве деньги на обратную дорогу для меня.

Мы были хороши, спору нет. Потому что были молоды, глупы, безрассудны и нисколько не влюблены друг в друга.

Впоследствии Нинка закончила Высшую партийную школу, побывала в нескольких престижных заграничных командировках (из одной даже умудрилась привезти мебель, ковры и посуду) и заняла должность какого-то столичного начальника. Потом сошлась с австрийским миллионером, который учил других, как стать миллионером. Очевидно, научил и Нинку, потому что она взяла его фамилию, закрутила собственный бизнес в нескольких странах и построила огромный дворец где-то на окраине Вены. Не знаю, поселились ли в том жилье четыре неразлучных таракана и сверчок... Если да, то где-нибудь в очень укромном месте, потому что

безжалостно-старательная прислуга, заметив их, извела бы в доме все живое. На всякий случай.

Она еще раз приезжала в Барнаул, даже пригласила меня в свой «люкс» отеля «Империа», где в присутствии элегантного охранника кивнула на кучу коробок и пакетов — подарки для сибирских родственников и знакомых. Мол, выбирай! Насколько помню, она даже не поднялась со своего рабочего места, где сидела в окружении нескольких мониторов.

Я выбрал большой шелестящий пакет с неразличимым содержимым и отдал его охраннику:

— Это тебе. От меня!

Стол был хорош. Мастер-инженер-прораб Юрий Иванович сам ходил выбирать барана, сам варил шурпу и томил мясо в огромном казане, взятом в колхозной столовой. Местные рыбаки притащили сазана на восемь килограммов, Юрий Иванович готовил его каким-то необычным образом в глине. Девчонок было четверо — столько же, сколько нас, — тоже работа Юрия Ивановича.

— Я женат! — возмущался ему на ухо бывший футболист Толяка.

— Ну и что? Я тоже, — отвечивал Юрий Иванович.

Девчонки видели нас впервые, как и мы их. Поначалу было неловко, тем более что Юрий Иванович с Толякой годились им в отцы. Правда, мы знали почти все деревенское мужское население и твердо были уверены, что посмотримся по сравнению с покровскими мужиками и парубками молодцами.

— А нету их, парубков! — уточнила белолицая кроха, с которой глаз не сводил бригадир. — Из двух последних нынче один на мотоцикле разбился, а другой утонул в собственном колодце.

Мелькнула дурацкая мысль — вот прямо сейчас забрать их всех отсюда и увезти в город. Определить на квартиру, найти работу. Ну, как это говорили тогда — взять шефство, что ли. Пропадут они здесь! Или все равно сбегут, только, как чаще всего бывает, выберут для этого самое неподходящее время.

Мужики быстро напились: во-первых, отвыкли за полтора месяца упорной работы, во-вторых, ослабли по причине все того же упорства. Но напились мирно так, по-хорошему. Клевали носами, по-дурацки улыбались, рассказывали о городах и странах, где им удалось побывать. А уж повидали! Правда, рассказывать об этом так и не научились.

О чувствах сильно не распространялись, и только бригадир, торжественно поднявшись над столом со стаканом шампанского, произнес:

— Я забираю с собой Белоснежку (это он на ходу придумал, сказочник!). У нас все будет. И дети! Понятно? А спать мы ляжем вместе только в первую брачную ночь, то есть после загса. Вы, Юрий Иванович с Галькой, пойдете свидетелями. Невеста согласна. Согласна? Согласна!

В сторону деревни надо смотреть ночью. Тогда она кажется живой. Ночью же многого не видно, многое можно додумать. Дрожащие огни, тени, живая возня по дворам...

— А я, Таня, нигде не был, только в Москве.

— Господи, как я хочу в Москву!

Встретил знакомого, убей — не вспомню, как зовут и вообще кто такой. Жалуетса на жизнь. А я слушаю его с пустым сердцем. Даже жутко стало в какой-то момент. Жалуешься, а ведь до меня тебе нет никакого дела. И никому ни до кого нет. И не надо тешить себя надеждами. Выведем парадокс: вот из этой уверенности, хотим мы того или нет, вырастает позитивное отношение к окружающему миру. Ergo! Позитивное отношение — придумка, веселая фантазия, обман. Тот самый, «нас возвышающий». Неспроста дети больше всего любят сказки. И верят им.

Вот она, Обь. Песчаных кос и отмелей в русле куда больше, чем воды. Другое дело весной, когда вода разольется до горизонта и сердцу захочется на волю, за тот край...

Странно, что за вечную свою неволю человеку приходится платить. И кому-то даже обидно, что лишение свободы по суду бесплатно.

Мне надоело ставить диагнозы. Да они и не точны, ибо я всего лишь маленький дилетант, ученик оценщика, работающего с малым пространством. Его мир велик лишь в силу его собственной малости.

Человеку подсказывают легкий путь — и он идет за подсказкой. Противятся немногие, и от них быстро избавляются. Плацдарм для противоборства был, к примеру, при советской власти, когда стимулом протеста выступала всеобщая уравниловка, стимулом для духовного наполнения — всеобщая расслабленность и лень.

Ницше утверждал, что классическая философия несвоевременна, ибо она необходима для пользы в будущем.

Мои возлюбленные химеры отвечают мне.

Ночь приходит, время идиотов и лунатиков. Поэтов? Это все чушь от бездельников: творить надо на свежую голову. А вот почему человеку дается замечательного времени совсем чуть и не в лучшие времена? Грешен, да? А вы меня за грехи потом накажите и пожарьте, а тут-то, в юдоли земной и неудобной, дайте расслабиться! Песнь любви никому еще не отравила слух, но очень многих сделала завистниками. На всех счастья не хватает, увы.

— ...То-то я сегодня с трех ночи не спала. Мне не нравится, что ты не спишь. Тебе бы в нашу коечку, правда же? Хоть бы выспался! У тебя мозг глючит. И скажу тебе с честной пролетарской прямоотой (как ты любишь): нефиг давить его — мозг! Алкоголем. Только хуже делаешь ему. Он у тебя не расслабляется, как тебе кажется, а, наоборот, скукоживается. Знаешь, вот что сделай. На остаток денег купи два пузырька валерианы (желтые таблетки) и принимай начиная прямо с утра: по две штуки четыре раза в день — лучше, как валидол, под язык. У тебя нервная система в опасности. Все твои сомнения и страхи — ерунда! Я решаю ряд вопросов, о которых ты узнаешь позже. Хвост по кусочкам резать не надо. Надо сейчас про-

сто выжать все возможные блага из провинциальной жизни и хлопнуть дверью. Под благами я понимаю: подлатать здоровье, покончить с дележками машин-дач-кредитов, успокоить себя, что сделал все что смог, и — привет, переход на новый этап жизни. И совершенно неважно, где этот этап начнется, главное, вдали от раздражителей. Я ж, блин, менеджер, организатор жизни. Мне надо свести некоторые известные величины: чем заниматься на старости лет, что будет вокруг... От тебя мало толку в бытовухе. Рыбу я тебе обеспечу. И лес с горами. Все не скажу, а то не сбудется. Кстати. О какой деревне ты говоришь? Ты собрался в дом престарелых? Неожиданно. Твое поведение меня чаще пугает, чем радует. Тебе виднее, что будет лучше. Деревня так деревня, город так город...

Ученый Аурелио Печчеи: «Человечеству предстоит выполнить задачу, равнозначную мирам». Прораб калымщиков Юрий Иванович Муравьев отвечает философу: «Человечество завершит себя задолго до того».

— Алло! Алло! Киска моя! Мышка моя!

— Девушка, вы...

— М-м-м-м-м-м! Чмок-чмок-чмок!

— Девушка...

— Голос какой-то у тебя, масенькая моя... Простыла, это все сквозняки у Ленки-прыщедавки! Лапочка! Душечка! Мы прямо немедленно должны увидеться! Возьми с собой фотоаппарат и румяна...

Глава восьмая

Ереминко И. С., 94 года.

— Черт побери! Кто-нибудь, в конце-то концов, скажет, как зовут деда?

— Иван Семенович! Вы нам надоели! Мы сейчас пригласим вашего доктора и завотделением. Здесь вам не базар, в конце-то концов!

Иван Семенович? Это же я! Иван Семенович — И. С.!

С тех пор как ему вставили трубку большего диаметра, я научился спать. Правда, совсем по чуть-чуть. И что еще интересно. Каждый раз, просыпаясь, я находил себя в новом помещении. То это была комната сына, то жены, то старая детская из сорокалетней давности. Раз даже в бане проснулся, раз в библиотеке, раз в вытрезвителе. И всегда как бы по правде. Во всяком случае, обрести себя на своем настоящем месте мне удавалось не сразу.

— Знаешь, дед, что я чаще всего вспоминаю из бабушкиной деревни? (А почему я, собственно, стал говорить ему про деревню? Наверно, он из деревни — поэтому. Мне кажется, в городе прожить столько невозможно!) Я вспоминаю бело-фиолетовые вьюны и вьющуюся фасоль — белую и красную. Они напозали на стены, закрывали их полностью, скрывали их ветхость, и мне иногда казалось, что за этой непро-

глядной цветастой стеной однажды сам собой вырастет новый дом для моих замечательных стариков.

Ровное сопение прервал какой-то незнакомый звук. Я прислушался — ничего нового. Ага, вот опять. Перегнувшись через край кровати, увидел, что дед судорожно бьет ногой, крепко привязанной к его лежанке.

— Эй вы, там! Деду что-то надо!

— Чего опять орешь? Реанимация тебе не вокзал!

— Деду, говорю, что-то надо, вон ногой дергает.

— Ничего ему не надо! Лежи давай, беспокойный ты наш! Слава богу, ты у нас не задержишься!

А ночью мне приснился текст, самый настоящий буквенный текст, вот просто кусок страницы, ни больше ни меньше. И был это чеховский «Дядя Ваня».

«Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалятся над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем... Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую... Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь... Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем... Мы отдохнем!»

И следом загорелось живым пламенем на латыни: «Morituri te salutant!» Идущие на смерть приветствуют тебя!

Я подскочил на кровати, забыв про запрет на резкие движения. Деда на месте не было.

— Где дед, изверги-волшебницы?

— Уехал, — вздохнув, сказала та, что в зеленом.

— Куда?

— Куда-куда... Сначала в морг, а завтра — на Черницкое.

Проспал я деда... Черницкое — одно из городских кладбищ, причем отсюда до него прямая дорога. Можно сказать, рукой подать. Дядя Ваня. Да, скорее всего, он был Иваном, дядей Ваней... Спрашивать у этих кукол теперь — бессмысленно.

Эх, дед! Ах, Антон Палыч!..

— Уберите меня отсюда немедленно! Из этой чертовой палаты!

— Уже убираем, — ответили мне с ангельской покорностью и тут же начали перекидывать с кровати на каталку.

Меня долго везли по каким-то холодным коридорам с неоштукатуренными стенами. Сознание уплывало, когда каталка подпрыгивала на

очередном из бесчисленных стыков, и первой новой мыслью каждый раз было — я еду в морг.

Зачем-то ведь был этот дед! Этот И. С. Ереминко! Он явился, чтобы унести с собой, ибо принести уже ничего не мог. Но что же тогда?

Да! Я совсем забыл сказать, что у меня есть (было?) собственное небольшое производство. Мы наносим ламинированное покрытие на различные изделия из металла: двери, ограды, стулья. Сейчас больше всего заказов на двери и ограды. Раньше было — на стулья.

— А я вспомнила день в середине марта, когда в самом центре Москвы стала свидетелем одновременно свалившихся на голову снега, града, ливня и грома с молнией. Я тогда тебе написала, что это был день именин. А сегодня ты просто поехал к ней на кладбище. Застрелиться! Отношения, говоришь... Знаешь, я хочу, чтобы у меня были красивые отношения, а не как у всех. И если они не получаются таковыми, так уж пусть вообще не будет отношений. У меня внутри больше, чем снаружи. И тот, кто это сможет понять, будет просто счастлив. А всеми другими «отношениями» я сыта по горло... Ты мальчик тоже не простой. И однажды мне показалось, что я нашла то, что хотела.

Но ты все время разрушаешь это хрупкое ожидание чуда. Вот не пойму зачем.

Я порой думаю: зачем я тебя зову? Просто сердцем понимаю, что тебя надо спасать, потому что рядом, похоже, нет никого, кому бы пришло в голову не бить тебя по башке, а протянуть руку. Тебе надо, чтобы глаза привыкли к свету, а сердце — к любви. Это не я решаю. Это так ведет кто-то *свыше*. Я просто поймала эту волну и чувствую ее, значит, так надо. Очень надеюсь, что со временем ты будешь думать обо мне чаще. И чаще говорить... Ах да! Я же тебе обещала нежное и ласковое! Блин, все из-за этих твоих проблем... Со мной происходит что-то странное: и днем и ночью мое тело требует секса. Я как-то ранее могла процессом управлять, объясняла себе, что, мол, погоди, не время, чуть позже, а теперь оно, тело, меня не слушается. Даже как-то неудобно. У меня ж образа стоят над головой. Слушай, надо что-то срочно (вот здесь, точно — срочно!) предпринимать...

Нет, серьезно. Секс сексом, но... первым делом самолеты. Так, про нежность... Целую тебя. И там, и там, и там... и даже вон там. И даже здесь, здесь и здесь. Все... больше не могу... сейчас умру... Разговаривать с тобой очень опасно! Спать не могу...

Скажи, а ты знаешь тайну времени? Ну, когда сегодня еще рано, а завтра — уже поздно?

Как вы, наверно, догадались, это была не она, не посланница Эллады. До нее все было за пределами любви. Или — до ее пределов.



Вот он сидит ко мне спиной, уткнулся в монитор. Мой сын, оставшийся от самой яркой вспышки в моей жизни. Ему в затылок направлен ее взгляд — греческой богини, по недоразумению попавшей на Западно-Сибирскую низменность. Он молодец! Он выставил у себя на полке портреты всей родни: дедов, родителей, сестер. Я не догадался этого сделать.

Мальчик мой! Не теряйся в ночи!

Первая наша ночь была в Москве, в квартире ее однокурсника, какого-то ответственного работника Центрального комитета КПСС, который оказался умнейшим и милейшим человеком. Он был хлебосолом и циником, глубоко презиравшим и партию, и советскую власть, и всю тогдашнюю систему. Убежденный холостяк, он держал в доме кучу матрасов для гостей, полтора десятка флаконов самых дорогих французских духов (опять же для гостей — дам, разумеется), несколько коробок киндзмараули и гору (именно гору, поскольку, кроме полдюжины табуреток и стола, мебели в доме не было) диссидентской и всякой прочей запрещенной литературы. Это он мне сказал, помнится: главные атеисты служат в церквях, а главные верующие преподают атеизм в высшей советской школе.

Мы отправились к Черному морю и условились, что я пью вино без ограничения, а она валяется на пляже, сколько душа пожелает. Пляжей терпеть не могу до сих пор! Но... Это были сказочные дни. Я ходил купаться на море в шесть утра, а потом занимался всякой ерундой: шлялся по окрестностям, читал книги (даже записался в местную библиотеку!), изобретал новые салаты и пытался мариновать баклажаны. К условленному времени я занимал для нее очередь в душевую и сам смывал с нее соленую морскую воду. Нам всякий раз тарабанили в дверь, потому что я в те минуты забывал о минутах и часах. Я так изучил ее тело! Я давно растерял мозги и повредил свою память, но руки помнят ее, и видят, и могут перечесать каждую родинку!..

Наконец-то я вышел за пределы города.

Направление мне известно да и дороги здешние хорошо знакомы. По ним мы ездили на рыбалку с человеком, удивительно жизнерадостным, смелым, щедрым, участливым и... подлым. Кто сказал, что так не бывает? Бывает! И оставим это...

Дорога моя идет полем, справа, в километре с небольшим, лента бора, слева череда озер, а за ними — река Обь.

И опять — воля и неволя, две родные сестры.

За спиной остался город, который я придумал! Это не беда, я ведь придумал, помимо того, вот это поле, вон тот лес, эту дорогу и озеро. И я еще много чего придумаю. Ведь я ухожу совсем не для того, чтобы перестать придумывать! И мне не нужен собеседник, я уж как-нибудь сам...

— Тебе никогда не было интересно думать о процессе думания? Ежеминутно что-то зарождается в головах миллиардов людей. Все-вышний придумал замечательно крепкую коробку, за пределы которой большая часть придуманного не выходит, иначе броуновское движение из толкущихся мыслей могло бы привести к некоей интеллектуальной катастрофе. Впрочем, интеллект здесь ни при чем, поскольку большинство думает о вещах заурядных. Однако и голова не такой уж безвыходный сосуд... Мир в результате перегружен не только людьми, но и их мыслями. У Сенеки: «Жизнь есть не благо и не зло, а только вместилище блага и зла». Посмотри, какое прозрачное небо над нами! Если кто-то взирает на нас с горних высот, ему ничто не помешает разглядеть меня, бьющегося в надежде найти наконец *свое*... Свое! Ты кого пытаешься обмануть? Любовь уходит не от привычки, не от постылости быта и обязательств. Она не любит, когда ее разглядывают чересчур пристально. Такой вот парадокс: с возрастом человек обретает зоркость, но теряет прелесть внутренней слепоты. Трагедия — когда ты лишен какого-то из чувств. Не меньшая — когда обостряется одно в ущерб другому. Старость привыкла подпевать себе, тешить себя какими-то придуманными преимуществами. Нет их. Мудрость не есть умение жить.

Глава девятая

Наверно, есть смысл вглядываться только в то, что переживает тебя. Лес, река, горы, огонь... Вот и все. Даже любимые глаза отражают лишь эти вечные стихии. Иначе и любить-то их не за что!

На окраине Барнаула село под названием Ягодное. На автобусной остановке группа взрослых уговаривает маленькую девочку, присевшую перед козленком палевого окраса.

— Ну какой же это олененок, Олечка? Это самый что ни на есть обычный козленок. Вырастет — будет козлом.

— Это олененок! — не соглашается девочка и плачет от обиды на взрослых.

Действительно — дураки. На козлят — и больших и поменьше — она еще в своей жизни посмотрится. А вот олененка может и не увидеть...

Я вошел в лес, теперь уже зная, что этим лесом и закончится назначенный мной маршрут. Во мне нет страха, хотя неизвестно, что ждет меня в конце его, а главное — потом. И зачем мне знать это?

Ауробиндо: «Дух, освобожденный от своих покровов, странствует и торжествует!»

Моя Богом посланная греческая царица была невероятно серьезна. Я смешил ее постоянно. Смешил бесконечными попытками опылить все попадавшиеся на пути любовные поля и страстные полянки. Меня бесил ее смех, и я в своих стараниях устремлялся все дальше.

Однажды она сказала:

— Уходи. Или я умру от смеха. Тебе не дано поумнеть!

Я не ушел. Я не поумнел. Она ушла первой. Насовсем. Много позднее, беспрестанно думая о ней, я заподозрил в ней не то чтобы страх, но... *знание*.

Она слышала голос Тани Пироговой, она знала о ней, быть может, мучилась этим знанием. Почему я так уверен? Да она знала про этот мир все, то есть даже больше, чем он сам о себе!

И тут я наконец понял, зачем был и убыл дед Ереминко. Он унес мои прошлые жизни, коих было, по словам ученой свояченицы, одиннадцать. Он забрал с собой давно обезличенные голоса, и я теперь точно знаю, что уже не услышу ни одного из них. Они перестанут мешать мне двигаться к одному, кроме чего нет ничего. Ушел, прихватив с собой многочисленных подруг, московскую наставницу, космических героев и даже разводящего-водящего с ученой степенью доктора-психиатра. Я остановился, оглушенный мыслью: вот только сейчас наступила реакция моей черепно-мозговой травмы. Это — потеря памяти. Особенная, не просто какая-нибудь амнезия. Как бы там ни было, я больше не услышу никого из них! Я еще раньше стал замечать, что все тише и тише, реже и реже слышу голоса ваши, любимые мои!

В этом лесу никаких загадок. В нем не заблудишься, не запутаешься в валежнике — чистый лес, местами больше похожий на парк.

Перед выходом из дома я на всякий случай выгнал страничку из Интернета:

Регион — Алтайский край
 Район — Мамонтовский район
 Населенный пункт — д. Покровка
 Почтовый индекс — 658573
 Долгота — 81°50' E
 Широта — 52°47' N
 Описание отсутствует. Если вы живете здесь или хорошо знаете эту местность, помогите туристам и путешественникам, напишите несколько строк.

Я, может быть, когда-то и напишу эти несколько строк. А может, и не напишу. Все чаще мне кажется, что я в скором времени разучусь писать, считать, работать, вообще занимать чем-либо мозги и руки. Обойму воздух, соединюсь с ним, обопьюсь воздухом. Наконец, стану воздухом!

На третий день я дошел до места.

Причем вышел к тому самому зернотoku, который мы строили больше трех десятилетий назад. Вид у него заброшенный, наверно, где-то построили новый. Или вообще надобность в подобном сооружении отпала. Лес, в прошлые времена подходящий сюда вплотную, отступил,

поредел. Вокруг свалка всякого металлического хлама. Среди гор этого отслужившего свое металла я обнаружил панцирную сетку. Вполне возможно, это одна из наших или даже та, которую мы с Таней опрокинули той ночью.

Деревня показалась мне какой-то присевшей, поредевшей. Да помнил ли я ее настолько, чтобы сравнивать с нынешней? На здании конторы, где когда-то значилось: «Колхоз имени Ленина», вывески нет. На задах клуба я обнаружил двоих мужиков, пристроившихся на пенке с бутылкой. Этикетки нет, значит, производство алкоголя местное.

— Здравствуйте! — поприветствовал их я и решил, что разговоры на общие темы излишни. — Вы, случаем, не знаете такую — Таню Пирогову?

— Таньку-то? — взбодрился один. — Так это...

— Ну, Пирогова Танька, — подхватил другой, — любовница нашего главы. Кто ж не знает! Сгорела в прошлом году вместе с домом...

— Да иди ты! — махнул на него первый. — Та и не Пирогова вовсе. И приезжая. А ему, поди, местную надо? Это вот кто будет... Это Пудовиха, точно! Она до Васьки Пудовкина Пироговой была! И зовется Танькой! Ваську уж лет пять как копнителем закололо, одна теперь живет. Во-он на краю дом, там еще забор повален. Генка пьяный дрова сгружал, не угадал. Стало быть, и дрова свежие рядом. Увидишь.

Я еще немного прошелся вдоль трассы, пронзающей деревню из начала в конец, и вернулся на свалку.

Что-то надо сделать! Что-то придумать!

Некстати вспомнилось: масштабы содеянного соизмеримы с масштабом самого человека.

Что я могу? Я могу многое! Я...

Внезапно мне пришло в голову... Я лихорадочно кинулся шарить по карманам в поисках телефона. Вот он! Увы, батарея разряжена полностью. Вот незадача-то! Но есть же здесь электричество, не всю же жизнь отключили от этой деревни! Пять минут зарядки — и можно звонить. И тогда я наберу своего зама и скажу, чтобы он привез мне сюда дверь. Ту самую, белую с серебром! Я найду, куда ее поставить! Я знаю!



Василий РЫСЕНКОВ

ЗАПОВЕДНИК ТУМАНОВ

* * *

Ни сада, ни крыш, ни скворечников, ни жердей...
Какие-то призраки бродят в молочном свете,
Как будто в тумане — дыхание всех людей,
Живущих и живших когда-нибудь на планете.

Лениво бранятся проснувшиеся скворцы.
Короткого дня уже не хватает лету,
Но где-то на грядке шершавые огурцы
Шуршат и бока подставляют скупому свету.

И скоро родня соберет рюкзаки в сених...
Но как нестерпимы душе суета и сборы!
Великий исход совершится уже на днях:
Потоки машин потекут из деревни в город.

И птиц эмиграция — фоном унылых картин.
А звездною ночью и свет, и тоска не внове.
Закрыли бы все дороги на карантин!
На долгую осень. Не в Болдине, так в Бернове.

* * *

По канавам лежит
все, что бросила жизнь, —
хлам столетий.
Здесь визгливы стрижи.
Вздохи зреющей ржи
помнит ветер.

Ветру в поле гулять,
лебеду шевеля.
Дверь заплачет.
В мертвых знойных полях
почему-то петля
замаячит.

На причал! На вокзал!
Чтобы путь указал
месяц белый.
После страха глаза,
после зноя гроза —
мрак и стрелы.

Ночью издалека
наплывает тоска
поздним летом.
И быстры облака,
и крылата ольха
пред рассветом.

От тоски до строки —
лишь движенье руки —
слева вправо.
Ловят осень в силки
на заре пауки
в ломких травах.

Красная книга

В Красную книгу памяти занесены
Сено в лугах скирдующие пацаны.
И архаичная тающая страна
В Красную книгу памяти занесена,
Птицы, глядящие с неба в глаза весны,
Лица, что старой песней освещены...

Там — заповедник туманов, заказник рос,
Там — к горизонту тучей придавлен воз.
Снам и покою, праздникам и мечтам,
Кажется, тоже место найдется там.



С лунной проталинкой в зимнем ночном окне
Красная книга эта открыта мне.
И не мигает елочная звезда,
В Книге страницу украсившая навсегда.

Память кристаллизована в волшебство.
Время парализовано...
Для кого?

* * *

Не стар. И пока еще вроде не
Беспомощен, не искалечен.
Пусть не на что жить на родине,
Без родины — нечем.

Пусть в тучах ныряет по небу
Кулик — патриот болота.
На родине ты хоть кто-нибудь...
Без родины — кто ты?

* * *

До Гладкого лога
давно заросла дорога.
Точнее, там нету давно никаких дорог.
Там трупы осин,
чертовщина, трясина, берлога.
Там отблеск заката в пруду и багров, и широк.

Кто с чертом поладит,
пробьется к Веселой Глади;
чтоб выйти оттуда, у лешего помощь проси.
Там желтые грузди
застыли как на параде,
там бродят еще туманы былой Руси.

От Круглой Моложи
сквозь таволгу путь проложим.
Березам Моложи, конечно, уже за сто.
На сказку похоже...

Ни тропок кругом, ни стежек.
А ветер пропитан тайной, такой густой...

Реальное тонко,
как розовый срез опенка,
как летняя ранняя утренняя пора.
Тот лог — отпечаток
в счастливой душе ребенка,
где солнце, и ветер, и теплых теней игра.

* * *

Годы абсурда!
Ведь это, братцы,
Хуже гораздо, чем «вечный бой».
Хватаюсь за книгу.
Боюсь остаться
Наедине с собой.

Ползет грузовик в колеях на пузе,
Пытаясь нащупать дороги след...
А Слово погасло,
И нет иллюзий,
И света, и смысла нет.

День обесцвечен и обесточен.
К небу дождем березняк пришит.
Ежик ли? кошка? — тепла комочек
Бросовым сеном шуршит.

Дней пустоцвет.
Городская пена.
Трассы в холодных и злых огнях.
Сено?.. Кому теперь нужно сено
В тающих деревнях?!

Там, где печные дымы не остыли,
Синью осенней полны глаза.
В небе катает бочки пустые
Заспанная гроза.

* * *

Под солнечным ветром цветущая слива
Взлетает и реет.
Весна безрассудна и тороплива —
Она не стареет.

Когда медуница цветет на откосе
У белого сада,
Не верится в смерть и не верится в осень,
Которые рядом.

С кукушкой, как в детстве, считаю года я.
Здесь циники — жалки.
Россия весенняя, молодая,
С глазами русалки,

Смеется и смотрит пронзительно, странно,
Зовет и тревожит.
Как призрачны трели, цветы и туманы.
И все же... и все же...

* * *

На главный вопрос — бесконечно простой ответ
На этой земле, беспомощной, всепрощающей —
В весенних осинах, пьющих небесный свет,
В осенней березе, солнышко излучающей.

Когда проезжаешь брошенное село,
А в небе светло и трава набирает силу,
Становится ясно, что прошлое не ушло —
В другую ячейку времени переместилось.

И есть там такая профессия — агроном,
Заря за окном и дорог полевых развилки.
Весна пахнет дымом, а осень — сушеным зерном,
И так усыпляюще ночью поют сушилки.

Мне кажется, самый счастливый финал судьбы —
Довериться лесу, заслушаться, заглядеться...
Тебя позовут и закружат в лесу грибы,
Все дальше и дальше, все ближе и ближе к детству.

Татьяна СКРУНДЗЬ

МЕРА ПРИВЯЗАННОСТИ

Р а с с к а з ы

Интермеццо

На ночлег разместились в палатке так: я с краю, она с другого, посередине пара и еще пара — мои приятели, которые и пригласили Любу, когда ее товарищи отправлялись в путь после недельной стоянки. Такие же дикари, но с автомобилем, они путешествовали вдоль всего побережья, останавливаясь ненадолго в поселковых кемпингах. Люба сказала, догонит их в Евпатории, оттуда вместе вернутся домой в Киев. Среди ребят был один, с кем Люба, очевидно, состояла в отношениях вовсе не дружеских. Тем подозрительней прозвучало ее решение остаться с нами. Этот долговязый, нелепый, нервный в движениях безусый юноша возражать не стал, а может быть, не мог. Прощаясь, взглянул на нее с выражением коровы, наблюдающей своего резвящегося теленка, покачал белобрысой головой, махнул рукой и исчез.

У моря жилось беззаботно. Стоял август, пик летней жары миновал, днем воздух сделался мягче, а по ночам с моря все настойчивей дул северный ветер. Утра мы проводили в ленивой неге, после обеда разбредались кто куда. Я любил одинокие прогулки по душистым холмам, что покрывали сушу вдоль моря на значительные расстояния. А товарищи мои ходили в поселок подзаработать. Все четверо владели музыкальными инструментами, в основном этническими. Я был единственным в нашей компании, кто обладал небольшими, но специально отложенными на отдых средствами. Впрочем, много и не нужно было. Простая пища готовилась на газовых горелках, обычные туристские развлечения нас не интересовали.

Мы быстро сдружились, хотя Люба продолжала во всем проявлять сдержанность и вежливую предупредительность гостя. Как хозяйева и к тому же старшие, мы опекали ее, угощали обедом и знакомили с достопримечательностями, благо место к тому располагало: горные образования причудливой формы окружали бухту, множество знаменитостей оставили здесь о себе память, и о каждом из них сочинялась необыкновенная легенда.



Любе оказалось всего девятнадцать, однако нарочитая строгость делала ее взрослее, а немногословность и всегда меткие суждения при легкости общения свидетельствовали о живом уме в ее милой головке. Крепко сбитая, невысокая, она обладала очарованием, далеко отстоящим от привычной красоты глянца, и тем привлекательней казалась мне, умудренному жизнью, как я себя мыслил, человеку. Мне было тридцать пять. Я был тогда холост и немного скучал, начиная с завистью поглядывать на своих друзей — пару и пару. Кроме того, никаких особенных приключений не случилось со мной уже много лет. Прodelки молодости поблекли в бурном браке, в тумане прошлого рассеялись и мучительные переживания развода.

С тех пор я привык относиться к женщинам спокойно, как к сотрудникам — в работе, любви или дружбе. Люба оставалась в стороне от всех этих занятий, физически же находилась так близко и источала столь яркий аромат юной, полной неистраченных сил жизни, что терзания мои увеличивались с каждым днем. Как старый зверь, раздувал я ноздри и ждал ночи, когда, пусть даже разделен с нею четверкой тел, смогу слушать ее мерное дыхание. Даже относительная близость волновала меня. Однако, попытавшись ухаживать за ней, я наткнулся на стену непонимания, граничащего с неприязнью. Намек мой остался унизительно безответным. «Конечно же, дело в безусом, — думал я. — Поссорились, барышня насочиняла себе танталовы муки, а малец растерялся и дезертировал».

Может, так непримечательно и закончилось бы мое увлечение, но в конце августа, когда мы проживали с Любой бок о бок уже вторую неделю, в бухту заглянули гастролирующие джазмены. Афиши в поселке висели с начала лета. Товарищи мои готовились заранее: обе музыкальные пары часами торчали на набережной, заработанное аккуратно откладывали на билеты. Я не собирался идти, с появлением же Любы немедленно обзавелся двумя пригласительными, отдав едва не последние сбережения. И не прогадал. Люба оказалась большой любительницей джаза и с радостью приняла приглашение.

К закату широкая площадка перед сценой, установленной прямо на пляже, плотно заполнилась людьми. Мы с трудом отыскивали местечко в середине, между мощных звукоусилителей по бокам. Как всегда на юге, тьма опустилась быстро, словно на мир сверху набросили покрывало. Вышел ведущий, сказал несколько слов и удалился. Тут же заиграл рояль, на сцене появился элегантный мулат в белом костюме. Отщелкивая длинными пальцами ритм, запел голосом Тома Уэйтса. Затем под прожекторы выступил немолодой саксофонист, зажмурился, как импровизирующий Иван Иванович Бавурин, и взял зрительское внимание на себя.

Музыка была великолепна, но я не слушал. Впервые за время знакомства я находился так близко от Любы. С прямой спиной, в позе лотоса, она слегка раскачивалась в такт мелодии. Я сидел чуть позади, опершись на вытянутые руки, согнув ноги в коленях, и мог разглядывать ее профиль, который четко вырисовывался на фоне софитов. Вся она как бы



вытянулась, стала тоньше и гибче. На одном из инструментальных соло, аплодируя вместе со всеми, Люба обернулась ко мне. Глаза ее сверкали, и пухлые губы приоткрылись в улыбке. Поддавшись порыву, я приподнялся и крепко поцеловал ее. Через некоторое время Люба вырвалась. Прямо взглянула на меня. Теперь глаза ее казались черны, как бездна, которая ждет — взглянешь ли ты в самую глубь или отвернешься, испугавшись.

— Идем? — сказал я.

Она кивнула. Извиняясь, мы стали пробираться сквозь толпу по направлению к берегу под щедрое трио блестящих с ног до головы негритянок. Когда мы отошли на приличное расстояние от всех огней, где гальку освещала только взошедшая луна, кожа на щеках Любы сделалась будто изо льда. Или из серебра. Холодного серебра с чернением в области глазниц.

Мы медленно шли вдоль кромки моря, и мне отчего-то было спокойно как никогда, хотя давешняя скука исчезла тоже. Словно нежность вечернего безветренного воздуха пробралась в грудь, разлилась через сердце по всем членам, заставляя лишь воспринимать, не размышляя. Я никогда не испытывал такого покоя и удивленно наблюдал за собой и Любой как за частью пейзажа. Вот идут двое и говорят. И все так восхитительно чисто и свежо, как ее не успевшая еще загореть кожа. Я позабыл, зачем звал ее прочь от громкой музыки, прочь от людей. Мы говорили о Крыме, Киеве и о ней. Оказалось, она знает безусого с детства и мыслит его как неотъемлемую часть своей жизни. Он влюблен в нее давно, она же... Иногда она замолкала надолго, и тогда я спрашивал. Она отвечала задумчиво, глядя на мерцающие, как светляки, лампы рыбацких судов в море.

Помню, я сказал:

— Люба, Люба, ведь ты несчастлива.

Она ответила не сразу, дернув уголком губ:

— Никто не может знать сердца другого человека. Даже сам обладатель сердца.

Мы оба притихли, остановившись перед вспенившейся полоской прибоя. В ту минуту я подумал, что больше всего желаю увидеть эту серебряную девушку всю, и немедленно. Я позвал:

— Пойдем купаться!

Не дожидаясь ответа, разделся, зашел в теплую воду и сразу поплыл. Я знал, что она пойдет за мной, и, действительно, почти сразу услышал за спиной всплеск. Полон неясной надежды или больше — уверенности, обернулся. Рядом с ворохом моих одежд светло мерцало небрежно сброшенное платье. Но Любы нигде не было видно. Прошло полминуты, минута. Я заволновался, нащупал ногами дно, встал, озираясь. Запаниковав, в полный голос несколько раз прокричал ее имя.

— Не шуми, я здесь, — послышалось из темноты, и затем в лунную дорожку всплыла Любина темная мокроволосая голова.



По воде пошли круги от беззвучных гребков. Злясь на свой испуг, я хотел выбираться на сушу, однако она попросила:

— Подожди, дай я выйду первой. Отвернись, пожалуйста.

Я послушался, зашел в воду по грудь и с радостью отдался прохладе, потому что чувствовал небывалое возбуждение, все же подглядывая исподтишка за ее наготой. Люба оделась быстро, но я успел увидеть стройный, влажно светящийся, как неоновая рыба, силуэт. Когда я вышел и, смущаясь, стал неловко натягивать прилипающие к ногам шаровары, Люба сказала:

— Не сердись. Я просто уплыла далеко и не хотела кричать в ответ. Не думала, что ты испугаешься.

Я вновь поцеловал ее, на сей раз коротко. Так, чтобы она не успела отстраниться сама. И на этот раз она так же внимательно посмотрела мне прямо в глаза, отчего сделалось почему-то немного жутко. На футболке осталось два мокрых пятна от прижавшихся ко мне тугих грудей.

Возвращались не торопясь, держась за руки, хотя я не помню, говорили ли мы о чем-то еще. Пара и пара были в лагере. Впечатленные концертом или из чувства такта, они не спросили нас ни о чем. После короткого ужина стали укладываться на ночлег. Я устроился рядом с Любой, а она сразу повернулась спиной, укутавшись в одеяло. Мучаясь сомнениями, я не смел к ней прикоснуться и гадал, что могло означать ее согласие уйти со мной, почему теперь она лежит молча, словно ничего не бывало. Я не смыкал глаз, но видел лишь тьму. Остальные не шевелились, ровное дыхание говорило о крепости их сна. Нащупав Любино плечо, я почувствовал, как напряглось оно под моей ладонью, и понял, что девчонка не спит тоже. И вдруг она подвинулась мне навстречу. Тонкая ткань разделяла нас, однако я осмелел, обхватил ее горячее тело вместе с одеялом, придвинул к себе, прикоснулся губами к тонкой девичьей шее сзади...

Мы лежали так целую вечность. Оглушительно стрекотали цикады за брезентовой стенкой. В какой-то момент я услышал, что Люба плачет, и, склонившись к самому ее уху, стал шептать что-то утешительное и все гладил, гладил по голове. Отчетливо помню запах ее волос — полынь и морская соль. Наконец вздрагивания прекратились, судорожно вздохнув, Люба повернулась и обняла меня. Но лишь на минуту. А потом утихла. Следом заснул и я.

На рассвете Люба уехала. Попрощалась она только с одной из пар, и то потому, что те поднялись раньше обычного. Позже в своем рюкзаке я обнаружил наспех подсунутый клочок бумаги с короткой фразой: «Я счастлива. Спасибо тебе». Я повертел записку. Никакого контакта Люба не оставила. То был август 2013 года.

Осенью и зимой четырнадцатого я отчаянно искал ее. Опрашивал крымских и киевских знакомых, копался в соцсетях, но что я мог, зная только город да имя? Я страстно надеялся, что она не пострадала во время переворота, глотал новостные сводки и долго, долго еще думал о ней — то нежно, то сожалея о чем-то несбыточном. Со временем, однако, черты



ее лица в памяти смазались, и теперь я вспоминал наш мимолетный роман разве что при случае. Неизменно тогда вставал передо мной призрак светящегося под луной крепкого тела, влажная, с хрустальными каплями воды на лопатках, спина, а иногда во сне я видел темные, с сокрытой где-то в глубине тайной, Любины глаза.

Мы встретились еще однажды. Случилось это неожиданно, в толпе, на площади того самого крымского поселка, куда я преданно ездил отдыхать много лет, ежесезонно, несмотря ни на любовные, ни на политические перипетии. Люба ничуть не изменилась, только волосы остригла по-новому. С нею был малыш лет двух в шортиках и мужчина, в котором я без труда опознал безусого. Он возмужал, сбрил наголо позорную белобрысость, хотя усов так и не отрастил. Люба узнала меня тотчас, сделала движение в мою сторону, лишь одно движение. Но тут мальчик потянулся к ней и ей пришлось отвлечься. Постояв, я двинулся своим путем.

Как старуха старика хоронила

Листва давно опала, но кладбище было старинное и густо заросло молодой порослью, так что к месту пришлось пробираться чуть ли не сквозь кусты. Свежую яму выкопали в глубине участка, поверх чьих-то родственных костей. Щербатые осколки прежней надгробной плиты валялись в стороне.

Старуха хоронила своего старика. Деды и отцы его рода испокон веку обретали вечный покой в этой почве. Живых из родни осталось, не считая вдовы, трое. Кроме родственников, на похороны никто не пришел.

Немолодая, хорошо одетая женщина с макияжем и яркой прической приходилась сестрой покойному. Мужчина рядом с ней, зять, с видом конферансье или лакея то и дело косился на супругу, словно ожидая указаний. Вертикальные черные полоски на его пиджаке подтверждали достойную меру траура. Лицо выражало скорбь. Поодаль, у старой березы, чьи ветви уходили к небесам, стоял молодой человек, по всей видимости их сын. Он был толст, высок и кудряв и издали мог напоминать Пьера Безухова, если бы не скучающее выражение позы. Опершись на одну ногу и опустив руки в карманы короткой куртки, молодой человек носком ботинка методично катал что-то, чего старухе не позволяло разглядеть зрение.

Она смотрела на семейство с противоположной стороны могилы. Справа, из сырой кучи желтоватой земли, торчали черенки лопат, и четверо молодых могильщиков, опершись о них мускулистыми предплечьями, терпеливо ожидали совершения последнего ритуала. Эти ребята знали цену чужой скорби.

Но если сестра с зятем и впрямь скорбели, вдова казалась едва ли не безучастной, будто прощалась не с мужем, а с соседом по лестничной клетке. Это никого не удивляло. Старуху привыкли считать блажной, не от мира сего. Жила она просто, и если до замужества жизнь ее составляли

книги да старенькие родители, то последние сорок лет — книги и вот этот человек, острым мертвым носом уткнувшийся сейчас в серое небо.

Скулы старика выступили еще больше, чем когда он был живой. Веки и пальцы рук зелено пожелтели и неприятно оттенялись сероватым, с полублестевшей листвой, кладбищенским пейзажем. Мертвец казался удачно вылепленной куклой размером чуть меньше оригинала. Мало того что при жизни доставал макушкой всего до плеча супруге. А гроб пришлось заказывать почти детский — сто шестьдесят сантиметров.

Старуха же и в старости оставалась высокой. Это немало смущало ее когда-то. Поздно, в тридцать с лишним лет, увезли ее девицей в чужой дом, в большой город из глухой провинции, где жила она с рождения. Она пылилась под книжной пылью в библиотеке, как одна из тысяч книг, вверенных ей. Долговязую помощницу главного библиотекаря знали все в городе: она выписывала формуляры.

Пожили их родители, сосватавшись как в старину. Сваты, какие-то дальние родственники, сочли затворничество старой девы за благопристойность. Мать с отцом, тогда уже старики, добились ее согласия причитаниями. Не сразу стало понятно, что привычный, пусть и пыльный внутри и снаружи мир разрушился. Словно ветры, влетевшие в давно не убранную комнату, разнесли пыль повсюду, заставив чихать и прикрываться платком.

Жених оказался безнадежно черств, хоть и подвижно жизнелюбив. Хилый вид его все равно не вызывал в ней ничего, кроме сдержанного сочувствия. Поживив чад, родители обеих сторон, благо все четверо успели дожить до седин, один за другим ушли, будто растворились в звездной пыли. В наследство достался брак, и что-то нужно было с ним делать.

Вдова, а за ней семейство сестры по очереди подошли к гробу, чтобы поцеловать венчик на ледяном лбу трупа и традиционно уложенную в руках икону Спасителя. Платок обвязывал запястья так крепко, словно без него покойник мог неожиданно стукнуть кого из целующих восковым кулачком. Семейство отступило от гроба назад и встало чинно, похожее на небольшой набор матрешек. Из их ряда выбивалась старухина фигура с прямым станом, плотно запакованная в приталенное пальто. На голове — красный ангоровый берет, прикрывающий серебристую седину. Старуха сама освободила запястья покойника, сунула «опутку» в потертую дерматиновую сумку, которую держала на сгибе локтя. Мускулистые парни установили гробовую крышку, взялись за молотки. Золовка влажными рыбьими глазами следила за их действиями. В глазах читался ужас, словно это над ней только что померк белый свет и словно жуткий мерный звук, отдающий тупым эхом в совершенной тишине, слышен ей как бы изнутри душно пахнущего лаком и новеньким бельем гроба.

Стук забиваемых гвоздей всполошил нескольких ворон. Недовольно загалдев, они шевельнули прелую листву на ветвях, осыпались твердые



дождевые капли, застрявшие наверху после ночного дождя. Брызги попали за ворот куртки Пьера.

— Противная погода. Как раз для похорон, — проворчал он.

Весь облик его пылал здоровьем сытого молодого мужчины, не занятого делом.

Черный зев могилы проглотил лакированный ящик. Старуха подошла к могиле. Снизу пахло сыростью. Она опасливо заглянула в яму. Традиционно ближайший родственник должен первым бросить горсть земли, но она медлила. Остальные ожидали своей очереди, приготовив грязные комья, из которых торчали тонкие корешки растений и половинки разрубленных дождевых червей.

Любви супруги так и не извели (впрочем, как и ее отсутствия, поскольку любить и прежде ни одному ни другому не приходилось). Что такое семейное счастье, они тоже предположить не могли, а к неведомому не могли и стремиться.

— Вы, дорогая, если что нужно будет, не стесняйтесь, — говорил супруг.

— Непременно, непременно, — отвечала супруга. — Не беспокойтесь.

Они оставались на «вы» всю жизнь.

Через пару лет после венчания завелся такой порядок: один работал в городе и жил там же, в снимаемой за половину зарплаты квартирке, другая перебралась на загородную виллу, подаренную отцами. Целый сад кривых, но обильно плодоносящих яблонь да скромная библиотека заполнили ее жизнь. С мужем стала встречаться изредка.

На свиданиях старик всегда был подтянут, гладко выбрит, румян, как молодой мухомор. Если он приезжал к ней, совершал один и тот же ритуал — выставлял на стол большую сумку с гостинцами, смущенно отходил в сторону.

— Я не знаю, куда ставить. — И каждый раз беспомощно разводил руками.

Старуха выгружала продукты в холодильник, а подарки (то настенные часы, то книги, а иногда и какой-то бытовой прибор вроде миксера) уносила в комнату с камином. Сидели потом у трескучего огня — она на тахте, он в кресле-качалке, — едва переговариваясь о бытовых делах, пили скучный чай. Затем старик обходил участок и, деловито распрощавшись, укатывал на своей «ладе» обратно в город.

— Ну, не поминайте лихом, — говорил на прощание.

Она отвечала:

— И вы не скучайте.

Если приезжала она, шли в театр, кино или в гости. Больше недели в городе она никогда не оставалась. Он приезжал иногда на целое лето. Никаких разногласий (впрочем, как и согласий) они не имели и внутренним миром друг друга не интересовались. Старика почитали за образ-



цово-консервативного главы семейства, хотя до главы ему не хватало как минимум двадцать сантиметров. Если ему приходилось выбирать на люди с женой, знакомые уважительно склоняли головы перед перекошенной в росте парой, излучающей какую-то авангардную, футуристическую гармонию, когда она брала его под руку и ему приходилось приподнимать локоть, стараясь поспеть притом за ее широким шагом, натягивающим узкую юбку на сильных ногах.

Должно быть, он чувствовал себя нелепо.

Детей не случилось. Оба со временем стали думать, что и слава богу.

Старухино бытие утешалось окружением книг, как рыба в воду она окунулась в знакомый пыльный запах мира литературы, не замечая и не думая, что стареет и что вообще живет.

Старик, несмотря на малый рост и общую хилость, крутился как белка в колесе и проводил жизнь в беге по карьерной лестнице. Путь от инженера до техдира небольшого муниципального автопарка был преодолен ровно к пенсионному возрасту. Со стойкостью оловянного солдатика старик исполнял трудовой долг и не забывал о нравственном подвиге. Скорее всего, несмотря на постоянное отсутствие жены, оставался ей верен. А если когда — то вспомнил бы о том разве что на Страшном суде. Такой был человек.

Однако последний год они провели вместе.

Выйдя на пенсию, старик быстро начал превращаться в растение. Одичал, сжурился до размеров липового листа в ноябре. Старуха, тем временем тянувшая восьмой десяток, оставалась бодра и против мужа не сохла в росте нисколько. Правда, руки ее, как ветви старой березы, иссохли и потемнели, кожа обвисла и глаза потеряли зоркость. Читать стало трудно. Впрочем, книги к тому времени утомили. Но она знала, что все происходит вовремя.

Едва дала знать о себе первая старческая скука, как старик заболел окончательно и стал нуждаться в уходе. Пришлось круто поменять жизнь, переехать в городскую квартиру и на старости лет приспособливаться к шумным проспектам и магазинам.

В тот год она наконец познала все прелести супружеской жизни. Старик же не смог бы вспомнить то время, даже воскреснув. В несколько месяцев беспмятство неотвратимо и тихо, как удав мышонка, пожрало мозг старика. Скончался он в ангельском сне.

Со смертью мужа в старухе вдруг образовалось смутное беспокойство, хотя первым чувством, после того как она, проснувшись на соседней кровати, обнаружила, что тот не дышит, было спокойное облегчение.

Сейчас она подняла взгляд на табличку с датами, прибитую к верхней перекладине большого деревянного креста, который могильщики прислонили к низкой ограде. Что-то в цифрах было притягательное, законченное и оттого красивое и правильное. Словно смерть не разъединила их, но напротив — соединила, чего не смогли сделать десятки лет брачных уз.

Со дня смерти мужа и до сих пор сердце ее билось чуть быстрее обычного.

— Ты что, Шур? Не плохо тебе, чего застыла-то? — участливо спросила золовка.

Муж скосил к ней лицо, но ничего не сказал. Пьер отошел в сторону покурить. Пачкать руки ему не хотелось. Старуха подслеповато различала его теперь большим, шевелящимся, как желе, пятном. Вновь закричали вороны, скрипнули где-то под тучами стволы вековых деревьев. Один из могильщиков снял с руки холщовую рукавицу, достал из другой платок и смачно высморкался, а когда поднял голову, оказалось, его черный нос движется как у большого пса, потерявшего кость. Еще чуть-чуть — и он задышит будто овчарка, которая только что гнала стадо овец.

Так и не бросив земли, старуха, не дожидаясь остальных, пошла в сторону автобуса с белой на черном надписью «Ритуальные услуги», который все это время ожидал в пяти метрах, на обочине кладбищенской просеки. Проходя мимо племянника, неловко споткнулась о выступающий корень и упала бы, если б не оперлась о его руку. В этот момент она подняла взгляд и сфокусировалась на его лице. Щеки юноши были белы и обветренны, он напоминал скорее не Безухова, а деревянную куклу, какие делали в старухином детстве. Глаза из голубого стекла синхронно качнулись вверх-вниз в глазницах деревянного Пьера.

Старуха двинулась дальше, слушая, как толстяк за ее спиной, пыхтя, затаптывает бычок, а потом спешит следом, чавкая кроссовками по грязи. Золовка с мужем догнали их у автобуса. Старуха забралась в салон первой, села у окна, выпрямившись струной, уложила на колени сумку, на сумку — прямые ладони. Вполголоса переговариваясь о чем-то, уселись остальные. Автобус заурчал, затем взревел, выковыривая колеса из вязкой колеи, и тронулся, переваливаясь с боку на бок. Через заднее стекло можно было разглядеть хлесткие взмахи лопат. Но старуха прикрыла глаза и, казалось, сразу задремала. Никто не заметил, как из-под плотно сомкнутых век по морщинистым щекам быстро, двумя живыми водопадами потекли мутные старческие слезы.



Лидия ЛЮБЛИНСКАЯ

СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ

* * *

Когда мой отец покидал этот свет,
Месила я тесто, варила обед.
Когда закрывала глаза моя мать,
Я шла, напевая, с собакой гулять.
Пока чьи-то души уходят в свое
Никем не обжитое небытие,
Другие танцуют, рожают, поют,
И эти другие когда-то умрут.
Как рассогласована жизнь на Земле:
Тот роется в книгах, а этот в золе,
Тот стонет от смеха, а этот от ран,
Тот Библию славит, а этот Коран,
Тот камень заносит, а этот разит,
Тот важно ступает, а этот трусит.
Ты дремлешь — из рук выпадает тетрадь,
Не сплю я: мне камни пора собирать,
Лежу, вспоминаю, вскипаю, горю;
Молчишь ты, а я говорю, говорю...

Ночная прогулка

Над Мойкой громада собора плывет
С верхушками крон и луною,
И дышит в затылок глухой небосвод,
Следя исподлобья за мною.



Неужто и вправду меня не узнал,
Свою прихожанку ночную?
Гляди же: Кирпичный, решетка, канал, —
Да разве ты видел иную

Такую же местность, такую же стать,
Такое согласие линий?!
О, как я отсюда рвалась улетать,
Жить в Лондоне, в Вене, в Берлине,

Теряться на римских чумных площадях,
Бродить по виндзорским каскадам...
Кавказские горы с усмешкой глядят
На девочку из Петрограда.

Спасибо, что я не лишилась ума,
Что я не спилась, не сломилась...
На родине белая сыплет зима —
Нежнейшая божия милость.

* * *

Во мне весь мир: вчерашний день и тот,
Который не рожден еще, но зреет,
И ласточки его вдоль речки реют
И медленный приветствуют восход.

Во мне весь мир: все звуки, голоса,
И плеск воды из-под тяжелых весел,
И шорох листьев, ссохшихся под осень,
И гул ветров, качающих леса.

Во мне весь мир: вся память бытия,
От самой первой живородной клетки
До хруста белой косточки скелетной,
Которыми усеяна земля.

Во мне весь мир: вся музыка и мощь,
От вздохов гор до буйства океанов.
Покуда я дышать не перестану —
Во мне весь мир, — и век, и день, и ночь.



Памяти отца

У дедушки когда-то антоновка росла.
 Ворвались краснофлотцы, спалили все дотла.
 И дедушкину Тору, и бабушкин рояль
 Разбили, разметали — жидовского не жаль.
 Была корова Машка — как сахар молоко, —
 Рога петлей стянули, угнали далеко.
 Агафья пела песни и нянчила ребят —
 Над нею надругался в пятнадцать лбов отряд.
 Зарытый в сеновале прадедовский наган
 Нашел, в соломе роясь, однажды мальчуган.
 И выстрелил, и вздрогнул, и выстрелил опять,
 И к стенке потащили его седую мать.
 А рядом пели песни и пироги пекли,
 И вряд ли кто услышал отрывистое: «Пли!»

Колыбельная

Ты спи. Ты спи. А я тебе спою,
 Как дремлют птицы на ветвях в саду,
 Как засыпают рыбы на ходу
 Под мерный выдох «баюшки-баю».

Пусть улицы разноголосый рев
 Замрет, коснувшись нашего окна,
 Пусть комнату охватит тишина
 И шелест проплывающих миров.

Пускай тебе приснится, как река
 Качает твоей лодки колыбель
 И побережья бережно апрель
 Касается — и плаваются снега.

А я спою. А я тебе спою,
 Как пела мама песню мне свою —
 Тихонько под блокадный метроном,
 Как бабушка — под гродненский погром,
 Прабабушка, качаясь, чуть жива, —
 Шептала мне на идише слова.



* * *

Век двадцать первый. Тупо хлещет дождь.
 Белесой сеткой виснет за стеною.
 Он рухнул, словно гром, на смену зною
 И в спину ледяной вонзает нож.

Все планы улетают в никуда.
 Он зарядил надолго, на неделю.
 С какой надеждой в небо мы глядели,
 Сиявшее, казалось, навсегда...

В своем цивилизованном мире,
 В своем благоустроенном пространстве,
 С потухшею душой, в тоске и в трансе
 Уносимся в бессрочное пике.

И темен мир. И щурятся глаза.
 Враждебно огрызается планета.
 И молкнет речь. И письменности нету.
 Нет пороха еще и колеса.

* * *

Палата спит. Ноябрь. Шесть утра.
 Ночные лампы светят в коридоре.
 Спят те, что были в контрах, были в ссоре
 Еще вчера. Тишайшая пора...

И все равны. И Бог един в беде
 Для молодых, для старых и для нищих, —
 Он небо осветит и явит пищу —
 Тарелку манной каши на воде.

Клокочут кроны высоченных лип,
 В раскрытое окно мне тянут руки;
 Рыдает и трещит матрас упругий,
 К клеенке зад исколотый прилип.

Но оторви его от лежака,
 Прошаркай к белокафельной уборной, —
 Оттуда вид божественный, бесспорно,
 На крыши, купола и облака:

Как на ладони старый Петербург,
С глубокими колодцами-дворами,
С антенным лесом, с дымными парами,
Расцвеченный зарею под гламур,

Под то авангардистское панно
Из дорогих коллекций новых профи,
Где штрих знакомый, абрис или профиль
Пьянят владельца крепче, чем вино.

И этот мир кирпично-жестяной,
Он там, внизу, свою жизнью частной
Живет не то чтоб жизнью несчастной,
Скорее отрешенною, иной.

Там день за год идет, а год — за век,
И в окнах там одни и те же лица;
Там черные летают в небе птицы
И Новый совершается Завет.



Владимир КУНИЦЫН

У ЗЕРКАЛА

Миниатюры и эссе

Страшная месть Концевичу

Я оказался в Москве в тринадцать лет. Отца оставили после учебы в столице. Он сгреб в охапку маму, нас, троих мужиков мал мала меньше, и — прощай, Тамбов! Перед отъездом мама торжественно повесила на гвоздь папин офицерский ремень: «Все! В Москве, надеюсь, вы не будете давать повода для наказаний. Пусть все плохое останется здесь вместе с этим ремнем». Но я знал, что обязательно вернусь сюда. Хотя бы для того, чтобы набить морду Концевичу.

Стас Концевич был садистом нашего двора. Ужасом детства. Старше моих ровесников года на три, а то и на четыре. Его отец был алкоголиком и однажды умер прямо на лестнице, не дойдя до квартиры. Наткнулся на него Вовка Окатов. Впервые в жизни мы видели покойника вблизи: помню, как мы, человек пять, мальчишки и девчонки, подкрадывались к нему, прячась друг за друга. У Концевича-старшего лицо было синим. Это наблюдение оказалось общим и, пожалуй, единственным. Точнее, главным, потому что зачем-то до сих пор помню подошвы его сношенных сандалий и пестрые носки...

Концевич-младший начал попивать лет с двенадцати. Однако ненавидели мы его за изощренную, с оттягом, беспощадную жестокость. За унижения, от которых было особенно больно, потому что мы были хоть и маленькими, но уже людьми.

В восемнадцать лет я окончил школу и с ходу поступил в МГУ. За этот подвиг мама разрешила на неделю съездить в Тамбов.

Встречал меня мой тамбовский друг, опять же тезка — Вова Массеев. Прямо у вагона и — на мопеде! Это ж тогда было так круто, как сейчас на «мерсе».

От вокзала мы весело затарахтели по Интернациональной, а значит, никак не могли миновать мой родной, обожаемый детский двор. Вова прислонил мопед к стеночке за углом, закурил, а я стал ждать Стаса Концевича.

Да, я был уже далеко не малолетка. И рост за метр восемьдесят, и ботинок сорок пятого, и кулаки с мозолями от нескольких лет фанатичного увлечения боксом.

Узнал я его не сразу — сутулый, уже испитой доходяга. Я вышел из-за угла и крикнул: «Подойди сюда!» Концевич вздрогнул всем телом, как бывает во сне. Вова сидел на мопеде, курил. Я взял Концевича за шкирку и втащил за угол. «Мужики, вы чего?!» Он не узнал меня, конечно. «Щас я буду тебя убивать, падла, мразь! Резать буду!» Я сделал вид, что щупаю в заднем кармане ножик.

Вот тут Концевич струхнул всерьез. Вова Масеев, наблюдавший за встречей «старых друзей» с изысканным равнодушием, потянул воздух и изумленно огорчился: «Воняет!»

Я отстранился от Концевича: от него действительно вдруг резко и плохо запахло. А он именно в этот момент с восторгом прозрел: «Куня, ты?! Ты, что ли?»

«Забыл, как мучил нас, фашист?» — уже без всякой злобы сказал я. И замахнулся на него. Он пригнул голову, но ясно было: знает — бить не будут. Миновала, как говорится, оказия.

Мне нечего было сообщать вспоминать с паном Концевичем. Моя идея — вернуться в Тамбов и наказать его за муки детства — сейчас, рядом с этим несчастным и больным, обрела вечный покой. Но и долго себя стыдить, заниматься самоедством я не стал.

«Поехали!» Мы сели с моим дорогим другом Масеевым на его великолепного коня и помчались в Пригородный лес к его знакомым девчонкам, пионервожатым. «Вова! — перекрикивал я шум ветра и мотора. — Мстить позади! Впереди секс и рок-н-ролл!» — «Точна-а-а!» — кричал в ответ Вова.

Шел 1966 год. Карибский кризис остался в прошлом, и все люди, которые должны были умереть, были по-прежнему живы...

Хрустальные провода

Старший сын (16 лет) впервые уходит «в ночное». На чужой квартире, в большой компании. Мальчики и девочки.

Младший (12 лет) предвкушает: «У Георгия будет оргия! Оргия!» Уточняю: «В смысле Рима периода упадка?» — «В смысле!» — вопит счастливый ребенок.

Я вспомнил, как когда-то, будучи еще артистом, а не губернатором, Миша Евдокимов говорил в трубку: «Оргич, привет!» У меня отчество — Георгиевич.

И еще вспомнилось, как провожали брата Ваню в армию. Со второго курса журфака МГУ он решил пойти не просто отслужить, а непременно в десант, обязательно в разведку, потому что круче этого ищи-свищи, а все равно ничего не същешь и не высвищешь! Отец устраивал его туда по благу через контр-адмирала Тимура Аркадьевича Гайдара, с которым одно время вместе работал в «Правде». Наверное, такая «дикость» слу-

чилась впервые, поскольку блат употребили для того, чтобы добровольно отдать отпрыска в армию, а не наоборот — спрятать, спрятать, спрятать!

Проводы Ивана в армию накололись татуировкой не только в моей памяти. Подозреваю, они остались в памяти многих, кто участвовал в этом эпическом событии!

В ту ночь дверь нашего дома потрудилась! Если бы она была печатным станком дензнаков, мы ели бы финский сервелат все два года, что Иван отсутствовал. Народ шел как на водопо́й в африканскую засуху. Друзья Ивана вели своих друзей, а друзья друзей звали еще и своих друзей, и потому дверь только охала и ахала, впуская и выпуская. Люди сидели вдоль стен на полу, одна гитара сменяла другую, было душевно, и большинство знать не знало, по какому случаю идет гудеж.

На моих глазах незнакомый мальи́й, стоявший у косяка, покачнулся, вцепился рукой в чуть оттопыренный край обоев и, красиво наворачивая на спину бумажную полосу как простыню, рухнул к плинтусу носом, уснув до приземления.

Еще, помнится, кто-то бледный, как Пьеро, привел с собой то ли посла иностранного государства, то ли культурного атташе. Иностранец совсем не понимал русского, радостно таращил глаза, не переставая улыбался, кивал головой, как япо́нец, и пил водку как сапожник. Пьеро из-под лба сверкал очень внимательным, вороньим глазом по сторонам и зловеще ухмылялся. Дипломат стремительно хмелел и, кажется на испанском, затеялся говорить с каждым, кто приближался к нему, дружелюбно тяня рюмку — может быть, хотел чокаться, а может, желал, чтобы подлили еще. Пьеро молча и жестко увел его. Не выражая ни малейшего к нему почтения, что было по тем временам (конец семидесятых) даже этаким шиком!

До утра дожили человек сорок с небольшим. Вся эта мятая и несвежая гурьба вывалилась в тихий двор и побрела к призывному пункту через Песчаную площадь, к Березовой роще, к стадиону...

Вернувшись домой, мы обнаружили под двумя медвежьими шкурами незнакомых людей. Они тупо спали — один у батареи, а второй под книжными полками. Будить их не стали.

Все горшки с цветами на окнах были так плотно утыканы окурками, что походили на гигантских ежей. У цветов, надо сказать, видок был тоже не свежий. Они пялились на бычки с детской обидой и понятной брезгливостью.

Я вышел на балкон. На узкой периллине одиноко стоял хрустальный фужер, стоял грациозно, как канатоходец. В нем было недопитое шампанское, а в шампанском, прижавшись друг к другу боками, плыли куда-то две недокуренные сигареты.

Взглянув вниз, я обомлел: на металлической ограждающей сетке второго этажа лежало еще два наших хрустальных фужера! С пятого, откуда я на них и пялился, они выглядели абсолютно, невероятно целыми. Это были фужеры, которые мы давно стали называть семейными. Отец купил их еще в Тамбове, в самом начале пятидесятых. Они были для ро-

дителей первой после войны роскошной, как бы необязательной покупкой. Большие, с великолепной, обильно играющей светом резьбой, очень праздничные фужеры! «Что за люди бросали их туда, вниз?!» — подумалось моей измученной алкоголем головой.

Дверь мне открыли сразу, точно ждали, так же охотно провели к окну, и я, не веря глазам, достал наши тамбовские раритетные фужеры совершенно невредимыми. Это обстоятельство восхищает меня по сей день. Из шести предметов тогда уцелело четыре. Они и сейчас живы. А папы давно нет. Нет теперь и Вани...

Золотая серьга России

У Хрущева были мозолистые, могучие локти. Этими партийно-мужикскими локтями он быстро растолкал конкурентов и захватил власть, стоило только Сталину упасть с трона. Еще подростком я помню, как год от года набирала силу пропаганда теперь уже его, хрущевского культа.

Мне он с самого начала не нравился. Никогда он мне не нравился. Мальчишеское эстетство, наверное. Слишком был похож на хряка. Такой очень энергичный, самоуверенный, шумный хряк. Достал всех кукурузой своей, окриками хамскими, чехардой в хозяйстве, в управлении. Когда его сняли — точно помню, просто стон облегчения пронесся в эфире, стратосфере и ноосфере! Но успел Хрущев совершить и еще одно зло. В 1954 году.

Видно, к России Никита Сергеевич относился как к надоевшей жене. А к Украине — как к любимой зазнобе. И потому вырвал Крым из уха России — словно золотую серьгу! — и швырнул в растопыренный фартук гарной полюбовницы.

В ту пору «шалость» волюнтариста особо и не заметили. Теперь же стало ясно: любое действие правителя имеет последствия. Правда, приходится дожидаться, когда действие — нос к носу — сойдется во времени со своим последствием. Мы с Крымом дождались.

Бендер и Зевс

Жили на одной лестничной площадке дворовый кот Бендер и аристократ в двести семнадцатом поколении дог Зевс. Кот Бендер по характеру был настоящим хунвейбином, местным беспредельщиком. Его лютой ненавистью ненавидели все. А больше всех — коты. Оба уха у Бендера были отгрызены наполовину, не было левого глаза, и он прихрамывал. Расплата за весенние безумства, в которых Бендер нагло доминировал не только в своем дворе, но и в трех примыкающих переулках.

Что касается соседа Бендера дога Зевса, то тут дела обстояли совсем наоборот. Статный, как арабский скакун, Зевс лоснился вороной мастью от свежайшей ежедневной мясной вырезки и косметического ухода, чем никак не могла похвастаться его хозяйка, которая к тому же явно недодала.

Соседи, а точнее соседки, пытались сделать все, чтобы встреча Бендера и Зевса с кошачьего глаза на глаз собачий не состоялась никогда — следует отдать им за это должное. Но жизнь, как известно, изобретательнее любого из нас.

Пришел день, все-таки наступил этот день, когда Бендер и Зевс встретились один на один. Хозяйка дога на минуту вернулась в квартиру за забытым портмоне, не успев пристегнуть к ошейнику Зевса карабин. Вот в этот самый момент перед собакой и возник во всей своей неотразимой красе Бендер.

Дог давно представлял эту встречу, и он знал, что никогда не оскорбит свою пасть кошачьей презренной кровью. Зевс знал, что одного удара его лапы вполне достаточно, следовало лишь настичь кота и ударить.

Огромный и мощный пес в один бросок достал бы своими чудовищными клыками Бендера и перекусил его пополам. Но аристократ Зевс не стал менять заранее намеченный план. И потому Бендер успел взлететь на самый верх обитой дерматином двери, безумно сверкая единственным глазом, а Зевс, встав под ним во весь свой исполинский рост, занес лапу, чтобы смахнуть омерзительную кошачью тварь.

В этот роковой для себя момент Бендер и исторг невообразимо наглую, хамскую, до жути плебейскую, пахнущую вечным, несмываемым позором для всего собачьего рода-племени струю! Прямо в пасть, в морду, на благородно выгнутую шею потомственного, щедро украшенного собачьими орденами дога!

В ту же секунду Зевса разбил паралич. Его усыпили через месяц...

У этой истории есть какая-никакая, а мораль. Мораль, конечно, не шибко оригинальная, однако полезная в быту. А именно: будь ты хоть аристократ, а хоть и плебей — не высокомерничай! Дольше проживешь. Но это так, на первый, не самый глубокий взгляд.

Зимнее утро

С мамой связаны незабываемые воспоминания. Вот одно — из тамбовской еще жизни. Зима, зябко, темно. Мама собирает меня в школу, я во втором классе начальной № 4. Она на углу Советской и Коммунальной — три остановки на автобусе. Маме тоже в школу, но дальше моей — в № 16. Там она преподает русский и литературу.

Выходим из дома на Интернациональную — как в гигантскую чернильницу: воздух густой от фиолетового цвета. Недвижен морозный туман, зло и оглушительно скрипит снег. Сворачиваем в Базарную — вдоль дороги сдобные сугробы выше моей головы. Мама кричит: «Автобус!»

Бежим с капустным хрустом к Коммунальной. Там трясется от холода лупоглазый, похожий на потерявшуюся собаку желтый автобус. Ждет нас, едва расцепив двери, смотрит маленькими окошками, тускло поблескивают обледеневшие стекла, за которыми угадываются в сонно сплывшемся частоколе сумрачных теней люди. Мама хватается за меня и вминает в черные спины, цепляется руками за полураскоряченную дверную гармош-

ку. Я чувствую ее горячее дыхание в мое ухо, ноги ее сейчас — я живо представляю это — скользят по нижней ступеньке, каблуки над дорогой: двери не сходятся. Народ, согретый в общем комке, орет шоферу: «Давай! Жми, рябой!»

Автобус трогается, я чувствую спиной все могучее напряжение мамы, впереди царапает щеку вонючим ворсом чья-то шинель. В автобусе изысканный коктейль из запаха вчерашней водки, чеснока, махорки, колбасы и пота.

Но толчок — все вдруг изменяется вокруг! Я на мгновение осязаю пустоту за своей спиной — там, где только что бурлило физическое сверхусилие мамы. Мелькнуло фиолетовое, по краям пожелтевшее небо, мелькнули мимо двери, только что близкие спины — мама резко выпала из дверей спиной назад, плашмя, навзничь, успев притянуть меня к груди, защищая собой от удара.

Мы падаем прямо в шапку придорожного сугроба, поднимая вихрь снега. Снег свежо окатывает нас своей алмазной пылью, я кричу в ужасе: «Мама!» Пытаюсь спиной понять: как она? И в ответ слышу ее молодой смех: она хохочет, не может остановиться, горячо прижимая меня к себе. И ей всего тридцать лет, всего тридцать... А будет еще девяносто.

Дети тоже ошибаются

На днях сидел на скамейке, вдруг подходит девочка лет трех, у нее к запястью привязан розовый шар. «Развяжи!» — командует уверенно и, я бы сказал, как старому знакомому. Я развязал. Пока развязывал, она стояла терпеливо, хотя я не сразу уцепил узел. «Мама привязала?» Она кивнула и убежала.

Я огляделся: вот тетки сидят недалеко, рядом молодая пара. Почему она ко мне подошла?

Давно заметил, что дети меня «видят», реагируют почему-то. Проходит малыш с мамой мимо, так непременно остановится на секунду и с любопытством оглядит. Или мальчик какой-нибудь так же вот вдруг подбежит и молча протянет ногу с развязанным шнурком. А то, бывает, кто-нибудь из маленьких, идя навстречу, язык покажет или улыбнется.

Одно время я пытался разгадать: отчего так? Может, оттого — тешил я свое самолюбие, — что я не такое уж и г.. Но чем дольше живу, тем яснее: насколько же нехорошо я жил до сих пор! Значит, и дети ошибаются... Жаль.

Поэт и богатырь

Однажды зимой приехал ко мне в гости поэт Игорь Тюленев. С ночевкой. А потому сели мы с ним на кухне и начали пить водку. Не ограничиваясь.

Игорек читал свои новые, как всегда яркие, темпераментные стихи, я радовался им вместе с поэтом, и было нам душевно, хорошо. За окном мело, но легко, светло, воздушно, со снежным взлетающим пухом.

И вот Игорь читал, а я встал с сигаретой к окну — уже не очень отчетливо воспринимая действительность. И тем не менее рассмотрел с высоты восьмого этажа: прямо у дороги кто-то спилил два старых тополя. И уже распилил на чурбанчики — как Церетели змия на Поклонной горе. Там Георгий Победоносец на коне тычет копьем в поверженного змия, а он почему-то уже порезан на куски, как колбаса. Ну, этот шедевр многие видели, понимают, о чем я.

Я в лирической растревоженности говорю Игорьку, эх, мол, хорошо бы вон тот пенек тополиный отрубленный домой взять, на память о гибели дерева. Эти тополя тут лет пятьдесят простояли. А то и больше. Сколько раз я зависал на них в задумчивости взглядом — разве они не чувствовали этого? На них и Анатолий Передреев смотрел, когда жил в этом доме, и Толя Парпара, и Поляков Юрий. А гости наши? Если всех вспомнить? Это же целая сплошь талантливая толпа литераторов будет!

Тюленев недолго думая пошел надевать сапоги. Мы полезли напрямки, через сугробы, лояя ртом снежинки, а они за повышенное наше к ним внимание весело освежали язык.

Я выбрал тополиный чурбан, заиндевелый, в ледяных искрах. Попытался катнуть и понял, что весит он килограммов шестьдесят, не менее. Игорек одобрил выбор и не мешкая, по-медвежьи облапил чурищу, а затем, даже не крикнув, швырнул ее на плечо! Я восторженно ахнул. А поэт из Перми зашагал к подъезду, грациозно отступаясь в снегу.

Ей-ей, он нес эту чугунную от мороза древесину так же легко, как носят в Большом балерин. Но разве есть в Большом балерины под шестьдесят кило? И разве их поднимают над сценой приняв на грудь по четыреста грамм? Вот и я о том же.

Игорь донес чурбан до квартиры, ни разу не притормозив. А когда опустил его на пол, то раздался глухой, басовитый звук — и дрожь прошла по всему бетонному межэтажному перекрытию.

...Этот тополь простоял у меня в прихожей вместо стула и столика почти пятнадцать лет. Рассыхаясь, он научился заглатывать в свои щели монетки. А поэт Игорь Тюленев в моей памяти остается русским богатырем, кудрявым и красивым, как на миниатюрах из Палеха.

Гений и луна

Как в деревне у нас тут в Переделкине, честное слово. «Иван, выходи! Прогуляемся». Это я Жданову в телефон.

Он выходит на дорожку, уже темно. Дождя нет наконец-то, почитай сутки уже нет, даже дорога просохла. Через ветви в вышине сияет недолуна — и не серп, и не блюдце. Мы останавливаемся с задранными головами: небо дразнит ночными оттенками — вот фиолетовый, а там слива и чернослив. Красиво! Таково наше общее мнение.

«Иван, — говорю я поэту, плененный всем этим тихим мирозданием, — у тебя же есть стихи о луне?» — «Полно!» — отзывается Жданов. «Прочти, а?»

Иван поднимает лицо вверх и читает своим удивительным голосом:

Лунный серп, затонувший в Море Дождей,
задевает углами погибших людей,
безымянных, невозвращенных.
То, что их позабыли, не знают они.
По затерянным селам блуждают огни
и ночами шуршат в телефонах.

Двери настежь, а надо бы их запереть,
да не знают, что некому здесь присмотреть
за покинутой ими вселенной.
И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли, —
только лунная пыль по колено.

Между ними и нами не ревность, а ров,
не порывистой немощи смутный покров,
а снотворная скорость забвенья.
Но душа из безвестности вновь говорит,
ореол превращается в серп и горит,
и шатается плач воскресенья.

Ну что сказать? Гений! Говорю ему с искренним восхищением:
«Иван, не обижайся, но ты правда гений!» Он невозмутимо отвечает:
«А ты думал!»

Идем дальше. Я — под гипнозом прекрасных стихов, он — довольный
результатом ночного чтения в лунное небо. И нам обоим хорошо сей-
час и как-то все же печально. «Не знаешь, что это за яркая звезда рядом
с луной?» — спрашиваю его. «Не знаю. Что я, астроном, что ли? Откуда
мне знать, сам посуди?»

Что бы сказал Платон?

И о футболе. Жил в Греции философ Платон. Давненько жил —
почти две с половиной тысячи лет тому назад. Считал этот умный и му-
дрый, как всякий идеалист, человек, что править в государстве должны
философы. Аристократы не только по происхождению, так сказать, но и
по духу. И главной заботой этих правителей, считал Платон, должно быть
служение высшим — по его разумению — ценностям: Правде и Благу.

Настолько этот человек был убежден в своих идеях, что даже по-
пытался осуществить их на практике: он знакомится с тираном Сиракуз
Дионисием и пытается воспитать в нем философа. Но — оскорбил пра-
вителя рассуждениями о тиранической власти, сказав, что не все то к
лучшему, что на пользу лишь тирану, если тот к тому же не отличается
добродетелью. За это был продан в рабство на Эгину, откуда его выкупил
Анникерид, философ мегарской школы.

Надо сказать, в те времена, потеряв статус гражданина и став рабом, человек мгновенно расставался абсолютно со всеми правами. Платон прошел через это унижение. Однако рабовладению как строю никакой альтернативы не знал. Все его философские рассуждения и идеалистические изыски, вся его духовная жажда Правды, Блага и Справедливости относились исключительно к свободным гражданам и никак не касались рабов.

Любопытно, какое огромное значение придавал Платон воспитанию граждан города-государства. Например, предлагал изгнать из своего идеального государства поэтов, «расслабляющих» боевой дух воинства, и даже — музыкальные лады, лишённые «мужественного звучания».

Пожалуй, Платона можно считать первым в истории человечества идейным, сознательным цензором. Причем системным цензором, запрещающим существовать в своем государстве целым видам искусства!

Но даже Платон, скажи мы ему через тысячелетия, что тратим в сотни раз больше средств и денег на спорт и... футбол, нежели на всю культуру вместе взятую, — впал бы в интеллектуальную кому!

И не исключено, что, очнувшись, прокричал бы на всю Ойкумену: «Муд...ки!»

Звездный лифт

Лет пятнадцать назад это было, я работал на «Первом канале».

Спускался как-то на лифте из верхнего буфета на второй, студийный этаж. В кабинке лифта вместе оказались: Александр Гордон, Владимир Соловьев, Алексей Пиманов (программа «Человек и закон»), Сергей Медведев (вернулся на ЦТ после пресс-секретарства у Ельцина) и Сергей Шумаков (ныне руководит каналом «Культура»).

Соловьев насмешливо осмотрелся по сторонам и говорит: «Вот сейчас лифт оборвется — и телевидение сразу лишится своих лучших людей!» Все, кроме меня, горделиво переглянулись.

Соловьев уже тогда носил что-то напоминающее военный френч, волосы бобриком, энергия переполняла его, и он не мог, наподобие Гордона, спокойно стоять на месте, а все время чуть-чуть смецался в пространстве. Когда же он закончил фразу, то не удержался и коротко боднул воздух кулаками, как это делают восточные единоборцы.

Я подумал: «Это вы звезды, а я-то — нет, так что Господь не попустит... доедем!»

Творческий подход

Отец однажды в застолье сказал, что Элем Климов предлагал ему сыграть Распутина в своем фильме «Агония». Было это (застолье) в семидесятых, к этому времени строптивного моего батюшку с треском проводили сначала из ЦК, потом из «Правды», провалили его защиту докторской и... Но не тот у меня был отец, чтобы падать под ударами! Короче, не все его бывшие друзья отхлынули от него навеки. Среди оставшихся — до самой смерти отца — оказался Элем.

Когда родитель сообщил нам, посмеиваясь, о фантастическом этом предложении кинорежиссера Климова, все, кто был за столом, открыли рты. «И ты что?!» — завопили мы, понимая, что вопрос носит очевидно идиотический характер. Поскольку ясно же, что — увы! — отказался. Однако сам факт предложения меня лично как-то беспокоил, тревожил много лет. И все не было случая напрямую спросить у Элема Германовича, шутил он или не совсем.

Где-то в конце девяностых, когда уже несколько лет прошло с ухода отца, я встретил Элема Климова прогуливающимся по Комсомольскому проспекту. Он все еще был подтянут, красив своей особой мужской красотой.

Мы перебросились парой фраз. И я наконец задал мучивший мое любопытство вопрос. Климов отнесся к нему вполне естественно, хотя я боялся непонимания: «А почему нет? Георгий Иванович тоже из тех мест, сибиряк. И характером Бог не обделил. Темперамент, как мне казалось, у них был схожий. И он большой был, могучий даже. Сходство я видел в них... Только Георгий Иванович не захотел. Да я потом сам понял, что трудностей будет слишком много».

Я двинулся дальше несколько смущенный. Элем в этой роли Распутина открыл не кого-нибудь, а самого Петренко! Убей меня, я даже на самую малость не мог себе представить отца в любой кинороли, не то что сразу в роли Распутина! Вот это и смущало. Да и вообще вся эта история, может, розыгрыш просто?

Но, слушая только что Элема Германовича, я вдруг понял, что он действительно — пусть и на краткое время — относился к своей идее насчет отца серьезно. А самым важным для меня оказалось вот что: я как сын, как человек, всю жизнь проведенный подле отца, выходит, увидел в нем и понял меньше, чем разглядел и почувствовал этот художник. Одно смягчает это обстоятельство — очень большой художник! Огромный.

Тарковский и кот Бася

Вспомнился забавный случай. Что-то похожее на этюд от великого режиссера. Однажды к нам на Песчаную, в родительскую квартиру, приехал Андрей Арсеньевич Тарковский. Один. По его сосредоточенному лицу я решил, что на важный для него разговор. Отец мой был уже в опале, не при чинах, его не печатали, не издавали. Провалили на защите докторской диссертации в Институте мировой литературы, временно он был вообще без работы — так что не за помощью приехал Андрей, а за каким-то советом.

Я всегда радовался, когда видел Андрея. Он очень мне нравился — своей одухотворенной нервностью, живостью мимики, мужской красотой. Я считал, что он похож на русского офицера, дуэлянта! Впервые увидел его лет в шестнадцать. Конечно, даже не подозревал, что передо мной гениальный человек. Он просто сразу понравился. В отличие от других приятелей отца, пожалуй, тогда известных поболее Тарковского, Андрей совершенно не лицемерил, был абсолютно настоящим. Так я его ощущал — как мальчишка, мальчишеским чутьем. И с годами не изменил о нем мнения.

Этот его приезд в наш дом на Песчаной оказался последним. Андрей вскоре покинул Россию. Как оказалось — навсегда. Когда они вышли из кабинета, я был тут как тут и, улучив момент, спросил Тарковского, правда ли, что он собирается снимать «Мастера и Маргариту».

Андрей коротко взглянул на меня и задумался — руки нарисовали вокруг головы китайский иероглиф: правая щека припала к левой ладони, а затылок уткнулся в ладонь правой руки. Вся эта сложная конструкция была какой-то тревожно-зыбкой. «Видите ли, какая штука! — сказал Андрей. — Я представляю, как можно снять все. Но я не знаю, не могу представить, как снять Бегемота!»

Пока он говорил все это, мы шли по квартире и оказались в комнате с ковром на стене. И тут Андрей молниеносно подхватил с пола нашего кота Басю и одним непрерывным движением, как бросают лопатой снег, властно, по-режиссерски непререкаемо — швырнул его на ковер!

Здесь уже удивил кот. Он грациозно, иначе не скажешь, наподобие мотоциклиста в цирке, мелькнул дугой по отвесной стене и, мягко притормозив, с высокомерным шиком равнодушия ступил на пол.

Андрей повторил: «Не знаю, что делать с Бегемотом. Наряжать актера? Плохо!»

Так и остались вопросы. Отец не рассказал, зачем приезжал Андрей Арсеньевич. И фильм по Булгакову Тарковский так и не снял. Интересно, имея в руках нынешние компьютерные технологии, как бы он все же решил проблему Бегемота?..

И еще осталось изумление от поведения кота Баси. Это был свирепый камышовый сиамский голубоглазый гордец, никому не спускавший обид, унижений и просто недостаточной почтительности! Однажды брат Миша отшвырнул его ногой. И тут же горько пожалел о своем поступке. Кот вскочил на лапы, заскрежетал когтями по паркету от нетерпения, как гоночная машина жжет шины на старте, включив максимальную скорость, и — бросился с разбегу обидчику прямо в пах, злое щекая зубами. Михаил успел отмахнуться, но не тут-то было! Кот разогнался опять и прыгнул теперь еще выше, целя в грудь! Миша, вопя от мистического страха, бросился за дверь. Больше Басю не пытался унижить никто, даже в шутку.

Почему же кот так спокойно проглотил режиссерский экспромт от Тарковского? Почему не вспылал?

У зеркала

День рождения Андрея Тарковского — 4 апреля. Всенародным этот праздник станет не скоро, но для меня лично день праздничный, поскольку уже не представить свою жизнь без «Иванова детства», «Андрея Рублева», «Зеркала», «Сталкера», «Жертвоприношения»...

В 1975 году в Доме кино на Васильевской был премьерный показ «Зеркала». В зале собралась вся королевская рать кинематографа. Андрей пригласил отца, маму и меня.

Этот просмотр потряс и опрокинул! Я оказался свидетелем какого-то массового позора киношной элиты. Не спорю, «Зеркало» для восприятия не самый простой фильм Тарковского, особенно в начале просмотра, пока не нащупан ключик к картине. Но как только открываешь *метафору времени* внутри происходящего, все становится совершенно прозрачным. Дальше ты просто наслаждаешься порханием, как птица, в ветвях большого родового дерева — от отца к сыну, от внука к пращурам...

Выходить из зала начали почти сразу, по одному, по два, с громким недовольным бормотанием. Выходили и потом, и даже близко к концу фильма, не дотерпев до финала, с нарочито сердитыми комментариями: «ни черта не понятно», «не фильм, а издевательство», «головоломка», «ерунда какая-то». Представляю, как больно было Андрею все это видеть...

Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать. Я был в ярости от презрения к этим «творцам», к их убожеству и неуважению к чужому творчеству! И в ужасе от того, насколько же низок интеллектуальный уровень этой нашей киношной элиты, не способной понять другой, иной киноязык! Ведь среди выходящих я видел и выдающихся кинематографистов, отнюдь не простаков.

Прошло после премьеры более сорока лет, а помню отчетливо до сих пор свою обиду за Тарковского. Конечно, молодой был, резкий, горячий, не отесанный еще жизненными компромиссами, но теперь-то понимаю, отчего так разъярился: Тарковского обидели свои, а не чиновники. Свои!

Скачущие в небо

Показали не так давно «Бег» по Булгакову. Фильм 1970 года Алова и Наумова. Первый раз видел его давно и не оценил. Да вообще картину у нас как-то недорасчухали.

И вот лично для себя будто открылось — потрясающие сцены солдатского суда в песчаных карьерах! Боевые сцены как документальные кадры: жестко, лаконично, страшно. А актерские шедевры? А Евстигнеев и Ульянов? Чего стоит одна их игра в карты в Париже!

Но все же особенно поразил «не увиденный» раньше финал картины: по белому снегу скачут фигурки всадников. Кадр построен так, что лес, из которого они вырываются на белый, как свет, простор, словно подводит снизу земную черту, а всадники удаляются от нас вверх-вверх, по диагонали кадра, и вдруг ясно понимаешь: они уходят не по снегу, а по белым облакам, и уходят — в небо, как в вечность! Навсегда.

Какая булгаковская история! Ведь и в «Мастере» подобный же символический уход по облакам — в инобытие. Остается лишь восхититься, как режиссерам удалось увидеть эту булгаковскую концовку и проговорить киноязыком — в конце 60-х, в эпоху тотальной идеологической цензуры, извращенной шкурной трусостью чиновников!..

Мне повезло побывать в восемнадцать лет на съемках этого фильма. И не раз. В 1966 году я работал на «Мосфильме» и в свободное время,

снедаемый любопытством и любовью к кино, проникал во все павильоны, где шли съемки. А к Алову и Наумову заходил вовсе свободно, поскольку в те годы Наумов постоянно бывал у нас дома и запомнил мое лицо.

Тогда фильм имел другое название — «Путь в бездну». Завидев меня, Наумов по-свойски кивал на стул сзади и забывал о моем существовании. А я не верил счастью: прямо рядом со мной, в профиль, сидела... сама Наташа Ростова! И своими по-детски пухлыми губами что-то шептала в ухо Алову, отстраняясь от него время от времени и глядя вопрошающе огромными голубыми очами!

Мне казалось в это мгновение, что нет на свете большего чуда, чем эта молодая женщина, которой было всего-то 24 года! Алов, помню, кивнул, Савельева грациозно, как балерина, протанцевала к выходу между проводов и рельсов. Я успел запечатлеть в памяти ее трогательно-женственные, изящно выгнутые ступни в синих туфельках. Подумал с тихим, бескорыстным восторгом: «Бунинские щиколотки!»

В другой раз снимали сцену в белой контрразведке, в ванне жгли бумагу, актер никак не попадал на точку, и недовольство оператора фильма раскалило в павильоне атмосферу. Над эпизодом в семь экранных секунд бились часа полтора! До меня тогда дошло: какой это адский труд — снять целый фильм, коли одна левая сценка растрепала всем нервы!

Девчонка помреж в паузе склонилась над ванной с горелой бумагой, ее юбка задралась раз, и два, и три опасно высоко. Наумов, сидящий прямо передо мной, по-мальчишески толкнул в бок Алова и мотнул головой в ее сторону. Тот увидел неожиданное зрелище, они переглянулись, молодо как-то заулыбались, не пошло, а скорее озорно, симпатично, и отвернулись, как в синхронном плавании, вместе.

Алову в ту пору было 43 года, а Наумову 39 лет, и все лишь только начиналось, в том числе и тернистый путь к финальной сцене фильма «Бег» с гениально скачущими в небо всадниками...

Михалков против Михалкова

Кто-нибудь уже видел «Солнечный удар»? Я вот посмотрел. Шел на ослабевших, резиновых ножках — от страха и нежелания опять разочароваться. Не потому, что обожаю до беспамяත්ства Михалкова, а потому, что согласен очень со многим из того, что слышу от «барина всея Руси». И потому, что он ассоциируется — легко! — с талантливостью и масштабом русского человека, которого я люблю бесконечно и потому желаю ему внутри себя всегда успеха и удачи. Неважно, какая при этом у него фамилия. Совсем неважно. Вот с какими чувствами — на подгибающихся от нехороших предчувствий ногах — брел я на просмотр «Солнечного удара». Надо обмолвиться, что рассказ этот у Бунина — один из самых мною любимых.

Посмотрел... Что ж сказать? Больно, братцы и сестры! Не подвели окаянные предчувствия! Если бы даже сейчас, ничего не меняя в картине, убрать из титров имя Бунина — всем стало бы легче! И Михалкову, и

тем, у кого есть *свой* Бунин, да и самому драгоценнейшему Ивану Алексеевичу тоже стало бы спокойнее. И мне тоже, поскольку я люблю дар Никиты Сергеевича, но дар Бунина — больше! И, к слову, если еще поменять название (как нынче говорят, бренд «солнечного удара» навеки за Буниным), то — ей-же-ей! — получился бы вполне авторский, михалковский фильм на те же темы, без всякого ущерба для имени Бунина и даже сносный для неудачного периода самого «кинобарина».

Но это «если бы». А если «кабы», то, скрепя сердце и памятью о шедеврах Михалкова по Чехову, Гончарову, Володину, все же приходится признать: опять что-то не то у через край одаренного Никиты Сергеевича вышло! «Да почему?»! — может заорать любой, кто любит Михалкова больше, чем кино.

Мучительно размышлял над этим вопросом два дня. И вот каковы первые итоги этих, вполне допускаю, поверхностных и малоубедительных умозаключений. Прежде всего — и, возможно, это самое главное — не покидающее ни на секунду ощущение «сделанности» данного кино. Почти каждый кадр фильма, план, монтаж, построение мизансцены словно кричат тебе: «Посмотри, какой я молодец, какой я мастер, как я умею, как я вижу и чувствую! Раздели со мной эстетическую радость от *меня*, большого художника-виртуоза, восхитись *мною*!»

Беда в том, что из последних работ Михалкова сбежала тайна. Мне сдается, он сам это почувствовал и начал тайну эту заветную, без какой-либо искусства-то и нет, имитировать, выкручивать ее из «мастерства», из тщательно продуманных «импровизаций», надеясь на то, что тайна вдруг вывернется из приема, родится из него сама, как ребенок из пробирки. Вроде и без отца, но ребенок же! Ан нет! Не становится шарфик, незойливо, просто глупо до оторопи носящийся по пароходу, — метафорой. Не хочет помогать автору, даже наоборот — мстит за насилие.

Мстит само бунинское название, ставшее для миллионов паролем внезапной, сводящей с ума страсти между мужчиной и женщиной. Что делает умнейший, между прочим, Никита Сергеевич Михалков, а стало быть, прекрасно осознающий, что он делает? Он подменяет смысл знаменитой бунинской метафоры — *своим*, михалковским смыслом. У него «солнечный удар» накрывает прежде всего всю Россию, со всеми разом мужчинами, женщинами и заодно детьми. А также — через теперь уже сословную и классовую детализацию — любого, кто попал под поезд беспощадной русской Истории. А значит, напрочь убита метафора самого Бунина. Подмена, конечно, бесцеремонная, грубая, даже циничная, потому что седлат чужой шлейф и использует его в *своих* целях.

Стоит ли вспоминать тут чудный рассказ Ивана Бунина, если в фильме Михалкова с одноименным названием от бунинской истории — почти ничего? Начиная прежде всего с героини. Вместо бунинской провинциальной дамы, лишенной всякого кокетства, наигрыша и всяких там шляп, летучих шарфиков и намеков на а-ля блоковскую Незнакомку — победоносная красотка, эдакая столичная штучка, вполне профессионально, неспешно снимающая с себя белье перед остолбеневшим поручиком. Еще

раз скажу: убери Михалков имя Бунина из титров — и все отлично встанет на свои места в качестве самостоятельного фильма Михалкова. Тем более что и от «Окаянных дней» в картине не много. Гораздо больше, видимо, собственных «находок» режиссера. Ведь мальчишка — целиком михалковский «креатив». А с него, выросшего, начинается фильм, им же и заканчивается. Он закольцовывает не только весь событийный ряд картины, но и — что важнее! — смысловую суть, главную идеологию, сокровенный смысл того, что хотел сказать автор (забудем о Бунине). А именно: большевистская Революция, и прежде всего ее идеология, вычеркивающая из души человека Бога, превращает даже таких изначально прекрасных людей, как этот придуманный Михалковым мальчик, — в беспощадных, без души и милосердия чудовищ, способных на любое преступление.

Бунин, как известно, не любил большевиков. Однако Бунин любил Россию все-таки больше, чем ненавидел коммунистов. Михалков пытался остановиться на бунинских вопросах. Как же все случилось? Вот же она, Родина, есть, и вот в одно мгновение ее нет. Как это могло сделаться? Почему?

Вывод Михалкова жестче, чем у Бунина. Он свою идею «безбожия» полностью вешает — как камень Истории — на стальную выю большевизма. Большевистская власть в лице прекрасно показанных Землячки и Белы Куна — главный виновник гибели «прекрасной» России. Даже Бунин не был столь категоричен, как сын автора советского гимна! Бунин искал вину и в народе, и в себе, и в аристократии. В ненавистных большевиках — само собой. Для Михалкова, как я понимаю, Родина и Россия — синонимы. Хотя это не так у Бунина. Бунин Родину с коммунистической Россией не отождествлял.

Увлечшись самостоятельно придуманным персонажем — мальчиком-символом и символом-часами, Михалков умелой и твердой рукой выводит зрителя к душераздирающей сцене расправы над «русским народом» — уходом вместе с потопленной баржей всей милой сердцу «старой» России, нашей заветной Атлантиды, под воды Истории. И палачом тут азартная чертовка Землячка. Но и — бывший очаровательный мальчик, ставший с годами в ряды «социальных дарвинистов» и тоже палач Родины.

И вот какой пейзаж вырисовывается в итоге: нет в картине Михалкова ожидаемого «Солнечного удара» Бунина. Мало и от «Окаянных дней», с их мучительной растерянностью и полифонией, с их алмазным резцом бунинского слога, слова, скупой, но потрясающей изобразительностью.

Есть оригинальный фильм Михалкова, в котором попадают свои шедевры. Например, спуск Землячки по лесенке — вприпрыжку, весело, легко, беззаботно — так, будто это гимназисточка спешит на свидание. На самом же деле это спускается палач к своим жертвам. Там, внизу — приговоренные ею к смерти, несколько тысяч мужчин, как говорится, цвет русского народа, его генофонд. И их участь уже решена Розалией Самуиловной Залкинд (Землячкой, ранее носившей гораздо более точ-

ную партийную кличку — Демон), испытывающей сейчас сложное торжество и почти физическое наслаждение от своего могущества, власти и реванша над столькими сразу отборными, породистыми мужиками, которым — по ее воле — никогда уже не стать отцами будущих детей России! Михалков снимает эту сцену превосходно! Ему прощает молодость Розалии Землячки, которой на самом деле должно быть за сорок, а не за двадцать, как в фильме, — за сходство. И внешнее и внутреннее сходство с историческим оригиналом.

Между прочим, эта жестокая психопатка и фурия Революции, Демон большевистского террора в Крыму, пролившая море крови, в том числе и собственноручно, дожила до семидесяти лет и упокоилась в Кремлевской стене. Ее именем до сих пор названы улицы во многих городах России. Есть в Москве улица Удальцова, в честь соратника по крымским казням. Она, Землячка, и этот И. Д. Удальцов, существует версия, «подарили» России еще одного революционера, уже ставшего сегодня заметным — своего правнука Сергея Удальцова, того самого вождя из нынешних оппозиционных, который, похоже, не прочь продолжить «семейные традиции», отложенные, как ядовитые яйца, в поры времени его кровожадной прабабкой!

Спасибо Михалкову, что напомнил обо всем этом. Вовремя.

Но еще был роскошный белый офицер с собакой, была дама на пароходе, у которой муж-иностранец. Блестящая актерская и режиссерская работа. Наконец, и поручик хорош! И фокусник (А. Леонтьев). Одно, повторяюсь, нехорошо — то, что мало Бунина и много Михалкова.

Да, я вернулся из кинотеатра на таких же заплетающихся ногах, на каких туда и пришел. Мне больно, отчасти грустно. Однако в Михалкова я все равно верю. Он вырулит «на себя». Рано или поздно, рано или поздно. Но вырулит. Если откажется от, похоже, не свойственных его дару циклопических форм и эпопей. Если опять попробует снять... мало-бюджетное кино. Ну, например, такое как «Пять вечеров». Он же явно актерский режиссер. Он мастер психологического портрета, выдумщик ярких деталей и ас импровизаций.

Для этого, мне кажется, ему надо просто забыть, что он навеки Мастер, или там гуру, или мессия. А вспомнить о том, что он просто... художник.

Листья

Как-то подсел в машину к молодой женщине, а у нее все переднее стекло занесено листопадом, как тропинка на даче. «Не мешают? Может, смахнуть?» — «Не-а... Красиво!» И подбородком подвела двойную черту.

Поехали. Ветер поднимает листья как стайки птиц, они упархивают в разные стороны, весело кувыркаются через крышу машины. Мы переглянулись, как заговорщики. Правда — красиво...

Михаил БАЗИЛЕВСКИЙ

**«И ЭТОТ СЛУХ,
НАСТРОЕННЫЙ НА ШЕПОТ...»**

* * *

А наутро с востока придвинется свет.
— Это он, — прошепчу, — это он —
Нестареющей палочки замерший след,
Над которым молчал Вавилон.

Клинописной волной забормочет река,
Забубнит и пойдет по рукам.
И, зрачок задевая, скользнут облака
По несметным, несмятым пескам.

И в ладонь, зачерпнувшую поздний восход,
Помутившую ранний закат —
Из камней, из простого смешения вод, —
Ляжет птичий безбрежный уклад

Сорока сороков молодых языков.
И качнется на пыльном столе
Осторожное эхо бессмертных веков,
Обращенное к смертной земле.

* * *

С. Б.

Вот и я на твоей сетчатке
Задержусь и исчезну, как
Ускользящие лопатки
Махаона, как быстрый знак
На воде, на избытой глади
Улетающего листа,
Задержусь и исчезну, глядя
В ту сторонку, на те места,
Где, ладони твои сжимая,
Согревался от их тепла,
Где я жив был и ты — живая —
Под ресницы мои легла.

* * *

Не озарился пригород, когда
Над ним лучи расправила звезда
И воссияла недоступным светом.
И к свету не шагнули пастухи,
И камни — молчаливы и глухи —
Не двинулись. Но стоит ли об этом?

Не пробудились жители. Их сон
Ничто не потревожило: ни стон,
Ни гул, ни плач, ни вой, ни голос хора.
И время, сохранившее свой бег,
Для отыскавших временный ночлег
Не обрело окраску приговора.

И в двери слуги грозного царя
Не постучали. Проще говоря,
Все обошлось. Лишь кто-то по приметам,
По затесям рассеянным искал
Глоток воды, как некогда — у скал —
Его народ. Но стоит ли об этом?



* * *

Говор племен, наступавших на горло рассвету...
Возглас гортанный, берущий у века взаймы...
Это не нас времена призывают к ответу,
Это не мы уклоняемся. Это — не мы.

Что нам развалины Рима в развалинах мира?
Камни его на ладонях не больше, чем пыль
На антресолях, на смятом лице пассажира,
Взгляд обронившего в эту всесветную быль.

Кто он? Какие ему уготованы сноски
В дрожи построчной, которой вовек не унять?
Как над такими вот в поле рыдают березки,
Нам ли не знать?

* * *

Александр Танкову

Когда не осталось ни чести, ни славы,
Ни отчего неба, ни отчих могил,
Когда мы, в снега уходя от расправы,
Лишались и веры, и воли, и сил,
И нечему было наш путь освещать,
Ты думаешь, мы разучились прощать?
Мы шли, и за нами из ветхого быта,
Из лавок, цирюлен — остры и слащавы —
Сквозь мутные стекла следили глаза:
Мы знали, какая в них крылась гроза.
Колеса скрипели, стонали копыта,
Незряче блуждали во мгле голоса.
И кости сожженной усадьбы чернели,
И спорил со снегом чернеющий рот.
И ночь провожала чернеющий сброд:
Пальто и шинели, пальто и шинели.
И кто-то незримо торчал у ворот,
Черневших не шире зрачка ледяного.
И мы не искали последнего слова,
Когда настигал нас последний восход.

Мы шли, и вослед нам сугробы молчали.
И ветер, как будто губу закусив,
Стихал. И старуха в бесчувственной шали
Сидела, и слышался старьёй мотив.
Но некому было его завещать...
Ты думаешь, мы разучились прощать?

Когда уходили мы, нас провожали
Ослепшие дали и веки смежали
Идущим за нами. И не было снов.
И мир пошатнувшийся вынес из ночи
Мерцанье звезды, и она, кровотока,
По гулким следам узнавала волхвов.

С тем гулом грядущее слилось: «...когда
В морозной ночи засияла звезда».

* * *

И этот слух, настроенный на шепот,
На краткое дыханье мотылька,
И это зренье, втянутое в опыт
Столетий, не исчерпанных пока,
И ожиданье чуда, и смешенье
Наметившихся строк, и белизна
Листа, не потерявшего терпенья.
Чего еще? Отпущено сполна.
Чего еще? И сад остался садом,
И лед пошел, и света — полон дом.
И муза... муза, плачущая рядом,
О чем-то знает... вспомнить бы — о чем.



Марина НЕКРАСОВА

УЛИЦА ЖЕЛТЫХ ФОНАРЕЙ

Р а с с к а з

Молиться она не умела, но на ночь, лежа в постели, думала: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». Подумав так, она вспоминала. Иногда восстанавливала прошедшее, двигаясь от последней минуты к первой, которую помнила; иногда прокручивала прожитый день с самого начала. Где-то она вычитала: ежевечернее припоминание цепочки событий прошлого тренирует мозг, укрепляет волю, учит терпению. «Спасибо, Господи, за этот чудесный день. Последнее что я слышала? Сломать? Сломать. Нет, сегодня мне лучше пойти с начала», — решила она, легла на спину, нацелила взгляд в неясно белеющий потолок.

Утром он долго спал. Она сидела на балконе, радуясь теплу раннего утра, синему небу и белым далеким облачкам, чашке горячего чая в руке и — чего уж там — радуясь тому, что он еще спит. В небе галдели стрижи, сновали из стороны в сторону, свивались кольцами, собирались в кучу страшной черной массой, а потом бросались врассыпную, словно дети, играющие в пятнашки. Если бы не стрижи, смотреть с балкона было бы не на что: облезлые коробки домов, куцые деревья, пыльный асфальт, серые крыши киосков. Она долго следила за птицами и забыла про чай. «Бездельница, — с улыбкой подумала о себе. — Бездельница и лентяйка. Видела б тебя бабушка».

Сейчас, в темноте, глядя в еле видимый потолок, она опять улыбнулась утреннему воспоминанию о старухе, ее голосе и лице и о том, как, вздернув худой острый нос, та, бывало, ворчала: «Руки девицы просят работы. Нечем занять — вышивай, крупу выбирай». Старуха была права: когда руки заняты, в голове меньше ненужных мыслей, например — пойти погулять или — познакомиться с тем светловолосым парнем. Она подумала: «Рано ты меня без догляда оставила, бабуля. Хотя, может, и к лучшему. Все к лучшему. Он все равно бы бросил меня — после. Лучше уж так, потому что, если бы он бросил меня после — ни за что не про-

стила бы, пошла бы кроваво мстить, убила бы, посадили бы, а маленького тогда — в приют. Вот так все и случилось бы, если б позже. А так — и винить-то некого, а кого винить хочется — того забыли, как звать». Она не знала, как болит сердце, но, когда думала о приюте, слева внутри себя ощущала воинственный кулачок, который крепко сжимался против ее воли, будто угрожая, запрещая об этом думать.

Он долго спал, и утро получилось чудесным. Она успела подтереть полы, вымыть и высушить голову, снять с сушилки и переглядеть вчерашнее белье, загрузить в машинку новое. Пока гладила, вползлука слушала телевизор: что-то о похудении, диетах для похудения, лепки фигуры к началу пляжного лета. Телевизор выключила вместе с утюгом: «Хоть бы раз рассказали, как поправиться». Она старалась кормить его хорошо, но он неохотно пробовал новое, рос быстро, только плохо набирал в весе. И хотя она боялась, что когда-нибудь он все же поправится и она не сможет носить его на руках, старалась кормить его правильно. С утра на плитке для него томилась овсянка из цельных зерен. Она успела сделать себе бутерброд — кусок батона с маслом и сыром, развести кофе с молоком, расположиться за столом с бутербродом, кофе и свежим номером журнала. Откусила край бутерброда, глотнула кофе, раскрыла журнал — а он проснулся.

Она пошла к нему с улыбкой, однако настроение испортилось, потому что он плакал. «Толком не успел проснуться — почему плачет? Интересно, когда он плачет, ему так же плохо, как мне, когда плачет он? Когда плачу я — ему, кажется, все равно, он не понимает этого». Она думала так и все-таки старалась не плакать при нем. Вообще старалась не плакать, разве что иногда, совсем редко, в подушку. Тоже бабушкина школа: «Думочка в себя заберет, в себя водицу впитает». Порой, вспомнив старухины поучения, вздыхала о том, что думы ей скрывать не от кого — и думы, и слезы. Но такой мысли она стыдилась, а если случайно думала так — одергивала и ругала себя, как бабка в детстве — по рукам била. Мирилась с тем, что ему непонятны чужие чувства, хотя, по-честному, не до конца в это верила, сколько ни говорили. А порой ей казалось, что он притворяется — что понимает все, только скрывает это.

По улице проехал грузовик. Она стряхнула прядку волос со лба: «Опять занесло. Какие же непослушные эти мысли». Вернулась к событиям утра. Он плакал, она, услышав, расстроилась, но попыталась сохранить беспечное летнее настроение: пошла к нему с улыбкой, что-то сказала, поцеловала, погладила шелковую головку. Он плакал. Похлопала ладоши — плакал. Пришлось взять на руки. «Какой он тяжелый — очень тяжелый. Тот, кто плачет, должен быть легким и маленьким», — это сейчас она думала, лежа в постели, а утром, только взяла его на руки, почувствовала тяжесть теплого вялого тельца, обняла покрепче и стала ходить с ним по комнате — от окна к стене, от стены к окну — пока не успокоился. «Значит, у него ничего не болело. А плакал он по другой причине. Какие могут быть у него причины для слез?»



Она поставила его на подоконник, грудью прижавшись сзади к тоненьким белым ножкам: «Смотри, там стрижи. Стрижи!» Он повторил: «Стрижи», а на птиц не посмотрел даже. Вздохнула, усадила его в высокий детский стульчик — он взвизгнул: стульчик давно стал мал и при усаживании давил коленку. Плакать он перестал, засмотрелся в окошко. Она покормила его, не рискуя дать в руку ложку, чтобы настроение его снова не испортилось. Затем убрала пустую тарелку, заметила, что он занялся пальцами — стал рассматривать их, прикладывая один к другому, опустив подбородок, желобком оттопырив нижнюю губку. Подумала, что, может быть, пока он играет пальцами, она успеет дочитать журнал, и торопливо стала его пролистывать: «Как справиться с перхотью. Как победить молочницу. Как правильно загорать летом...»

Она дошла почти до обложки, когда он сильно стукнул по столешнице ладошкой и снова заплакал. «Нас это не касается!» — она захлопнула журнал. Посмотрела на него: он выглядел несчастным. «Нет, нас это касается. Нас все касается! Мы тоже можем загорать летом. У нас тоже может появиться перхоть, да?» — говорила она, обращаясь к нему. Чтобы отвлечь его, скрутила журнал трубкой и стала выть в нее, изображая автомобильную сирену: «Ы-ы-а-а, ы-ы-а-а...» Потом бросила журнал ему на маленький столик. Он замолчал, взял в руки журнал, стал рвать странички, она отвернулась — «читать там все равно нечего» — и решила, пока он занят, вымыть посуду. Покончила с этим быстро, а вытирая полотенцем руки, почувствовала на себе взгляд.

Повесив полотенце, она медленно повернулась. Он снова смотрел на нее тем взглядом. Иногда она замечала этот взгляд, и он пугал ее, потому что был слишком серьезен и разумен, и каждый раз она думала, что он притворяется, что на самом деле понимает гораздо больше, чем она привыкла считать. Он понимает все, но зачем-то скрывает это. Зачем?

Она подошла к нему:

— Ты ведь все понимаешь, правда? Скажи мне, что ты понимаешь все.

Он отвернулся к двери и молчал, глядя в проем между белыми косяками. Пора было выбираться на прогулку, однако сегодня ей не хотелось. «Он так долго спал, скоро обедать, потом отдохнем и сходим в парк ближе к вечеру». Совесть грызла недолго. «Вера Зиновьевна сказала заниматься каждое утро», — придумала она оправдание. Унесла его в комнату, посадила на ковер, дала «приборчик». Когда-то, вдохновленная надеждами, она сделала большой и красивый приборчик: ярко разрисованное папье-маше с углублениями для чайной ложки, погремушки, резинового утенка, шарика для пинг-понга и чупа-чупса. Суть занятия с приборчиком — разложить предметы в нужные углубления. Сделать этого он не мог, сколько она ни билась, — не то чтобы путался в соответствиях, а, судя по движениям, которые делал, совсем не понимал задачи. Углубления, в которое, как ей казалось, так и просился шарик, он не замечал, да и других тоже, иногда только засовывал в раскрашенные «ямки» указательный пальчик.



Тот первый приборчик он со временем поломал, стучая хрупким папье-маше по полу. Она обрезала, подклеила, что было можно. «Так даже лучше, Бог любит троицу»: приборчик стал маленьким, в три углубления — под ложку, шарик и утенка. Но прогресса в занятиях не было, он кидал утенка, кидал шарик, кидал ложку, стучал по полу приборчиком, а порой надолго замирал, сидя с утенком или ложкой в руке, будто забыв о них, и смотрел в сторону. Когда он доломал отреставрированный приборчик, она решила оставить занятия, впрочем, месяца через два, сдавшись уколам совести, снова села мастерить папье-маше. На этот раз сделала его совсем простым: два углубления — для ложки и теннисного шарика. Но он невзлюбил новый приборчик: не замечал его, если она раскладывала предметы на полу, ронял, если всовывала приборчик ему в руку.

Он захныкал во сне, и она затаила дыхание, прислушиваясь, не проснется ли. Он простонал что-то невнятное, пошевелился в постели и стих, а она стала думать дальше. «А ну его к лешему — приборчик. Чем мы обедали? Доели вчерашний суп. Мы все доели, и я мыла посуду. Как хорошо, наверное, сейчас на улице — не жарко и светят фонари. А днем была духота и ели мы без аппетита. Я научилась работать двумя ложками сразу, чтобы моя порция не остывала, пока я кормлю его. Да, точно. Кому скажи — не поверят. Но я никому не скажу. Так вот. Поели. Я мыла посуду, а он клевал носом над столиком. Видимо, был сонным из-за жары. Хотя жара у нас долго не задерживается. В прошлом году и двух недель не стояла. А я опять отвлеклась».

Помыв посуду, она вытерла руки, вынула его из детского стульчика — не пискнул! — и понесла к своей кровати. Положила ближе к стене и сама легла рядом, потом встала, открыла балконную дверь, задернула шторы и снова легла. В комнату солнце не попадало, и в ней было прохладнее, чем на кухне. Он взял ее за руку и больно сдвинул мизинец. Она аккуратно вытянула палец из цепкого кулачка, однако он поймал его и сдвинул опять.

— Больно! — Она выдернула палец.

— Больно, — повторил он и улыбнулся, прижавшись щечкой к ее плечу.

Щека была мягкой и теплой. Она отвернулась, чтобы не видеть его улыбки, прислушалась: «Сейчас заплачет». Но он не заплакал. Заглянула украдкой через плечо: он играл пальцами. Почему-то вспомнила, как вчера на его глазах прихлопнула мухобойкой влетевшую в кухню муху. «Что, мама?» — спросил он. «Я убила муху», — ответила она. Он присел на корточки посмотреть, а она поспешно схватила со стола салфетку, взяла муху, скомкала ее вместе с салфеткой, бросила в мусорное ведро. «Убила муху», — повторил. «Да — надо убить муху», — сказала она, взяла его за руку и вывела из кухни.

Ей стало душно, она откинула одеяло и потянулась на кровати. Хотелось спать, и она решила вспоминать быстрее. «Так, значит, утрен-



нюю прогулку мы пропустили. Да и ладно. Утром — только во двор. Слишком тяжело спускать и поднимать на пятый этаж его вместе с коляской. А во двор — и без коляски можно». Правда, по лестничным пролетам она его все-таки носила на руках. Он и сам мог бы подниматься и спускаться, но не хотел. Иногда ей хватало терпения подождать, пока он одолеет три-четыре ступени. Даже считала громко: «Раз, два, три, четыре. Молодец!» Однако чаще, сделав шаг, он останавливался, будто забывая о том, что от него требуется. Часто ей казалось, что он просто вредничает, как вредничают любые другие дети, а потом вспоминала, что он не похож на любых других, и брала его на руки.

Они пошли гулять под вечер, когда стало прохладней и небо затянуло тучами. Вечером всегда ходили в парк: раз уж мучиться со спуском и подъемом в подъезде, так не ради двадцати минут во дворе. Коляска у них была хорошая, легкая, только вот лестницы узковатые, и спускаться с коляской и ребенком на руках было еще труднее, чем подниматься, потому что подниматься она могла боком, а спускаться боком боялась: вдруг оступится и уронит его? Из-за этих прогулок она любила зиму больше, чем лето. Санки легче таскать в подъезде. Зимой рано темнеет и можно катить его на санках вдоль улицы в сфере желтых фонарей на высоких столбах. Вспомнила, как приятно бывало катить его, закутанного в шубку, сидящего на санках с алюминиевой спинкой: ножки в серых валенках воинственно торчат вперед, из-под шарфа смотрят синие глазищи. Когда зимой возила его по улице, никто не обращал на них внимания, потому что на санках катают разных детей. На санках катают даже совсем взрослых ребят. Детские санки не то что детские коляски, коляски — только для маленьких.

Она открыла глаза: сон прошел. «Самое главное! Что там сначала было? Да ничего особенного». Они подкатились к песочнице, где были все свои, она поздоровалась с мамочками, вынула его из коляски, подтолкнула к сиреневому бордюру. Дети играли в тени высокой сосны, вокруг на широком газоне зеленела трава. Маленький Артемка, возивший по песку грузовичок, глянул недружелюбно и отвернулся. «Кажется, я заговорила со Светкой? Да. О чем? Не помню, странно. Да о чем можно говорить с этой Светкой? Стерва. В тот раз умудрилась высказаться: “А хорошо тебе в каком-то смысле. Нам вот велосипедик пора купить, то игрушку новую, то игру, теперь к школе готовиться — альбомы, фломастеры, а твоему не надо ничего”. Змея подколодная. Да нет, какая она змея, обыкновенная дура. Светка тогда спохватилась: “Ой, миленькая, прости”. Простила, чего уж там. А зачем вспоминаю? Так... Где я остановилась? Остановилась я на песочнице».

Пятилетняя Сонечка подняла покорно повисшего в ее руках смешного дымчатого котенка с белым пятном над носом.

- Какая лапочка! — загнула Светкина Анжелика.
- Какой хорошенький! — в тон Анжелике заняла другая девочка.
- А он дрессированный? — спросил шестилетний Артемка.



— Он еще очень ма-аленький, — подражая своей маме, объяснила Сонечка и нежно прижала котенка к подбородку.

Дети облепили Сонечку, каждый хотел дотронуться до перепуганного детеныша.

— Его надо убить! — вдруг громко пискнул ее большой мальчик.

— Ты что-о-о? — завопила Сонечка и мгновенно заплакала.

— Дурак, — крикнул Артемка.

— Его надо убить! — пискнул ее мальчик еще громче.

— Ты что?

— Какой ужас!

— Ты нехороший!

— Маленький котенок, разве тебе не жалко?

Мамы говорили показательно, дети — искренне, а она злобно дернула его за руку, невольно оттягивая подальше от котенка и других детей, увлекая к себе. Сонечка все громче плакала, дети теперь утешали ее, мамашки о чем-то оживленно говорили между собой, Артемка их внимательно слушал, а на сосне закаркала ворона.

Она заставила себя успокоиться, присела на корточки, развернула его бледным личиком к себе, взяла за обе ладошки:

— Почему?

Он молчал — испугался криков. Не выпуская из рук, она пощекотала пальцами его ладошки. Он нехотя улыбнулся. Она тоже улыбнулась ему, заглянула в личико, лоя взгляд, спросила тихо и ласково:

— Почему?

«Молчит. Может, уже забыл?»

Но он не забыл — ответил тихо, будто даже обиженно:

— Его надо убить... Как муху...

Она еще пару секунд улыбалась ему, потом смотрела на него без улыбки, просто так, внимательно, потом прижала к себе — шелковая головка легла на плечо, — погладила гладкие волосы:

— Как муху. Как муху, я поняла. Как муху... Как муху? Ты сказал — как муху?

Она вскочила, ринулась в сторону, потянув его за собой. Усадила в коляску, сцепила защелку ремня, покатила из парка, забыв попрощаться с мамочками. Рука тряслась — она с трудом нашла в списке номер: «Где же? Вот! Вера Зиновьевна».

— Вера Зиновьевна, здравствуйте! Да, это я. Спасибо. Нет, хорошо. Все хорошо у нас. Вера Зиновьевна, он сказал — «как!»! «Как муху». Сопоставил, вы меня понимаете?! Да. Ну, неважно что. Он сравнил, соединил, у него получилось! Невероятно, но он сопоставил вчерашнее и сегодняшнее, понимаете? Это ведь на порядок сложнее, я читала. Да, спасибо. Я тоже. Да, нужно устроить праздник. Хорошо. Мы к вам придем. Мы придем обязательно, да, на следующей неделе. Да, поняла вас: тренировать насколько возможно чаще. Да-да, я справлюсь, это легко. Дерево высокое, как дом. Печенье вкусное, как конфета. Да-да, я



понимаю! Два яблока — как два стакана. Да, это труднее, хотя, я думаю, это он тоже поймет. Конечно, не следует торопиться. Да, придем, и вы хорошенько нам все объясните. Спасибо. До свидания.

Она убрала телефон в сумочку и шла теперь бодрым шагом, энергично толкая коляску, а та подпрыгивала на трещинах старого тротуара. «Два яблока — как два стакана. Три яблока — как три стакана. Или как три ложки. Ты можешь держать ложку, как я. Ты — как я. Ты — как они. Когда ты бросаешь песок им в глаза — им больно, как и тебе будет больно, если я брошу песок в глаза тебе. Если я стукну тебя — тебе будет больно, как мне — если ты меня стукнешь. Я плачу, потому что мне больно, когда ты сильно сжимаешь мой палец. Я плачу, как ты, ведь больно мне, как тебе. Ты — как я. Ты — как они. Ты можешь ходить, как они. Ты можешь бегать, как они. Ты можешь говорить так, как они говорят. Если они спросят — ты ответишь. Если ты спросишь — они ответят тебе». Она придумывала новые и новые будущие его открытия, придумывала весело, легко, стараясь запоминать самые ловкие сравнения, придумывала всю дорогу, до подъезда дома, пока не въехала колесами коляски в бетонную ступеньку крыльца.

Дома сварила картофельное пюре — его любимое, с кусочками сливочного масла и каплями протертого куриного мяса, потом кормила и возбужденно сообщала ему разную нелепицу: «Убить котенка — как убить муху»; «погладить котенка — как погладить тебя»; «ты живой — как котенок и муха»; «пюре вкусное — как каша и суп». Дала ему компота, вынула из стула, усадила на горшок, а затем на ковер, но почувствовала, что слишком возбуждена, чтобы играть с ним. Он рассматривал свои пальцы, а она смотрела в окно и старалась успокоиться. Он понимает цвета, понимает команды: «сядь», «вставай», «ложись», «дай», «на». «Как собака», — подумала она, и слева внутри крепко стиснулся кулачок, запрещая продолжить. Он знает много слов: «дом», «дорога», «коляска», «улица», «яблоко», «каша»... Знает очень, очень много разных слов.

Когда-то она записывала все, что он знает, в тонкую тетрадку. Тетрадка кончилась, другой она заводить не стала, потому что поняла: то, что он много знает, ничего не меняет. Он не может понять «больше» и «меньше», «выше» или «ниже». Не может понять «два», «три», «пять». А она не может понять, как это — не понимать, что два яблока — это «два». Когда впервые узнала о том, что, вероятнее всего, он так и не сможет соотносить предметы, чувства, величины, — решила, что это не так уж страшно. Он просто не будет математиком, инженером, доктором, строителем и кем-то еще другим, чья работа требует такого умения. Она не знала тогда, что умение соотносить вещи и величины нужно не только в работе математика, инженера, строителя — оно нужно не только для работы, не столько для работы, и вообще, работа тут ни при чем.

Почти каждый день он осваивал новые слова. Одно из последних завоеваний — «хочу». Говорил «хочу», подставляя к нему разные другие слова, иногда выходило удачно, иногда не очень. «Хочу яблоко», «хочу

мяч», «хочу спать», «хочу дай». «Хочу, чтобы ты дала мне попить» — это пока слишком сложно. Это вообще слишком сложно. Нужно ли громоздить такие длинные паровозы из слов, если можно сказать просто: «Хочу пить»? С этим мы справимся, а вот с другим? Скажет ли он когда-нибудь «хочешь»? «Ты хочешь попить, мама?»

Сейчас, в темной комнате, внутри у нее снова сжался кулачок и она отвлекла себя, вернувшись к припоминанию сегодняшнего. «Почему он сопоставил именно это? Потому что это его удивило? Почему его удивила убитая муха? Это было не похоже на все другое? Может быть. Неважно, главное — если муха его удивила, значит, он способен удивляться, значит, я могу этим воспользоваться, нужно лишь чаще удивлять его. Как? Говорить неправдоподобное, преувеличенное? “Ты вырастешь большой, как дом”? Слишком сложно, “большой” — ему непонятно. Тогда просто: “Ты вырастешь, как дом”». Она засмеялась.

Она думала об этом вечером, когда, выкупав его в большой ванне и закутав в мягкое синее полотенце, носила от стены к окну, от окна к стене, дожидаясь, когда он захочет спать и начнет тереть глазки. В ванной зеркало запотело, и, когда она вынимала его из воды, он пальцем начертил на зеркале полоску и она подумала, что нужно купить краски и кисточки и, может быть, ему понравится рисовать, а может, он окажется талантливым и станет знаменитым художником, когда вырастет. Пыталась представить его взрослым, но не могла.

Он потерял глазки. Он был очень хорошенький, когда, поддаваясь сну, тер кулачками глазки. Однажды они задержались на прогулке, она неслала его засыпающего домой, и соседка по подъезду сказала: «Какой красавчик! Вырастет — от девчонок не будет отбою». И в парикмахерской говорили, что он красивый, что волосы такие редко у кого встретишь — густые, гладкие, блестящие — чистый шелк. И что глазки умненькие, говорили. И что послушный. «Да, послушный красавчик», — она погладила его мокрые волосы, поставила его на подоконник, одела в пижаму. Но он стал вредничать, и она опять носила от окна к стене, от стены к окну, делая остановки на подоконнике.

Со стороны парка, с востока, дул сильный ветер. Тучи плотно облепили небо, и под ними, будто на прозрачных качелях, на ветру раскачивались стрижи. Старательно работая крыльями, они продвигались на несколько метров к востоку, а потом замирали, сдаваясь, и ветер отбрасывал их назад. Туда-сюда, туда-сюда — качались под тучами десятки черных птишек. Смотрела на них, когда подходила к окну, и думала, что птицы счастливы, что им по нраву вдруг подаренная ветром бестолковая игрушка, им привычно это «туда-сюда», они прилетают каждый май и улетают каждый август и вся их жизнь напоминает маятник. А люди не похожи на птиц, люди не могут топтаться на месте, не могут снова и снова возвращаться к тому, с чего начали.

Стемнело. Она устала его носить, однако терпела, зная, что вот-вот начнет тереть глазки. И тогда она поцелует его в гладкий белый лобик и



уложит в постель. Решила: «Дождемся только фонарей». Летом фонари включали в половине одиннадцатого, зимой — раньше, и она всегда ловила этот момент. Фонари вспыхивали сначала холодным — розово-голубым, а через пару мгновений теплели — наполнялись мягким желтым, вокруг каждого появлялся сияющий ореол, в котором летом мелькали дождевики или трепетали мотыльки, а зимой сверкала изморозь или летели снежинки, но чаще мельтешила пыль, что поднимали машины с дороги.

Странной была эта улица — безликой и почти бесцветной: стены типовых пятиэтажек с облупленной штукатуркой, выцветший до бледно-серого асфальт, весь в буграх, ямках и трещинах, грубо обрезанные тополя, пыльные газоны, на которых зимой не залеживался долго снег, а летом ни в какую не приживалась трава. С их верхнего этажа видны были безобразные крыши киосков почты, мороженого и бытовой химии. Прохожих мало, машины проезжали быстро, иногда тормозили у одного из ларьков или сворачивали во дворик. Когда же зажигались фонари, улица преображалась. Из вытянутых в форме капель чашек вниз лились потоки неяркого золотисто-желтого. Асфальт казался более темным и будто бы новым, свежим, газоны — влажными, обрезанные тополя становились диковинными деревьями, они отбрасывали на тротуары страшноватые тени, алюминий на крышах киосков мерцал, а стены стандартных домов в волшебном свете желтых фонарей вдруг превращались в древние и значительные.

— О чем ты думаешь? — тихо спросила она, зная, что он не ответит.

О чем он думает? Думает ли он о чем-нибудь? Она смотрела на нежное личико — мечтательное, с оттопыренной желобком нижней губкой — и убеждала себя и его: «Это кончится, это пройдет. Ты понимаешь “как”, значит, ты можешь понять многое: трава — зеленая, как листья, твои глаза — синие, как небо, ты — хороший и умный, как другие дети». Чувствовала, что ноги на полу мерзнут — не от холода, ведь пол застелен толстым линолеумом, а оттого, что в голову лезет вопрос: «А вдруг не пройдет, не кончится?» Но на улице как раз зажглись фонари. И она улыбнулась: «Пройдет, конечно пройдет». А он вдруг сказал:

— Хочу туда.

Она встала на цыпочки, заглянула в его серьезное личико. Он смотрел на похорошевшую улицу.

— Зачем? — спросила она.

— Идти.

— Куда?

— Туда.

— Зачем?

— Сломать те желтые фонари.

Она стояла, обнимая его и глядя на струящийся золотисто-желтый. Он потер кулачками глазки. Ее босым ногам снова стало холодно, она пошевелила пальцами, чтобы ноги не мерзли, взяла его на руки и понесла к кровати. Уложила, поцеловала в лобик, вернулась к окошку. Долго

смотрела на улицу с древними стенами домов и таинственными тенями от диковинных деревьев, потом закрыла шторы и пошла спать. «Сломаю желтые фонари», — звучал где-то вокруг нее тоненький голос. «Сломаю желтые фонари». Выключила ночник и влезла под одеяло. «Сломаю желтые фонари». Отвернулась к стенке: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». — «Сломаю желтые фонари». — «Нет, сегодня начну вспоминать с начала». Она вспомнила прожитый день, а когда добралась до вечера, до темной улицы за окном, желтых фонарей, сон почти одолел ее.

Сон окутывал плоскими и вывернутыми бесконечностями, поворотами, ямами, коридорами, случайными словами, предметами, среди которых были и шарик для пинг-понга, и резиновый утенок, и мухобойка, и ложка, и котенок, и ворона на сосне, и маятник, и коляска, и санки, и бабкина крупа, и думочка. «Сломаю» — новое слово. Как муху? Как приборчик? Новое слово — это хорошо. Однако с этим я не усну. Новое слово — плюс, но я не могу заснуть из-за этого нового слова». Она ворочалась. Легла так, что свет от уличных фонарей прицелился ей в глаза, и сощурилась. Она крепко сомкнула веки, правда, желтая полоска осталась, и она думала теперь об этой желтой полоске. Мысли спутывались, хотя она успевала еще выхватывать их, выравнивать, укладывать одну на другую в стопку, как выглаженные простыни. «Мне надо знать, как эти штуки устроены», — подумала она вдруг и сразу же успокоилась. Перевернулась набок и улыбнулась, освобожденная, будто вынула из глаза мошку. Сон потянул, поволок, понес, как течение быстрой речки, но она успела повторить то, о чем нельзя позабыть завтра: «Ты вырастешь большой, как дом... Ты будешь идти по улице, ломая желтые фонари, а я буду чинить фонари, которые ты ломаешь».



Виталий МАКСИМЕНКО

ПОЙМАТЬ ВЕТЕР

Р а с с к а з

Он был нелеп. До смешного жалок, трогательно уродлив. Птенец. Чей? Я даже не сразу понял. Голенастые ноги неуверенно несли тщедушное тельце. Глупая голова с жиденьким пушком на макушке двигалась вперед-назад в такт шагам.

Он, наверное, с крыши упал, сказала ты и принялась ловить пегое недоразумение. Птенец не хотел даваться в руки. Ты сосредоточенно вышагивала, повторяя его лишь на первый взгляд бессмысленные перемещения. Мимо проходили люди, в лужах раскачивалось белесое небо. Мне надоело наше топтание на одном месте, я быстро наклонился и прижал теплую плоть к брусчатке. Поднял. Недоразвитые коготки елозили по коже, бесперые крылья тщетно пытались высвободиться.

Дай, сказала ты, и я протянул тебе слабо трепыхающееся существо. Ты взяла его и прижала к животу.

Голуби почти все больны всякой заразой, сообщил я. Орнитоз и другие болезни. Ты поудобнее разместила птенца в складке кофты и прикрыла полами расстегнутой куртки. Из-под пальцев торчала маленькая голова, она глядела на меня и на весь окружающий мир черными стеклянноплоскими глазами.

Он свалился с крыши, повторила ты. У них там гнезда, а он пошел гулять и упал. Немного помолчала, а потом добавила: ночью будут заморозки.

* * *

Ночью в окно глядела луна. Свет падал на белые простыни, и постель сама превращалась в поверхность ночного светила — с кратерами и горными грядками. Лунный ландшафт непрерывно менялся, кратеры превращались в хребты, на месте ущелий вздымались горные пики. Твои волосы щекотали мне шею и грудь.

Потом мы молча лежали под луной. Или на луне. Переводили дыхание.



— Странно устроен человек, — наконец пробормотал я. — Ему всегда кажется, что реальность, которая его окружает, прочна и незыблема. Что она была всегда, а главное, будет всегда. Вот мне сейчас кажется, что мы знакомы сто лет. А ведь еще месяц назад я тебя не знал. Тебя не было в моей реальности. И как-то жил... без тебя.

— А теперь в твоей реальности еще и он. Птенец. — Ты засмеялась легко, счастливо.

— Да, теперь еще и он. Хочешь, я нарисую тебя вместе с ним?

— Нет, спасибо. Ни с ним, ни без него. Лучше его без меня.

— Кстати, что мы с ним будем делать?

— Мы научим его летать. До наступления холодов. А пока он проживет у тебя.

— Да? А я думал, ты заберешь его к себе. И будешь растить и воспитывать.

— До конца октября он должен прибиться к другим голубям. Он почти взрослый. И... я не смогу его взять к себе... растить и воспитывать... — Ты замолчала.

В углу комнаты в коробке из-под старого мольберта возился пернатый, который был пока еще не очень пернатым. Молчание затягивалось.

— Тебе чуть за тридцать, мне почти пятьдесят, — нарушил я тишину. — Между нами огромный кусок жизни. Но мне почему-то кажется, что мы очень похожи.

Твоя ладонь скользнула по моей руке — язычок светлого пламени на темной ветке.

— Расскажешь о своей дочери, о внуке?

— Да что там... Она была ранним ребенком, мне только двадцать стукнуло. И Генку рано родила. Так что я дедушка со стажем. Дедушка. Слушай, а я ведь ничего о тебе не знаю. Ни где ты живешь, ни где работаешь.

Ты закинула руки за голову:

— А я нигде не работаю, нигде не живу. Так уж вышло.

— Интересно вышло. Может, тебя вообще нет? Может, ты моя галлюцинация?

— Я не против, — сказала ты, — быть твоей галлюцинацией. Ой, а зато у меня машина есть. Настоящая.

* * *

Вокруг птичьих глаз краснели ободки голой кожи, от этого взгляд казался злобным, но приоткрытый клюв, непропорционально длинный, с непонятным наростом сверху, придавал злобе комичный оттенок.

Под утро птенец выбрался из коробки и теперь пытался вспорхнуть на диван. Свесив голову, я разглядывал его почти в упор. Он топтался на месте, тянул вверх тощую шею и негромко попискивал.

— У тебя есть пшено? Или манка? — Ты выглянула из кухни.

— Хороший вопрос. Глянь по шкафам.

Подошла к нам с птенцом, села на край кровати. На бедрах поблескивали капельки воды. Слизнул одну, ты хихикнула. Я положил голову тебе на колени. Пятнышко, еле заметное, зеленовато-желтое, на сгибе локтя, и маленькая красная точка в центре синячка. Я поцеловал тонкие запястья, обнял тебя, ухом ловя быстрые удары сердца.

— Вика, Вика, — шептал я, — откуда ты взялась?

Ты с улыбкой высвободилась. Поднялась с кровати:

— Животинку кормить надо.

— Это ты про меня?

Обернулась и чуть наклонилась. И замерла в неловкой позе. По лицу пробежала странная гримаса — выражение детской беспомощности, сменившееся детским же испугом. Мне показалось, что ты сейчас упадешь прямо на меня. Это продолжалось только миг, затем ты выпрямилась, тряхнула мокрой головой и зашлепала в кухню.

* * *

Вот машина, сказала ты.

Спортивный кабриолет смотрелся открытой раной на боку вечерних сумерек — ярко-алой, свежей, опасной. Я присвистнул.

Начинаю подозревать, что ты дочь какого-нибудь министра или олигарха.

Ну что ты, махнула рукой. Всегда мечтала о такой машинке. А тут — просто повезло — почти даром досталась.

Везучая ты, хмыкнул я. Только вот зачем тебе машина без верха? В наших широтах. Да еще осенью?

Ты только пожала плечами.

...Ночь обступала справа и слева, где-то за спиной остался город. Дорожное полотно, призрачно светящееся в свете фар, мягко стлалось под колеса. Твой взгляд был устремлен вперед, по губам бродила мечтательная улыбка. Двигатель глухо рычал; ты что-то пробормотала, я не расслышал. Прибавила газу. Меня вдавило в спинку кресла, ветер взвыл.

Не гони, сказал я. Дорогу не знаешь... Но ты не слышала. Ветер засвистел еще пронзительней, он хлестал по щекам, выбивал слезы из глаз. Лобовое стекло оказалось никудышной преградой на такой скорости. Рев мотора и вой ветра слились в один протяжный, пробирающий до костей звук. Машину потряхивало, словно самолет на взлетной полосе. Ты мертвой хваткой вцепилась в руль и, кажется, что-то говорила или напевала. Сумасшедшая? Наркоманка? Да какая разница, если твои волосы, отброшенные назад, были похожи на крылья птицы, что летит весело и безрассудно во мрак и неизвестность. Мелькнули знаки: приближался железнодорожный переезд. Отпустила газ, и на миг возникло ощущение, что машина неподвижна, а шоссе, куски ночного пейзажа, выхваченные

редкими фонарями, сами фонари поплыли вперед. После переезда ты съехала на обочину и заглушила мотор.

Было очень тихо. Твое лицо казалось фосфоресцирующей маской: оно отражало зеленоватый свет приборной доски; мне вдруг привиделось, что на нем светится круг спидометра — и показывает он не ноль. Может, не сто восемьдесят километров в час, как пять минут назад, но сотню — не меньше.

Ты думаешь, что делаешь, спросил я.

Достала сигареты. Закурила. Знаешь, сказала, когда я была маленькой, я любила бегать наперегонки с ветром. Я слюнила палец, узнавала, куда он дует, и бежала. Бежала изо всех сил. Мне почему-то казалось, что, если буду бежать по-настоящему быстро, ветер обязательно поймет, чего я хочу. И подует мне в спину. Подтолкнет. Такой большой мягкой ладонью. Поможет. Подхватит. И я полечу. Я мечтала, что ветер будет нести меня над землей и я поднимусь высоко-высоко и все увижу. Глупо, да?

Нет, покачал головой я.

Глупо, усмехнулась ты. Я удивлялась, почему ветер не может догнать и поймать меня. Ведь я такая маленькая, а он — большой и сильный.

Мне думается, помолчав, сказал я, ветер сегодня очень хотел помочь нам взлететь. И только самой чуточки не хватило, чтобы...

Ты перегнулась через подлокотник кресла, и я ощутил горечь дыма и дорожной пыли на губах.

* * *

— Ну, давай! Маши крыльями! Маши!

За месяц птенец окреп, отрастил взрослые перья, а вместе с ними характерные для его племени нахальство и бесцеремонность. За что был выдворен на балкон, где проводил время с утра до вечера.

Октябрь заканчивался. В это воскресное утро на пустыре за домом было решено провести испытательные полеты. И если все пройдет в штатном режиме, то блудный голубь будет возвращен сородичам. Птиц старался: хлопал крыльшками, вспархивал на бетонную крышку коллектора, на крылечко насосной станции, мотался то тут, то там. Генка хохотал как сумасшедший и пытался поймать голубя. Ты, улыбаясь, стояла чуть поодаль.

Утро было ясное, свежее. Ветер кружил сухую листву, нанесенную к зданию с пустыря; солнце поблескивало в пролетающих паутинках, в росе, что выпала на все еще зеленую траву. В твоих темных очках поблескивало сразу два солнца; казалось, что они светят сюда, в октябрьское утро, из ледяного, сумеречного декабря.

— А ты почему такая бледная? — спросили два моих декабрьских отражения. — Это мне тебя такую рисовать? Не давалась, отворачивалась, а теперь — пожалуйста, изобрази меня белой-белой и с косой?

Ты, все так же отрешенно улыбаясь, смотрела на меня. А может, куда-то мимо.

— Деда, он на стену прицепился! Он вон где — смотри!

Голубь уже вспорхнул с выступа на стене и теперь скакал то вправо, то влево, уворачиваясь от прыгающего, словно молодой козлик, Генки. Я поскакал за ними. Подхватил дрожащее, рвущееся на свободу тельце, поднял к небу — прозрачному у горизонта, ярко-синему в вышине, крутнулся на каблучке и отпустил, чувствуя, как расправляются в налетевшем ветре крылья. Чувствуя, но не видя, потому что под закрытыми веками в такт пульсу бились фиолетово-зеленые солнца, пойманные сетчаткой.

— Деда, деда! Он вон куда залез!

Когда зрение вернулось, я понял, что дело серьезное. Голубь каким-то образом забрался под лестницу насосной станции. Там, под лестницей, было углубление, узкое, заросшее травой, и туда не смог бы пролезть даже такой шкет, как Генка. Сам-то голубь легко мог выбраться наружу, но, видимо, не испытывал особого желания. Я просунул руку, стараясь достать незадачливого летуна, однако это привело к тому, что птенец забился еще глубже.

— Надо его едой выманить.

Я оглянулся. Генка маячил за мной и, наклонившись, пытался разглядеть птичку.

— А тетя Вика... Ген, ты не видел?.. Она что, ушла?

...День был под стать утру — теплый, светлый. Может быть, последний почти летний день в году. Генка, перед тем как уехать с матерью, строго-настрого наказал проверить — выбрался голубь или нет. Под лестницей птицы не было. Я поднялся, отряхнул одежду и вновь попробовал дозвониться до тебя. «Абонент недоступен». Постоял, прислушиваясь к пустоте, появившейся внутри и растущей там, жадно всасывающей сердце, печень и прочие потроха.

— Нет, это ерунда какая-то! — сказал нарочито громко.

До холодов. Научить летать до холодов. Красная точка. На сгибе. Красный надрез на серой вене ночного шоссе. Слепой полет, оживший ветер. Нигде не живу. Нигде. Ветер, ночь, птенец, точка.

На негнущихся ногах ковыляю мимо пустыря. Придерживаюсь за стену. Она холодная и шершавая. Неожиданно открываю: «Я ведь тоже шершавый и холодный. Я... старый!» Замечаю здорового рыжего котяру. Голова торчит в траве, глаза неотрывно следят за мной. Что ему здесь нужно, почему он так старательно облизывается? Неважно. Неважно. Шаркаю дальше. Янтарный немигающий взгляд леденит затылок.

* * *

Зима отступает, теряет силу. Снегу еще вон сколько, на балконе целый сугроб. Но окна уже оттаивают, уже видны соседние дома, двор. Небо все больше синее.

Сжимаю в руках почтовую карточку, кручу и так и этак. Сегодня получил.

Тогда, в последнее воскресенье октября, я возился на балконе до поздних сумерек. Ловил свет, ловил блеск твоих светлых глаз, вытягивал из памяти линию плеч и рук, пытался вернуть печально-хмельную улыбку и летящие на ветру волосы.

Я знал только подъезд. Обошел с портретом все квартиры на пяти этажах. На шестом пожилая дама пригласила к себе. Ты снимала у нее комнату. С начала лета и до последнего воскресенья октября. Ты рассказала хозяйке все. Все, что не могла рассказать мне. Жила в другом городе, была замужем за владельцем крупной фирмы. Дети не обзавелись. Твоя тяжелая болезнь, безобразные сцены. Развод. Не самая большая по таким делам сумма отступных. Машину купила непонятно зачем еще летом и продала за неделю до отъезда.

А куда уехала? Хозяйка точно не знала. Куда-то за границу, к операции готовиться. И слава богу. Так мучилась, бедняжка, на уколах жила. Я так за нее боялась. Когда машину купила — пришла, смеется. Все, говорит, денежки — ту-ту! Зачем же, говорю, ты ее купила? А она хохочет, хохочет, остановиться не может. Так на пол по стенке и сползла.

Я долго искал, но все безрезультатно. По раздобытым адресам и телефонам никто не отвечал. Последняя моя идея — запросы напрямую в профильные медицинские центры — уже самому казалась нелепой. И вот открытка. Может, тебе передали мое письмо, и ты вспомнила прошедшую осень. Вспомнила немолодого художника из провинциального города.

Верчу карточку. Строчки неровные, буквы так и прыгают.

«Я поняла, — пишешь ты, — чтобы взлететь, нужен встречный ветер. Не он должен тебя поймать, а ты его».

Обратного почтового адреса нет, зато в самом низу нацарапан электронный.

С чего бы начать... Гляжу за балконную дверь, хорошо, что стекло оттаяло.

«У меня на балконе сидят сейчас два голубя. Никогда не прилетали, а тут почему-то заявились...»



Ирина КОСЫХ

ВСЕ ПРОЩЕНО

Р а с с к а з ы

Зубы

Свадьбу сыграли в кафе «Гармония». Закончилось дракой, травм-пунктом и огромным счетом за разнесенный зал и битую посуду. Хорошо еще, до банкета успели съездить на центральную площадь и сделать несколько хороших снимков, запустить в небо голубей на Малых холмах и повесить амбарный крашеный замок с надписью «Вместе навсегда» на перила Харитоньевского моста — хоть какие-то светлые воспоминания...

Брачную ночь, вернее, брачное утро молодожены встречали на остановке «Полимермаш» с бутылками «Балтики № 9» в руках. Строго говоря, все было ужасно. За ночь они побывали в кабинете директора кафе, в машине его «крыши», городском травмпункте, круглосуточной аптеке и в отделении милиции. Денег не было даже на автобус. Лариса смотрела с невысказанной нежностью на невзрачный профиль супруга. Супруг же мутно и угрюмо глядел вдаль. Она вдруг мягко придвинулась к нему и, не размыкая губ, осторожно прикоснулась к уголку его узкого бесцветного рта. Эдик медленно перевел взгляд на жену с всклокоченной высокой прической, где-то обронившую свою фату вместе с венчиком из бумажных незабудок, и грубовато обхватил ее левой рукой за шею, прижался головой. Это была ласка, уже знала Лариса.

Эдика, будущего мужа (и первого мужчину), Лариса встретила довольно поздно, когда поступила на платное отделение в местный «кулек» и отучилась в нем два года на экономиста-менеджера. Был он, прямо скажем, не подарок. Ранний алкоголик, жил вместе с матерью и бабкой в убитой «двушке» на ТЭЦ, в двадцать два года не было у него ни среднего образования, ни работы — ошивался на центральном рынке, где в дебряностях творился беспредел и анархия. Он там что-то мутил с радиотехникой и золотом — полуподпольно-полукриминально. Внешне был он безвидный и непримечательный, на такого замучаешься «ориентировку» составлять. Вот только улыбка была у него голливудская — это да. Ров-

ленькие мелкие зубы такой кипенной неестественной белизны, что, бывало, спрашивали, свои ли. А в остальном: среднего роста, худощавый, некрепкий, пепельно-русые мягкие волосы, глубоко посаженные темно-серые глаза, широкий, слегка приплюснутый нос и тонкие бледные губы. Но, как часто бывает в таких случаях, Ларисе было чем хуже, тем лучше. Вместо придуманной и старательно изображаемой стервы оказалась она беззаветно преданной и жертвенной мазохисткой. Тут уже подключилась и «программа спасения», и долгая невостробованность по женской части, и — как по заказу — властность и эгоцентричность самого Эдика.

Еще до свадьбы распускал он руки: несерьезно, вполсилы толкался и лягался, однажды даже вlepил пощечину, когда взревновал. Протрезвев, понятное дело, каялся, обещал, искупал. Лариса глядела на это сквозь пальцы: в ее семье тоже все было непросто и небезбурно, да и любила она его и думала, что ее любят. Надеялась, что угомонится, переберется, убедится, что причин воевать нет: его она, от пяток до кончиков волос.

Началась полосатая, черно-белая их жизнь, но что-то плохие периоды затягивались, а светлые наступали все реже, становились все короче, незаметнее... Лариса уже не только освоила и прилежно исполняла свои семейные обязанности, но и поднаторела в искусстве грима, а муж все не успокаивался, все не смирил.

Свекровь и бабка в конфликты не вмешивались, однако молчаливо принимали сторону сына и внука: невестка казалась им не по уму своенравной и независимой. Бабка как-то хмуро ей посоветовала: «Ты, главное, не дерзи: стерпится — слюбится». Свекровь все больше многозначительно хекала и поджимала губы. Стала тогда и Лариса взбрыкивать время от времени, вспоминая отрочество и юность, полные боевых подвигов: могла и его приложить как следует, и кинуть чем под руку попадет. Эдик от этого только свирепел и бил уже в полную силу, без скидки на слабость пола. Часто, избив ее нещадно и жестоко, запирали он Ларису голую в туалете (чтобы подумала над своим поведением). Бабка, когда тот уходил, все-таки жалела и выпускала ее.

Лариса отрыдала, отвыла, отубивалась всласть и готова была бежать от мужа куда глаза глядят, да не тут-то было. Эдик пил втемную, стал патологически мнителен и опаслив. В каких только намерениях и грехах он Ларису теперь не подозревал — боялся, что она пожалуется на него кому или заявление в милицию напишет. Он собрал всю ее одежду и обувь и запер в кладовке, отобрал ключи и телефон. Теперь Лариса целыми днями слонялась в трусах и майке по дому и ждала мужа.

Дело кончилось неожиданно и в то же время закономерно. Эдик на этот раз так двинул ее по лицу, что у Ларисы от острой боли отнялся язык и потемнело в глазах, а рот заполнила обильная вязкая влага. Она что было мочи оттолкнула мужа и вырвалась на свободу — на лестничную площадку. Босиком, в одной майке, едва прикрывавшей трусы, она выскочила из подъезда, добежала до остановки и, пытаясь в неполюженном месте перебежать дорогу, упала без сознания на асфальт. Дальше была



«скорая», кровавые повязки и тампоны, больница, операция, специальная трубка для дыхания, металлические спицы, шины, от которых на всю жизнь останутся у Ларисы ржавые следы на зубах. Перелом нижней челюсти — таков был итог ее первого и, возможно, единственного брака.

Когда наконец прошла боль, срослись кости, сняли шины, Лариса уже все решила, все продумала. Она знала, к кому и зачем ей идти.

Утра Ларисы были теперь, может, и мудренее, но и несравнимо тяжелее вечеров. Пробуждение приходило к ней резко и пронзительно, как удар в пожарную рынду. Мгновенно проникала в нее реальность, облепляли, как комарье, воспоминания, ощущения и боль — уже внутренняя, саднящая, растрavляющая...

Старший брат ее работал в милиции водителем службы наряда. Собственно, он сам предложил свою помощь, когда узнал, кто это сделал с его сестрой.

— Я хочу, чтобы ему выбили все зубы. Все, слышишь?! Или хотя бы половину.

— Я их там считать, что ли, буду?.. А если скопытится?

— Значит, судьба такая злая. Значит, заслужил.

...Ларису оставили наблюдать в машине вместе с необстрелянным рядовым Шевцовым. Она жадно вглядывалась в лицо пока еще не бывшего мужа. Он, окруженный тремя ментами, вдумчиво и неторопливо проверявшими его паспорт, сразу сник, ссутулился, стал нервно оглядываться и переминаясь, поминутно сплевывал.

— Чует, мразь, к чему дело идет, — тихо процедила Лариса и тут же почти прошипела: — Вот тварь. Чтоб ты сдох, сука.

Круг ментов вдруг резко сузился, один умело скрутил Эдику руки за спиной, другой схватил за волосы, потянул голову вверх — так, что у Эдика задрался подбородок. Кто-то из них громко, даже Ларисе было слышно, спросил:

— Я не понял, тебе зубы жмут?!

Она не могла оторвать глаз от лица Эдика, родного и ненавистного. Она ясно увидела, как задрожали его невыразительные губы, жалобно взлетели домиком брови, забегали панически глаза, заходили ходуном ноги.

— Ничтожество... Гаденыш... — По щекам Ларисы текли слезы. — Что ты наделал, сукин сын...

Она вдруг сильно толкнула рядового Шевцова в грудь:

— Эй ты, иди скажи, пусть не трогают его! Иди скорей, дебил! Скажи, я не хочу... Передумала! Пусть не трогают его, слышишь?! Ну иди же, придурок!

Эдик так и остался, трясущийся и беспомощный, сидеть на земле, покуда милицейский «уазик» не скрылся из виду. Лариса заплаканными глазами неотрывно смотрела через заднее стекло на этого напуганного, жалкого человека и до странности ничего не чувствовала к нему.

Холи

Деревня Хворики, засевавшая между сосновым бором и темной, ди-коватой рекой, если чем и славилась в то лихолетье, так это поголовным пьянством, высокой смертностью да разграблением и поджогом дач за-вода «Металлист», символически отмежеванных от деревни железнодо-рожными путями.

Редкий день Сиська (Мишка Сиськин, то есть, пардон, Светлов: после армии он поменял фамилию, но в Хвориках его все равно звали Сиськой) не стоял, качаясь, против электрического столба на перекрестке порядков Самодуровки и Голодранки и не муштровал его: «Равнение на знамя!», «Кру-хгом!», «В одну шеренгу стано-вись!», «Разой-дись!»

Саламаха, молодая вдова с двумя детьми, напившись до чертиков, хватала мужнино ружье и терроризировала соседей. Тут припоминалось все: и оборванный крыжовник, ветки которого проросли сквозь соседский забор, и куры, поклевавшие помидоры в позапрошлом году, и отказы в ассигновании очередной чарки, и сплетни (а для сплетен Саламаха была предмет завидный: мужчин она любила всех возрастов, национальностей и политических убеждений). Дважды она стреляла, продырявила соседям стенку сортира и ранила дворового пса. Конечно, вызывали милицию, которая приезжала хорошо, если на следующий день. Дело кончалось перепалкой и пустыми угрозами — так потихоньку и к этому безобразию привыкли.

Старики не отставали: у них и поводов было больше, и вариантов меньше. Однажды бабка Руфина, употребив пол-литра самогона, ушла в поля на той стороне реки. Там играли мальчишки-дачники в футбол. Бабка Руфина — в трех рваных юбках, сползших и опавших на калоши трикотажных чулках, в зипуне времен Первой мировой — молча встала в пустующие ворота, обозначенные ольхой и гнилым пеньком, отбила при-летевший мяч головой, икнула и побрела дальше, напевая Аллегрову.

С дач уносили все, что могли, включая вымокший сухой спирт и за-плесневелый шифер: пить надо было каждый день, а продать тогда мож-но было абсолютно все, так как в магазинах не было абсолютно ничего. Работы в деревне не стало (совхоз разогнали, ферму пустили под нож), школу закрыли, на деревянном магазине повис пудовый замок, и были за-биты окна. Выныривать из запоя в реализм действительной жизни стало страшно и тошно: ощущение погорельца, который потерял в огне дом, имущество, семью и вообще все свое прошлое, заставляло вновь и вновь утолять боль и глушить растущее опустошение, предчувствие близкого конца (персонального и всеобщего) эликсиром забвения, производство которого наладили бабка Руфина и инвалид Жук, способный гнать само-гон практически изо всего, что было под рукой.

Был в деревне и свой дурачок, по кличке Святой. И впрямь стран-ный парень. Звали его Юрой, был он городской, родился и вырос в рай-





онном центре. А вернувшись из армии, оставил в двухкомнатной квартире стареющих родителей и купил в Хвориках заброшенный участок с покосившимся сеником, хозяин которого, как поговаривали, был в бегах чуть не со смерти Сталина. Святой поправил сарай, обнес его тесом, законопатил щели мхом и утеплил сухим навозом. Постепенно обзавелся и собственным хозяйством: купил коз, цыплят и лошадь, огородил участок и начать пахать, сеять, жать, доить и рыбу ловить.

Местные с ним сойтись так и не смогли: был он молчун и скандалист одновременно. На приветствия и вопросы многозначительно сопел да шел себе мимо. А когда что не по нему, то поднимал такой хай, что сбегались с окрестных улиц. А не по нему бывало часто: когда на машинах и тракторах по лугам ездили, когда громко пели или включали радиолу на всю катушку, когда в овраг мусор сбрасывали (а он ходил через сей овраг на рыбалку и коз пасти), когда пьяные под его забором валялись...

Святой не пил и не курил, без дела не сидел — ломал хребтину до седьмого пота. Сарай подновил и расширил со временем (евроремонт делать, недобро посмеивались односельчане). На огороде перло у него все и колосилось как на дрожжах — вся деревня ахала. Да и вообще, на фоне покотившейся в тартарары страны, всеобщего уныния и нищеты, убогости и разрухи, что в городе, что в деревне, Святой как марсианин вышагивал по планете: крепкий, бодрый, с расправленными плечами, пружинистой, энергичной походкой, кепка набекрень, нос кверху, на плече то лопата, то коса, то сачок с удочкой. Действительно, не идиот ли? И прозвище прилипло, конечно, не с добра: с издевкой его так называли — больно правильный.

В начале лета к Куприяновой, почти лежачей уже старухе, что дожидала век одна в огромном доме, опустевшем без покойного мужа и разлетевшихся кто куда четверых детей, приехала внучка. Внучка была штучка не простая, не городская, не столичная, а настоящая американская. Мать привезла ее, чтобы она язык подучила, ну и историческую родину с бабушкой наконец увидела.

Холи было одиннадцать лет, в деревне ее сразу окрестили Галей, любили поговорить с ней об Америке, разглядывали ее, как чучело, иногда даже трогали одежду, пытаясь распознать материал (у нас такого, небось, не производят). Галя улыбалась, стеснялась и краснела. По-русски говорила и понимала она плохо. Мать ее, младшая в семье, простая официантка, вышла замуж сначала за финского моряка, потом за американского. Долгое время не могла приехать на родину, а после перестройки, когда все шлагбаумы упразднили, решила наверстать упущенное: сначала приехала сама проведать больную мать, а потом прихватила и дочку.

Когда Святой впервые увидел Галю, то чуть шею не свернул — так гласит легенда, поведанная бабушкой Руфиной. «Встал, — говорит, — как вкопанный, морду перекосило, аж вздыбился весь. А на что там смотреть, леший его знает: плоская как доска, на лицо обыкновенная, конопатая, волосы соломой, бровей нет — чувырла малолетняя, одно слово». Стали



и другие примечать что-то неладное. Как пройдет мимо Галя, так Святой бледнеет и робеет, вслед ей глядит томно, как сибирский кот, глаза с паволокой. Дурачок, а туда же. Саламаха сразу сказала, что у них, у дебилов, с этим делом всегда так: они до баб голодные, как урки, и наглые, а этот, видать, и вовсе махровый извращенец, и за детьми теперь надо в оба глядеть. Предлагала даже коллективное заявление на него в милицию написать: не приведи Господь, натворит чего.

Гале же про Святого сказали, что он десанником служил и у него однажды парашют не раскрылся, с тех пор дурак дураком. Галя в эту историю совершенно искренне поверила, жалела его и все хотела спросить про парашют, пытаясь отыскать на теле Святого следы неудачного падения, но тщетно: Святой был цел, здоров, подтянут и недуга своего решительно не проявлял.

Настал, однако, день, когда Святой увидел Галю одну, в поле, вдали от зорких глаз и трезвонящих ртов. Галя беззаботно шла по тропке, обрывая руками вихорки лисьих хвостов и полевицы.

— Девочка... — негромко и ласково позвал Святой.

Галя повернула голову и, увидев его, улыбнулась как солнце — во весь рот.

— Как тебя зовут, девочка?

— Холи, — ответила Галя и несмело сделала к нему пару шагов.

Она смотрела радостно и внимательно, прикрыв рукою глаза от яркого света.

— Галя, значит, — понял Святой. — Ты куропаток видела?

— Что такой? — Галя рассмеялась. — Кур? У нас есть кур, много.

— Не, не куры — куропатки. Сейчас жарко — они на дневку в лес уходят, я все их потайные места знаю... Хочешь покажу?

— Хочешь, — не раздумывая согласилась та.

Святой обрадовался, заломил кепку на затылок и резво двинулся вперед.

— Тут, если перелеском пройти, недалеко. Они там целым выводком прохлаждаются.

Галя поспешила за ним, стараясь не отставать.

Они шли какое-то время полем, потом углубились в лес, изрешеченный солнечными лучами. Святой рвал по дороге малину и ежевику и сыпал урожай в Галины ладошки. Наконец показалась опушка, заросшая кустарником и мелкоколесем, рядом с которой, прячась в елях, стоял небольшой шалаш. Святой прижал палец к губам и поманил Галю за собой. Внутри он сел по-турецки и указал щель, открывавшую обзор на взлесок, объяснил, что надо подождать. В шалаше был расстелен старый замусоленный пиджак, валялся коробок спичек и потрепанная книжка в мягкой обложке.

Галя взяла ее в руки, полистала, понюхала:

— Что такой?

— А-а... — Святой осторожно, будто боясь поранить ее своими шершавыми, как наждак, руками, забрал у нее книгу, раскрыл посередине и



установился в страницу. — Это... — Он повернул книгу и прочел с обложки: — Че-хов. Это Чехов.

— Че-кофф? Айв хёрд самфин...

— Это хорошая книга. Хорошая, понимаешь?

— Хорошо, понимаешь! — Галя снова просияла американской улыбкой.

— Я ее читаю иногда. Вот в любом месте. — Святой наугад открыл книгу и шепотом начал медленно читать по слогам: — «На-дру-гой-день, в чет-верг, я-про-сы-па-юсь с ду-шой-яс-ной-и-чис-той, как-хо-ро-ший-ве-сен-ний-день». Как весенний день... «В цер-ковь-я-и-ду-ве-се-ло, сме-ло, чув-ству-я, что-я-при-час-тник, что-на-мне-рос-кош-на-я-и-до-ро-га-я-ру-ба-ха, сши-та-я-из-шел-ко-во-го-плать-я, ос-тав-ше-го-ся-пос-ле-ба-буш-ки». Рубашку из платья сшили. Шелковое платье. Шелк, материя такая, гладкая. На ощупь как плащевка, только понежнее, наверно. «В цер-кви-все-ды-шит-ра-дос-тью, счас-тьем-и-вес-ной; ли-ца-Бо-го-ро-ди-цы-и-И-о-ан-на-Бо-го-сло-ва-не-так-пе-чаль-ны, как-вче-ра, ли-ца-при-час-тни-ков-о-за-ре-ны-на-деж-дой, и, ка-жет-ся, все-прош-ло-е-пре-да-но-заб-ве-ни-ю, все-про-ще-но».

Святой замолчал, пробегая глазами только что прочитанное, нахмутив мучительно лоб и пожеывая губами.

— А ты знаешь, кто такая Богородица?

Галя скорчила уморительную гримаску, несколько раз подняла свои острые плечики и отрицательно покачала головой.

— Вот и я не знаю, — вздохнул Святой. — Не так печальны... Прощено.

Он снова уставился своими ярко-синими глазами на этот раз поверх Галиной головы, в просветы хвороста и веток. Порезанный луч вдруг так странно осветил его профиль, что Галю будто обдали колючие морозные снежинки. Она смотрела в его загорелое небритое лицо, которое было совсем близко, и не могла оторваться: высокий лоб с длинной наметившейся морщиной посередине, темные с проседью брови, сосредоточенные глаза, нос с чуть вспархивающими от дыхания ноздрями, тонкий длинный желобок над коричневатыми, четко очерченными губами, треугольный подбородок... Волосы у Святого выбивались из-под заломленной кепки — слегка вьющиеся и тоже темные с проседью.

«Какой красивый старик!» — подумала девочка и зарделась.

— А ты что зовут? — спохватилась она, пытаясь прогнать свой внезапный восторг и краску с лица.

— Юра, — очнулся Святой. — Юра Попов.

— Ю-у-у-ра-а, — почти пропела Галя и, осмелев, отважно спросила: — Какой лет?

— Сколько?.. А вот надо в паспорте посмотреть, — рассудительно заметил Святой и прислушался к шороху. — Смотри!

Святой и Галя приникли к смотровой щели, так что их дыхание перемешалось и Галя краем глаза видела подрагивающие его ноздри и полуоткрытые губы.

Сначала послышался шум крыльев, затем раздались негромкие свистящие звуки, сливающиеся с ним. Две пестрые куропатки с желто-белыми брюшками, планируя, опустились на опушку. Вслед за ними молча пролетела еще одна, покрупнее, и приземлилась чуть поодаль в бурьяне. Вдруг тут и там показались рыжеватые головки других птиц, ловко снующих в густой траве и зарослях кустарника или низко перелетающих с места на место. Они копались и что-то клевали в траве, издавая при этом звуки, похожие на кудахтанье домашних кур.

Галя уткнулась носом в плечо Святого и затаила дыхание, чтобы ненароком не спугнуть стаю. Как зачарованная следила она за дикими птицами и пыталась их сосчитать — получалось около двух десятков.

— Соу найс... Очен красивой... — прошептала Галя.

— Они здесь прячутся, отдыхают. У нас их много бьют... — откликнулся Святой. И, помолчав, добавил: — Не люблю охотников.

Обратной дорогой они почти не разговаривали. Галя торопливо, боясь отстать, семенила за Святым, целеустремленно шагавшим в сторону деревни. Путь лежал мимо его дома на окраине, и он жестами позвал девочку к себе, в сарай с «евроремонтом».

Галя, не скрывая любопытства, прошмыгнула за ним в низкую дверь и оказалась в полутемном, пованивающим, со спертым от летней духоты воздухом, жилище. Она замерла на пороге и зажмурилась: такого она еще не видела. Посреди помещения на листе железа стояла небольшая чугунная печка с трубой, уходящей под крышу. По дощатому, уже трудно различимому темно-серому полу было разбросано сено, зерно, навоз и какой-то мусор. По-хозяйски неспешно дефилировали куры. Сбоку за небольшой перегородкой обиженно мекали две голодные козы. В дальнем углу с земляным полом стояла лошадь.

У единственного маленького окошка поместилась односпальная железная кровать с панцирной сеткой, на которой валялась какая-то старая одежда и скомканное грязно-голубое покрывало. Над кроватью висела картонная выцветшая иконка и несколько пожелтевших газетных вырезок с фото.

— Сейчас паспорт найду, — сказал Святой и залез с головой под койку, вытащил оттуда допотопный фанерный чемодан, открыл его и стал в нем копаться.

Галя тем временем рассматривала икону и газетные вырезки.

— Дата рождения — 12 апреля 1963 года. Шестьдесят третьего года... Сейчас у нас девяносто второй идет, вот и считай... Двадцать девять лет, что ль, мне? Ага, двадцать девять. Слышишь? Двадцать девять лет мне.

— Какой? — переспросила Галя.

Он показал на пальцах сначала два, потом девять.

— Нет старь! — обрадовалась девочка.

Святой как-то грустно взглянул на нее, внезапно помрачнел, бросил паспорт в чемодан и задвинул его ногой обратно под койку.



— А знаешь, кто это? — Он ткнул пальцем в газетное фото лысого мужчины с продолговатым родимым пятном на голове.

— Ай нуу хим, — кивнула Галя. — Это Горбачофф.

— Вот и я когда-то знал... А эту знаешь?

С фотографии смотрела девочка Галиных примерно лет, с двумя длинными хвостиками, в пилотке и белой рубашке с коротким рукавом.

— Нет. Не знаешь. Что?

— Не помню, — снова вздохнул Святой. — Да там написано, погоди. Я много раз читал... — Он двумя руками бережно снял с гвоздя заметку и прочел опять по складам: — «Са-ман-та-Смит, а-ме-ри-кан-ска-я-школь-ни-ца, го-лубь-ми-ра... с от-цом воз-вра-ща-лась-из-Ан-гли-и... Ма-лень-кий-двух-мо-тор-ный-са-мо-лет в ус-ло-ви-ях-пло-хой-ви-ди-мос-ти-про-мах-нул-ся-ми-мо-по-са-доч-ной-по-ло-сы-и-раз-бил-ся». Видишь, школьница, как ты. Погибла. И отец с ней.

Галя вопросительно смотрела на своего нового знакомого:

— Плохой или хороший?

— Саманта Смит. Знаешь? Америка.

— Нет, не знаешь. Много Смит.

Святой осторожно нацепил заметку обратно на гвоздь и глянул в окошко:

— Темнеет. Скотину надо бы покормить. А ты костер видела? Огонь. Дрова.

— Дрова! — весело повторила Галя и заулыбалась.

— Не видела? У, цивилизация. — Он взял ее за руки и, улыбаясь чему-то своему, слегка потряс их: — Слушай, человек дорогой, мне по хозяйству кой-чего надо. Приходи немного погодя к реке, там, где мостки. Рыбаки где. Рыбу ловят. Рыбу, понимаешь?

— Река, — поняла Галя. — Рыба ловить.

...Солнце уже уходило за горизонт, когда девочка бегала вдоль берега речки и искала Святого. Он сидел на корточках и раздувал аккуратно и толково сложенный костер. Увидев ее, кивнул на брошенную для нее телогрейку и продолжил громко, с присвистом, процесс выкуривания из недр дровяного домика огня. Огонь наконец занялся, и Святой важно передал Гале заточенную палочку с насаженным на нее куском черного хлеба. Они сидели у костра до темноты, поджаривая хлеб и слушая трели полевых сверчков.

— Я осень люблю, — вдруг мечтательно вспомнил Святой, — самое начало. Когда зелены уже взошли. Смотришь, кругом лес — желтый, красный, а поля — зеленые, самый сок. Это все умирает, гниет, а они только народились и зиму переживут. Радостно на душе. Красиво. А я и купаюсь еще осенью. Я купаться в мае начинаю — и до конца сентября. В сентябре лучше всего: дачников нет, а местные и летом не купаются. Вода, знаешь, ледяная. Мошки. Тихо.

— Ай лав зэ оушн, — встряла Галя. — Ин уинтертайм. Нет река, много вода.

— Воды много? Озеро? Море?

— О, море! — подхватила она. — Я жить море.

— Никогда не видел.

— Вэйвз. — Галя погладила рукой воздух и зашипела как прибой.

— Волны? А акулу видела?

— Акул? Что такой?

Он ощерился и полязгал зубами.

— Рыба большая, хищник, людей жрет только так.

— А, шаркс! Есть! Акул!

— Ты поосторожнее там, — забеспокоился Святой и подкинул дров, пока Галя запихивала в рот подгоревший кусок хлеба.

...Через несколько дней Галю увозили домой, в Америку. Перед отъездом она зашла к Святому попрощаться. Он был хмур, неразговорчив. Снова достал свой чемоданчик и, порывшись в нем, выудил оттуда маленькую синюю пиалу.

— Держи. Будешь чай пить. Вот так. — Он показал, как правильно держать чашку.

— Я приехал опять, — пообещала Галя.

— Приезжай, на рыбалку пойдём, — попытался Святой удержать беззаботный тон. Повертел пиалу в руках и не выдержал: — Эту пиалу я сестренке купил. Когда в армию уходил, ей двенадцать было. А вернулся на похороны. У нее там в школе... Невзлюбили ее. Обижали, били. Кличку придумали — Швабра... Представляешь? Она тихая, послушная была. Училась плохо. Да я сам еле на тройки закончил. Способностей у нас нет. Она мне писала... Но как я приеду? Служил в Казахстане. И главное, родители знали, она жаловалась им. У меня с памятью-то после этого... Все забываю. Башка как решето. А это возьми, возьми, — он настойчиво протянул ей пиалу, — будешь вспоминать... Куропаток... и так просто.

Девочка не поняла, что говорил Святой, только почувствовала, как в сердце распускается горячий и душистый цветок. Она прижала к груди подарок, посмотрела еще раз в его синющие глаза и, сдерживая подступившие слезы, поспешила домой.

...В том же году, глубокой осенью, старуха Куприянова померла. На похороны съехались дети, решившие как можно скорее продать дом и участок. Галя так и не вернулась в Хворики и больше никогда не видела Святого. Но он часто снился ей то в поле, то у реки, то в небе с парашютом.

А Святой снов не запоминал.

Лет семь назад мы начали обсуждать жгучую проблему, как быстрее молодым прозаикам и поэтам выйти к читателям. При всех наших симпатиях к бумажной книге, мы прекрасно поняли, что Сеть мобильнее, Сеть шире. Так возникла мысль создать литературный портал, на страницах которого находили бы место произведения самых разных талантливых людей не просто из Новосибирска, не просто из России, но со всего русскоязычного мира. При этом мы сразу сказали себе: мы — неформат. Мы дарим своему многомиллионному читателю то, от чего отказываются огромные «форматные» издательства, то, что нельзя издавать массово, только на продажу.



Мы ищем новых авторов. Мы проводим конкурсы. Мы издаем книги. Мы неизменно и упорно ищем тех, кто думает непохоже. Наши страницы в «Сибирских огнях» — это еще одна попытка взаимно расширить масштабы охвата пишущих и читающих, выявить и показать талантливые сегодняшние произведения, так часто, к сожалению, тонущие в разлитом море серых текстов, при этом часто декларируемых как некое новое слово в российской культуре. Мы помогаем становлению вкуса — в этом мы верные союзники и друзья всех, кто не потерял уважения к русской литературе.

Геннадий Прашкевич —
от редакции «Белого мамонта»

Татьяна САПРЫКИНА

БОГ ЕФИМЫЧ

Р а с с к а з

Я Сема Чумаков, мне девять лет. В четверг после обеда я решил, что мне позарез нужен бог.

Я внимательно изучил, какие бывают боги, и мне ни один не подошел.

Поэтому я решил назначить своего собственного.

Главное, что меня не устраивало в уже существующих богах — это то, что их нельзя потрогать. Подергать за штанину, скажем, или погладить по руке. Какой же это бог, если он на небе? А если я потерял тетрадь,

порвал шнурок? К кому мне обратиться? К картинке? Нет уж, спасибо. Это как-то несерьезно.

И еще мне не понравилось, что боги все общие, а я хотел своего, единственного, только для меня одного. Тогда и у него хлопот будет меньше, и мне пользы больше.

Я долго думал, кого бы мне избрать в боги. Мне нужен был человек деловой, ответственный, но вместе с тем простой и для меня понятный. Он должен быть доволен собой и жизнью. Спасибо, всяких там страданий мне не надо.

Я перебрал всех своих знакомых, однако ни один из них, как выяснилось, в мои боги не годился.

Поздно вечером, когда я чистил зубы, мне вдруг вспомнилось, как мы с мамой в прошлом году ездили в поселок и как особенно мне понравилось доить козу бабушкиного соседа Ефимыча. Ефимыч был щуплый и лысый, но, главное, веселый — он все время смешил нас с мамой и даже приплясывал вокруг бабушки, а она на него шикала: «Отвали, старый пень!» Я подумал, что никогда не встречал никого симпатичнее Ефимыча, поэтому в четверг вечером решил назначить его своим богом.

А чего, пусть. Хотя я помнил отлично, как бабушка его за глаза называла «паскудником» и «шушкариком», мне до этого дела не было. Бог из Ефимыча должен был получиться лукавый и смешливый. Но справедливый. Вот надо, например, доедать кашу утром перед школой (это мама так считает), а я ей говорю, что мне лично Ефимыч до одиннадцати кашу есть не велит. Потому что до одиннадцати самый клев на реке. Не верите — вон идите с ним сами договаривайтесь! Или пнет меня под партой Серый, а я на него тут же мысленно Ефимыча напушу — с его едким табаком. И бах, у Серого двойка! При этом я представлял, как мой бог наливает стопочку и, щурясь, разглядывает ее на свет. Празднует, значит, нашу с ним победу. Занавески, кстати, у Ефимыча были ситцевые, в выцветший, но жизнерадостный зеленый огурчик. Это, согласитесь, тоже плюс.

Я с удовольствием перечислял про себя бесспорные достоинства моего бога.

Ефимыч живет один в небольшом деревянном доме. Он делает что хочет. На работу не ходит, сидит на солнышке, играет на гармошке. Никто ему не велит утром вставать и умываться, а потом чесать через две остановки в школу. Никто ему не указ. У Ефимыча есть коза, значит, он всегда при молоке. Он ест черный хлеб, макает горбушку в чашку и ест. Красота! А зубы в этом деле совсем не главное. Ефимыч знает много всяких смешных поговорок, он все время напевает что-нибудь веселое. Любит рыбачить, он мне даже показывал, какой величины как-то поймал рыбу. От телевизора до дивана. Согласитесь, обычный человек такую рыбу ни за что не поймал бы.

Теперь вы сами видите: Ефимыч живет как бог.



Я подумываю о том, чтобы сочинить молитву про Ефимыча и повторять ее, когда меня мама ругает за невымытые руки или учительница рассказывает про правила поведения в столовой.

А дальше случилась такая история.

Я принес домой котенка. Котенка мне подарил Иваськин, он сказал, что у него еще четыре таких же точно есть, так что ему не жалко. Бабушка говорила, что хорошим людям надо желать хорошего, и поэтому я пожелал, чтобы у Иваськиных котят никогда не кончались.

Котенку был ровно месяц, когда я его притащил. Я запомнил этот день, чтобы знать, когда у него день рождения. Назвал я его Супчиком, потому что он был рыжий, как тыквенный суп, который мама иногда варила осенью и который я обожал за его цвет. Супчик, когда спал, сворачивался клубочком, как будто бы для того, чтобы его поместили ровнехонько в глубокую тарелочку.

Но, когда не спал, Супчик вел себя очень бойко. Он носился по дому, повисал на шторах, забирался на комод, стаскивал со стола скатерть с чашками и даже один раз застрял между диванными подушками.

Через неделю такой активной жизни Супчик однажды утром взял и выпал с балкона. Мы живем на четвертом этаже, так что это серьезно. Я в это время прозябал в школе, где во имя Ефимыча написал контрольную по математике на тройку с плюсом. Когда я пришел домой, Супчик лежал на подстилке с открытыми глазами и не шевелился. Только дышал как насос.

Вечером мы с папой понесли Супчика на рентген, и врач сказал будничным голосом, что у нашего кота сломана лопатка и есть повреждения внутренних органов. Он велел Супчику и дальше лежать и не двигаться.

На следующий день после этого происшествия я не пошел в школу, а прямо с рюкзаком отправился на вокзал. Там я купил билет до Кольвани (чтобы достать до окошка, забрался на рюкзак). Вы скажете, что мне повезло, потому что одному ребенку ни за что не продали бы билет на электричку, а я скажу, что мне помогал мой личный, персональный бог Ефимыч.

Я не стал заходить к бабушке, а сразу же отправился к Ефимычу. По дороге на свои карманные деньги купил кусок колбасы: приношения богам могут быть всякими разными. Мой бог колбасу очень любил, я это еще с прошлого раза запомнил.

— Ну, перекажи тебя набок, — весело поприветствовал меня дед, когда я вошел в калитку, — ты чего, в гости к бабке? Или куда? С рюкзаком, важный какой, смотрите на него!

Он сидел на скамейке под открытым пыльным окном с развевающейся занавеской, покачивая ногой в дырявом тапке, и курил свою воющую папироску.

— Ефимыч, — попросил я его серьезно, — у меня к тебе дело.

И рассказал про Супчика.

— Ну так чего, то ж кот, как ты его дома-то удержишь? — пожал плечами Ефимыч. — Вона наши каждую ночь на дискотеки ходят. Он же молодой. Все молодое трепыхается. Все шевелится. — И он задумчиво уставился в небо, где, по-моему, совсем ничего интересного не было — только одно облако в форме козье́й бородки.

— Хорошо бы, Ефимыч, у тебя был мобильник, — вздохнул я, болтая ногами рядом с ним на скамейке.

Но дед только фыркнул, кинул окурок под лавку и почесал лысину. А я подумал: как хорошо иметь бога, с которым можно вот так запросто посидеть на лавочке и поговорить о жизни.

До обеда мы с Ефимычем сотворили несколько действительно полезных дел: сходили на речку и проверили мордушки, поели колбасы с черным хлебом и молоком, спели три песни от начала до конца под гармошку. Я показал свой дневник и прописи. Ефимыч и то и другое одобрил. Невзирая на оценки.

Потом мы пошли к бабушке и та чуть не упала в обморок, когда меня увидела. Потом позвонила мама, они с бабушкой о чем-то поспорили, и в конце концов мы поели супа и пошли на станцию. Бабушка, волнуясь, посадила меня на электричку и договорилась с какой-то женщиной, что та за мной присмотрит.

В городе всю дорогу от вокзала до дома я молчал и обдумывал то, что на прощание услышал от Ефимыча. Когда бабушка конвоировала меня за руку по пыльной деревенской улице, причитая, чтобы я застегнул куртку и не шаркал ногами, я оглянулся на дом, где у забора болтался Ефимыч. Он, как обычно, припевал какую-то ерунду, курил, щурился от дыма и иногда кашлял. И вдруг, когда мы проходили мимо, наклонился через забор и ляпнул:

— Зарой и плюнь.

От Ефимыча слегка пахло привезенной колбасой и очень густо — принятой стопочкой.

Мама, когда меня встретила, дорогой молчала, и я не знал почему, я-то думал, она будет меня ругать и вслух перечислять самые страшные наказания, которые я готов был бы вынести во имя Ефимыча — самого беззаботного и счастливого бога на свете. Однако дома мне все стало ясно. Подстилка Супчика опустела.

Я все понял. И начал плакать как маленький. Наверное, сильно устал за этот длинный день.

— Где Супчик? Где Супчик? Куда вы его дели?

Наконец я так замучил папу, что он сознался, что положил Супчика, когда тот перестал дышать, в пластиковый мешок и вынес на помойку. Так, они думали, мне будет легче — если я его не увижу. Только легче не стало.

Было почти темно, когда мы с папой откопали обратно этот пакет с Супчиком среди другого мусора, чтобы положить его в коробку из-под кроссовок. Потом мы папиной гаражной лопаткой вырыли ямку под дубом неподалеку от моей школы, где сходились и расходились одна с другой две дороги. Было уже совсем темно, и никто внимания на нас не обращал.

Сначала папа не хотел рыть:

— Его тут все равно собаки раскопают.

Он качал головой и упирался, хотя я его так уговаривал, что он в конце концов сдался.

Я все повторял свое и канючил, как будто мне три года, а не девять:

— Мне так Ефимыч сказал. Ефимыч сказал.

Папа сквозь зубы ворчал что-то типа: «Накостылял бы я этому Ефимычу», но я на него не обиделся. Это ведь мой личный бог, а не папин.

После всего я честно поплевал на Супчикову могилу три раза (так мне показалось правильнее всего).

Грязные и усталые, мы наконец пошли спать, и на следующее утро я проспал школу, а мама с папой проспали работу. Именем Ефимыча воистину творятся добрые дела.

Прошла неделя, и я сильно заскучал по Супчику. Я часто ходил к дубу проверять, как он там и не выросло ли, например, на нужном месте дерево с новыми котами, вроде как в сказке про Хаврошечку.

И вот однажды в воскресенье папа пришел домой из магазина подозрительно веселый. Он поставил на пол пакет с хлебом, молоком и макаронами. Куртка у него намочила от дождя и топорщилась на груди. Из-под куртки мы с мамой услышали тихое мяуканье. Папа расстегнул молнию, и на пол спрыгнул Супчик. Он немного подрос, конечно, и, кажется, одно ухо у него стало белым, а не рыжим, но ведь он проделал долгий путь, разве нет?

— Где ты это взял? — прошипела мама у меня за спиной.

— Иваськин, — одними губами ответил папа, с опаской косясь на меня.

Я все слышал и видел, я не младенец. Однако я знал правильный ответ.

Велик Ефимыч. Он могуч и справедлив к тем, кто в него верит.

Я прижал к себе Супчика и немедленно пошел в комнату сочинять молитву. Еще не знаю, какой она у меня получится, но начинаться должна так: «Живи вечно в своем маленьком деревянном домишке в поселке Кольвань, милосердный и счастливый бог Ефимыч! И да пребудет с тобой мобильник...»

Алексей ГРЕБЕННИКОВ

ДУХ БОБРА

Р а с с к а з

Меня в лесу боятся. Когда я выхожу из хаты, звери разбегаются, освобождая мне дорогу. Ладно белки с ежами — лось прекращает водопой, плавно поднимает красивую голову с рогами, смотрит якобы в сторону, однако за моими движениями следит. Если я направляюсь в его сторону, он так же красиво и плавно, но стремительно улепетывает в чащу. Дятел, давясь, проглатывает червячка и, уворачиваясь от веток, улетает. Семейство волков покинуло насиженные норы и перебралось на другой конец леса, с тех пор как я здесь поселился. Даже пауки прячутся за листья, отпуская мух и мотыльков. Я ужасен. Я страшен. Меня зовут Федор. Я — бобер. И я говорю правду. Говорю правду обо всем, что вижу, особенно правду о тех, с кем начинаю разговор. Я не умею лгать. Это такое у меня достоинство. Жаль, окружающие не ценят его.

Неторопливо иду по своим делам. Сначала надо перекусить. Прекрасное все-таки место я нашел у этого водопоя, где недавно выстроил хатку. Всегда сочные молодые побеги багульника, саранка, черемша. Территория удобная. Берега тут пологие и крепкие, поэтому лесной народ издревле приходит сюда пить воду. Последнее время, правда, ему приходится делать это быстро или искать другой источник.

Кушаю осоку. Так, ерунда, больше зубы размять и желудок. Почесав пузико, иду удовлетворить потребность в общении. Что поделать, поговорить я люблю, хотя и не всегда удается. На крайний случай у меня есть друг. Единственный. Глухарь. Глухой как пень. Но слушает внимательно, не убегает. Иду к нему. Может, еще кто по пути попадется.

Мой день сегодня. И ста метров не прошел — встретил молодого зайца. Глупость он сделал. Меня почуяв, вместо того чтобы убежать, юркнул в старую барсучью норку под корнями большой сосны. Я, конечно, остановился, грамотно заслонив дорогу к отступлению.

Словно ни к кому не обращаясь, я начал:

— Нет больше в нашем лесу морали! Раньше-то не сильно блистали добродетелью, а ныне совсем распустились. Превратно понятый дух свободы, отсутствие авторитетов или еще что, я не знаю, только современники ведут себя совершенно безнравственно и безответственно. И я готов доказать это с фактами в лапах. К примеру, третьего дня некто белый и пушистый, пардон, серый и пушистенький по сезону отправился к осиновой опушке. Хотя место и красивое, но с недавних пор поблизости там живет волчье семейство, да и люди, бывает, появляются, поэтому другие зайцы стараются обходить его стороной...

В норе затихли.

— Что же понесло туда нашего героя? — возвысил я голос до форте.

Молодой заяц предпринял попытку к бегству. Техническим движением бедер пришлось отправить его обратно. Слушай, слушай, брат, как уши ни прижимай, все равно услышишь.

— Озираясь и дрожа, как та осина, под которой он остановился, наш герой смело замер в опасном месте. Чего он ждет? Чу, слышался робкий шелест изящных прыжков. Вот и она, юная зайчиха благородного рода, еще не успевшая связать свою судьбу официальным браком. Вам нужны подробности? Вот они. Не теряя даром времени, не говоря лишних слов, наши друзья тут же соединились в уютной ложбинке, устеленной мягкими листьями. От их страсти осины листья потеряли, не дождавшись осени, рябина покраснела раньше времени. Волки испугались криков страсти. Ну ладно, про волков я соврал. Но в остальном! А ведь у него семья. Дети. Маленькие миленькие зайчаточки. Штук семь, если я не ошибаюсь. Однако он, рискуя жизнью, своей и чужой, предается похоти.

Я сардонически засмеялся.

— Низменная слабость, глупое, безвольное следование основным инстинктам ведут в могилу. Горе несчастным близким этого дурака! — почти завыл я.

В отчаянном броске, ударившись башкой о нижнюю ветку, мой слушатель белой молнией скакнул в лесные дебри. Ушел. Эх, нет чтобы с пользой для себя и других прислушаться к мудрости старших, извлечь уроки из происшедшего, воспользовавшись незамутненным взглядом со стороны. Нет. Нам это не нужно.

Я постоял, посокрушался еще немного и продолжил путь.

Но друга-глухаря на привычном месте не оказалось. Токовать, что ли, ушел? Тоже мне поп-звезда. Тут я, правда, вспомнил, что слух прошел: старый кедр упал, самое древнее дерево нашего леса. Пойду посмотрю.

...Кедр переломился у самого корня. Молния ударила или от века состарился и сам развалился? Много веков он здесь простоял. Может, тысячу лет. Я подошел поближе и заглянул в разлом. Оттуда, словно

кровь, вытекла смола. Взять, что ли, пожевать? Говорят, для зубов полезно. Ближе к сердцевине остались кусочки старой, засохшей, доисторической смолы. Дай-ка попробую пожевать эту, что мои предки жевали. Недолго думая выковырял я кусочек из самой середины. Ух ты! Твердый как камень. Ничего, зубы у меня крепкие, да и слюна как кислота, любую органику разъест.

Усердно работая челюстями, я огляделся. Рядом с тем местом, где я добыл смолу, скол прошел вертикально и обнажилась поверхность кольца, совсем близкого к сердцевине. С удивлением увидел я на ней знаки. То, что это именно пиктограмма, нанесенная людской рукой, не было никакого сомнения. Как же они туда попали? Не иначе колдовским образом. По преданиям, в незапамятные времена наш кедр служил древним людям священным деревом и около него устраивались магические ритуалы. Между прочим, племя, которое здесь жило, поклонялось Духу Бобра, и мои предки работали у них тотемными животными. Вот, должно быть, была выгодная и хлебная должность! Я живо представил себя шамана, который пляшет вокруг дерева и специальной кисточкой наносит дымные знаки. Интересно, что здесь написано?

Первый знак представлял собой стилизованное изображение бобра. Ну, это понятно. Священное животное, символ племени, все такое. Следующий рисунок, однако, недвусмысленно изображал казнь бобра. Да-а-а, видимо, не такую уж выгодную должность занимали мои предки. И дальше тоже было не очень понятно. Вроде кулинарного рецепта в картинках. Как приготовить коктейль из крови бобра и кедрового сока. И последний знак — лицо человека, но с удвоенным количеством органов: два носа, два рта, четыре уха, четыре глаза, а подбородок один. Может, инопланетянин? Я хоть и в лесу живу, а про научный взгляд на мир слышал. Включая то, что мы не одиноки во Вселенной. Хотя я вот одинок. В моей вселенной.

Я вздохнул. Взгрустнулось, что ли? Я вообще-то редко расстраиваюсь. В основном желудком. А тут... Картинки навяли? Ну, убили моего прапрадедушку. Все мы смертны... Все равно состояние грусти и тоски усиливалось. Я даже перестал жевать. Даже смолу выплюнул.

Голова вдруг закружилась. Смола, наверное, наркотическая. Мир все быстрее завертелся вокруг меня и вдруг резко рванул навстречу.

Лена проснулась в чудовищном настроении. Нет, ничего не болело, ни голова, ни печень, хотя она точно пила вчера текилу. После вина и пива. Не так пугал провал в памяти, как точное осознание, что она вчера натворила, не могла не натворить. Вопреки всему, теплилась слабая надежда, что обошлось, но ее, конечно, было мало. Надежды, что обошлось.

Надо позвонить сестре. Да, сначала сестре. Вадику звонить слишком страшно.

Медленно встала, умылась. Старательно не смотря в зеркало, пошла на кухню пить чай, оттягивая неприятный момент. Но сколько ни оттягивай...

— Привет, я тебя не разбудила?

— Нет, ты меня не разбудила.

Вроде голос не обиженный, веселый. Хотя, может, злая ирония?

— Ну, говори.

— Че говорить-то? Хе-хе. Какие именно подробности тебя интересуют, откровенная ты моя?

— Что я ему успела сказать?

— Вадику-то?

Точно, издевается.

— Ну?

Томительная пауза.

— Что сказала... — Опять пауза. — Что ты могла сказать? Ты всегда в таких случаях говоришь только одно. Правду!

Лена безнадежно застонала. Только не это!

Словно заторопившись, Лиза, сестренка родная, продолжила:

— Ты ему все высказала, все-все, что о нем думаешь, все, что он про себя и так знает. Или догадывается. И что дела у него говенные. И что ты его ждешь, ждешь, а он времени тебе уделить не может. Потому что проблемы у него говенные. А тебе нормальный парень нужен. Чтоб семья. Хотя бы с восьми вечера. А сейчас пусть он идет куда подальше, потому что тебе надо с сестрой побыть. Побыть и выпить. А его пустая болтовня и уговоры тебя не интересуют. И так далее.

— О-о-о...

— Вот тебе и «о-о-о».

— Лиза, как мне быть, скажи.

— Как быть, как быть... Как обычно. Подожди до вечера, а если сам не позвонит, сожми, блин, свою кайфовую гордость в кулак и ползи прощения просить на коленочках. Хотя я бы на твоём месте прям щас начинала выползать. А то, поди, переживает на своей говенной работе на ГЭС, еще с горя какой рубильник не тот нажмет, и пиши пропало — смочет нас к чертям собачьим, и все по твоей вине.

— А если он не простит?

— Имеет право. А если не простит, найдешь другого. Такого, который тебя, дуру, вытерпит.

— Не найду-у-у... Мне другой не ну-у-ужен...

— Поплачь, поплачь! Слезами горю не поможешь!

— А-а-а, ты жестокая...

— Я-то? Я — нет.

И трубку положила.

Тут от горя ли или еще от чего привиделось Лене, что она животное, мохнатое и с усами. И ветки ест. Прямо с листьями. Всё. Ку-ку поймала.

Это в наказание мне. Жизнь себе разрушила. А может, и Вадику тоже. Точно, я животное. Обрасту сейчас шерстью и уйду в зоопарк. Гиеной работать, смрадной и вонючей. Там мне самое место...

— Привет, ваше высочество! Как самочувствие?

— Вадик, это ты?

— Нет, это твоя больная совесть тебя беспокоит. По телефону.

— Вадик, я больше не буду! Честное слово! Это все Лиза виновата, она мне говорит: давай выпьем да давай выпьем. Текилы. Вот и...

Господи, приснится же такое! Я (это я-то!) превращаюсь в самку человека. Какая удивительная трансгендерная перверсия! Надеюсь, вы уловили весь непередаваемый сарказм последней фразы. Конечно, я абсолютно гетеросексуален. И, разумеется, не зоофил.

Раньше людей много в этих местах было. Пока плотину не провало. Большая была плотина, огромная, энергию вырабатывала. Электрическую, чтобы деревья не жечь. И правильно, что их жечь, когда съесть можно? Целое море за ней плескалось. Но что-то не так пошло. За плотинной — за ней ухаживать надо. Не так что построил — и на этом все. Следить надо. Не уследили, видать, вот море и выплеснулось. И людишек смыло. Туда и дорога, нечего воротники из бобров делать. Обезлюдела местность, значит. Вот звери потихоньку и заселили эти края.

Однако, сон необычный. Съел, наверное, что-то не такое. Точно. Смола! Смола с рисуночками. Прямо колдовство и мистика в нашем насквозь материальном и пошлом мире. Надо держаться от этого места подале.

Не успел я успокоиться, как нахлынули воспоминания. Пожевал молодых побегов осоки — не помогло. Сон проклятый наваял.

Вспомнил свою историю. Вообще-то, мы, бобры, существа семейные, тяготеющие к моногамии. Меня тоже, знаете, эти шведские варианты не прельщают. Не успеешь оглянуться, как запутался. Была и у меня. Одна. Девушка. Попа круглая, хвост пистолетом. Характер хороший. Молчала все больше, не перечила. Говорила, милый, и откуда ты все знаешь? Уважительная, глаза опускала. Улыбка прекрасная, с большими зубами. Э-эх... Вот я хвост и распустил. Хатку совместную уже начали строить, небольшую, пятнадцатикомнатную, на четыре выхода. Тут она и обиделась. Что ты, говорит, все меня пилишь, то не так стою, то не так грызу? Заплакала и уплыла. Вниз по течению, только и видали. А что я? Я хотел как лучше. Что молчать-то, когда в интересах дела? Все они предательницы — эти с круглыми попами...

А может, лучше промолчать иногда?

...Вроде живу по-прежнему, а тянет меня к тому месту. Будто незаметно, а поближе сворачиваю. С другой стороны, что я, заяц трусливый?

Смола это действует или просто единичный случай произошел? Надо всё испытать, все точки над «и» расставить.

— Правду! Я расскажу вам правду! — завыл шаман и заковылял к священному дереву, держа под мышкой большого придушенного бобра с завязанной мордой и лапами.

Бобра было жалко. Каяк долго приманивал его на дальней запруде, планируя подарить красивую шкурку жирного зверька Танье. Пусть себе жилетку сошьет или еще что на бедра, пусть благосклонно на Каяка посмотрит. Но на входе в стойбище караулил шаман, не иначе следил за ним, сказал: жертва нужна. Срочно. Теперь Танья на шамана благосклонно будет смотреть. По закону останки жертвенного животного, включая шкуру, доставались служителю культа.

— Беда! Нас ждет беда! Вижу! Все вижу! Большая вода придет! С верховьев! Все затопит, никого не пожалеет!

— Когда? Когда придет? — заволновались соплеменники.

— Пока не знаю! — чуть тише загундел шаман. — Бобра сейчас отправим к духам будущих времен, он мне оттуда дату укажет, — пояснил он, деловито подвывая.

Племя слегка расслабилось, надеясь не без оснований, что слишком скоро с насиженных мест сниматься не придется: были случаи, когда шаман видел уж больно далекие перспективы, не имеющие практического значения.

На этот раз шаман споро, чтобы не потерять интереса аудитории, привязал бобра к дереву и поджег заранее приготовленный валежник из смолистых и подмоченных веток. Чтобы едкого загадочного дыма было побольше, с сарказмом подумал Каяк. Большая вода, значит. Озеро будет, значит. Рыба будет, бобров будет больше. Лодку изобрету по озеру плавать, размышлял Каяк. Моим именем назовут. Еще неизвестно, на кого Танья благосклоннее смотреть будет.

Несмотря на ревность, шамана Каяк скорее уважал. Тот действительно часто приносил племени пользу, подсказывая разные умные и хитрые вещи. Словно в самом деле общался с духами будущих времен, где люди обустроили свою жизнь практично и удобно. Это свойство шамана подтверждалось тем, что иногда он выкрикивал незнакомые длинные слова, которые в племени никто не слышал, которые и сам он тотчас забывал. А Каяк помнил. Память у него на звуки была хорошая. Мог любое слово повторить, любую птицу или зверя из леса передразнить. Злоупотреблял этим, передразнивая кое-кого из племени. Били даже. Но потом опять просили показать.

Вот и сейчас, желая поддержать интерес публики, шаман провёл красивые незнакомые слова:

— Ка-та-стро-фа! Погибнем! Мы, тро-гло-ди-ты, вымрем, как три-ло-би-ты!

Высокий, костлявый, потряхивая короткой бородкой, завитой в косичку, шаман закружился вокруг священного дерева, размахивая кри- вым острым ножом перед бобриной мордой. Страшно. Несчастное жи- вотное обделалось, попав шаману на ноги. Тот даже не заметил, танцуя в экстазе.

Взмах ножа — и над поляной раздался тонкий визг, разрывающий нервы. В этот момент Каяку показалось, что это он сам и есть накрепко привязанный к священному кедру жертвенный бобер, которому сейчас вырвут сердце, и мир умрет вместе с ним. И он тоже не сдержался живо- том от страха.

Короче, подсел я на это дело. Жить стало неинтересно без этих осо- бенных снов. Где и кем я только не был. И вождем и нищим, простым мещанином и разбойником с большой дороги. Невестой на выданье и во- ином на коне в странном островерхом головном уборе с синей звездой. Всегда в человеческом обличье. Я даже почти привык к этим двуногим тварям. Даже отчасти научился управлять своими «персонажами», под- сказывая, как им вести себя в тех или иных ситуациях. Однако я чувство- вал, что придется заплатить. Каждый кончик каждого волоска на моей прекрасной шкуре кричал: все веселое рано или поздно заканчивается. И счет будет обязательно.

В это утро Вадим оделся особенно тщательно. Предстояло важное совещание, такого уровня — первое в его жизни. Недавно его назначи- ли заместителем главного инженера одной из самых больших гидроэлек- тростанций страны. Третьим заместителем. Хотя главный скоро уйдет на пенсию, и карьерная лестница снова придет в движение. В общем, стать первым замом — это совершенно реально. В тридцать два года. А там посмотрим.

Узел галстука никак не хотел ложиться, и Вадим терпеливо раз- вязывал и завязывал его, добиваясь правильного вида. Это важно, се- годняшнее совещание проводит новый министр энергетики, специально прилетевший на ГЭС из Москвы, за свой нрав и внимание к мелочам прозванный «Чубайсом». Правда, и конопатая физиономия тоже сыграла свою роль. Говорили, что новый министр не только внимательный, но и злой. Такой злой, что даже взятки не берет. На ум как-то сразу пришел директор станции, наверное, для контраста.

...Совещание тянулось медленно и в полной тишине. Слышно, как муха где-то жужжит. Новый министр с каменным лицом слушал, как по- теющий лысый директор монотонно бубнит, что, по данным прошлогод- ней проверки Ростехнадзора, допустимые параметры на ряде агрегатов критично отступали от нормативных, но в ходе плановых работ освоено полтора миллиарда, а вибрации при предельно допустимых оборотах на таких машинах, на таких уникальных машинах еще до конца не из-

учены, и все будет хорошо, раз такие большие деньги так удачно освоены.

Сидя с прямой спиной, Вадим думал, что за компанией, победившей в конкурсе, стоит сын директора, зарегистрирована она буквально позавчера, работы же проводились абы как и в основном персоналом самой станции. И что так можно и доиграться, а внизу поселок, семнадцать тысяч жителей, а дальше, за каскадом, большой город-миллионник. Нельзя играть с природой, мы же люди, не бобры какие-нибудь, строители плотин.

Вадим словно наяву увидел себя в виде коллеги бобра-строителя, с усами и широкой печальной улыбкой. Стало тошно. И очень страшно, как перед прыжком с высокого обрыва.

— Кто-нибудь желает добавить? — Министр тяжелым взглядом обвел зал.

Тишина. Только Вадим поднял руку:

— Я хотел бы сообщить о некоторых проблемах, напрямую связанных с безопасностью людей...

Рассказывая правду про шестой агрегат, он краем сознания подумал, что вряд ли доживет до сегодняшнего вечера и надо позвонить Ленке, соврать что-нибудь, чтобы не беспокоилась, типа что может неожиданно уехать. С министром. В командировку. Чтобы по больницам не звонила.

Вот она, моя любовь к правде. Не довела все-таки до добра. Бобра. Если катастрофы не будет, значит, и меня не будет. Не прорвет плотину, не выплеснется море, не пройдет по нашим местам серебряным валом, сметая людей, не заселят эти места звери, включая моих родителей, которым не суждено будет встретиться. Таковы законы вселенной, насколько я их понял, путешествуя вне времени и пространства.

Что ж делать? Жалко людишек, тоже по-своему разумные твари, хотя и на двух конечностях ходят. Но и себя тоже очень жалко. Что делать? Я могу, конечно, заставить своего персонажа сказать неправду, заставить замолчать. Однако не буду этого делать.

Правда есть правда, не буду я бобер по имени Федор.



«ПЕТУНИЯ У МОНАСТЫРСКИХ СТЕН...»

Татьяна ЗЛЫГОСТЕВА

* * *

Петуния у монастырских стен,
Петуния и дикий виноград.
Неполное столетие назад
Большевики взорвать его пытались,
Но удалось, однако, не совсем —
Не только стены — дух монастыря,
Свет времени, на кирпичи налипший,
Смирение и тишина — остались.
И этого довольно
Больше чем.

Все правда здесь — соринка муравья,
Ползущего по круглому бутону,
И заросли куриной слепоты,
Строительные бурые леса,
Скамейки и глубокие бойницы.

Напрасно прихожане суетятся —
Тут никаких не нужно реконструкций,
Их пестовать — практически соблазн:
Все время, припасенное для нас,
Стоит столбом — колодезь вверх, не вниз.
И держится не стенами, конечно.

И горсточка холодного стыда.
Гляжу вокруг: ромашка, вьюн, пырей —
Все к месту, все в призвании своем,
И мягко подгибаются колени,
Я слышу, нет, я чувствую вопрос:
«Что делаешь?»

Да просто трачу время.

* * *

Как странно, что из мелких нестыковок,
Из зерен незначительнейшей лжи,
Рассыпанных в пылу вчерашней ссоры,
Из разных «отвечай мне» и «скажи
Хоть слово, ну скажи хоть слово»

Античная трагедия растет
И расцветает георгином алым —
От страсти распустился красный рот
Дробящим мир безумным интегралом.

Когда жена недобрая орет,
А муж, шипя, ползет под одеяло
И думает, что, в сущности, — змея,
И чувствует себя невиноватым,
То ко всему привычная земля
Лишь щурится во тьму подслеповато —
Что человек, ей все одно, что атом —
Все гомогенным слоем зарастет.

Как странно — дела нет, но тело есть.
Озноба нет, но ты продрогший весь.

Хороший камень, добрая скала,
Вечерний бриз, отличная зола.
Шепчи ему на ушко те слова,
Которые услышать хорошо,
Когда последний гость уже ушел —
И он не сможет думать,
Нет, не сможет.
И вот тогда-то на безличном ложе
Цветок, как циркуль точный, прорастет —
Здесь только шум шипящих,
Шум шипящих,
Поддельных нет,
Но нет и настоящих,
Здесь нет тебя,
Меня тем паче нет.

Но утром станет ясно, кто кого.
Не видно солнца из-за облаков.

Но виден занимательный сюжет,
Отчетливый, пронзительный, конкретный,
Простой и концентрический, но бурный:

Хотя любили оба беззаветно,
Один другого с потрохом сожрет:

Уже открыт глубокий темный рот
У белой маски,
вставшей на котурны.

Владимир ЗАХАРОВ

Стихи о строительном мусоре

Франция производит четыреста сортов сыра.
Генерал де Голль сказал:
Народ, производящий четыреста сортов сыра, неуправляем!
Генерал де Голль умер, он больше в Москву не приедет,
и поэтому из новых кварталов
не вывозят строительный мусор.

Страна моя! Меня волнует мусор,
который ты повсюду оставляешь
беспечно на откосах новостроек,
он застарел, на нем играют дети
и расцветают желтые цветы.
Увы, мои друзья не понимают,
как много может причинить он боли,
они привыкли к мусору, и это
меня волнует более всего.

Страна моя, поговори со мной!
Ты помнишь — ты мирволила, журила,
потом прочла, теперь уж не забудешь,
поставить памятник — не соберешься.

Ты больше любишь старших сыновей,
когда они гуляют на просторе,
на море с берегами из бетона,
ты к ним щедр на пиво с бастурмой.

Когда они поутру спят с похмелья,
их веки тяжелы, как веки Вия,
тогда над ними кружит кошка-смерть
и с Виём говорит по телефону.

Теперь в Париже новый президент.
У нас же на просторах Подмосковья
такие одуванчики цветут,
что новых президентов нам не нужно.
У нас в девичьей зелени бульваров
выходит юность новая на смену
стареющим беспутным сыновьям,
еще плетущим кружево поступков
как сеть, чтоб ею время удержать.
Но время удержать им не удастся.

Не надо и удерживать его,
оно меняет все — и адреса,
и номера старинных телефонов,
пестрят в газетах траурные рамки.
На время нынче вся у нас надежда:
мы веруем, что мусорные горы
течением естественных процессов
должны однажды так преобразиться,
чтоб вдруг произросли на них цветы
не хуже, чем в каком-нибудь Париже!

Не при моей, конечно, жизни
случится это. Но пускай мой дух,
узнав, что с дома моего проклятье снято
и кончился тысячетный сон,
переселится в бабочку. И в мае,
перелетая подмосковный лес,
сквозной, с серо-зелеными стволами
осин, качающих младенческие листья,
порхая, оседая на траву,
влетит в великолепие окраин
и где-нибудь под аркою резной
иль на плющом опутанном балконе
окончит круг земного бытия,
своих печальных перевоплощений,
и в нежном майском воздухе растает.

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ

ГОРОД НА РЕКЕ ЧИСТОВОДНОЙ

Историческое повествование

На острие Смутного времени

Семнадцатый век начался для России природным бедствием. Все лето 1601 г. не переставая лили дожди. Затем грянули преждевременные морозы. Страна осталась без нового хлеба, без семян. В следующем году, как значится в «Русском хронографе», из-за сильных холодов вновь «не добыши люди хлеба». Это породило лютую спекуляцию старыми запасами. В 1603 г. большинство полей остались незасеянными. Начался повальный голод, эпидемии, бунты. Россия, которая, по свидетельству современников, в первые годы царствования «выборного государя» Бориса Годунова (1598—1600) «цвела всеми благами», вдруг превратилась в «гнездо раздоров».

Давняя болезнь, преклонный возраст, ставшее неожиданно тяжким бремя власти подточили силы Годунова. Восемнадцать лет правил он страной — сначала именем блаженного шурина Федора Иоанновича, затем своим. Немало «достохвальных дел» успел он «управить» за эти годы: патриаршество на Москве учредил, превратив ее в Третий Рим, шведов под Нарвой разгромил, вернул России Ивангород и Копорье, одолел крымского хана Казы-Гирея, перемирие с Речью Посполитой на двадцать лет заключил, ближнюю Сибирь накрепко обустроил, торговлю и книгопечатание заметно расширил, столицу водопроводом и другими техническими новшествами «удивил», многие славные города-крепости поставил и среди них Воронеж, Ливны, Елец, Белгород, Оскол, Курск, а в Сибири — Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тару, Обдорск, Салехард, Нарым, Мангазею, Кетск... Но разве в погибельную пору хорошее помнится? Его обычно прошлые обиды и текущие напасти затмевают.

Так случилось и на этот раз. Откачнулся народ от «злосчастного» царя, не сумевшего остановить свалившиеся на Россию несчастья, с каждым годом все громче и громче роптать на него стал. Вновь пошли гулять по стране слухи, будто царевич Дмитрий, сын Иоанна Грозного, вовсе не погиб в Угличе ребенком, а чудом уцелел от ножа злоумышленников, подосланных Годуновым. Где ныне царевич, под каким именем скрывается — никому не ведомо. Оно и к лучшему:

меньше знаешь — целее будешь. Важно другое — непоколебимо верить, что он жив, что в нужный час объявится и сгонит с престола Рюриковичей «худородного Бориску», даст всем спокойствие и благоденствие.

Ждали. Верили. И не напрасно: царевич и правда объявился. Его загадочная история рисовалась так: сначала он прятался от ищеек Годунова у добрых людей, потом в монастырях, куда его взяли «для бедности и сиротства», а когда его наконец выследили, вынужден был бежать в польско-литовские земли. Там его законные права готовы были признать не только вольные казаки, Литва и Корона Польская, но и весь честной люд, которому Годунов давно «испротивел». Даст бог, царевич над Годуновым верх возьмет. Вот тогда и воспрянет народ телом и духом.

Весть о появлении «восставшего из мертвых» царевича Дмитрия оглушила Годунова, вызвала гнев и ужас. Больше всего на свете он любил сына-подростка, ненаглядного Федора, ему надеялся передать царский скипетр. И вдруг на тебе — какой-то самозванец выскочил как черт из преисподней и покушается не только на власть самого Годунова, но и на будущее сына. Если вовремя не остановить его, много бед может наделать. Россия, как сухой хворост, от малейшей искры вспыхнуть готова. Что, если это и есть та искра?

Справившись с первым потрясением, Годунов велел доложить ему все, что удалось узнать о личности самозванца. Слушал жадно, стараясь не упустить ни одной мелочи.

Картина в общих чертах рисовалась такая: имя царевича Дмитрия «положил на себя» некто Юшка (то есть Юрий) Отрепьев. Предки его выехали на Русь из Литвы и осели в Галиче и Угличе. Отец, стрелецкий сотник, зарезан по пьяной драке в Немецкой слободе на Кукуе. Рано оставшись без отца, Юшка «домашним образом» постиг грамоту, и притом весьма успешно. Благодаря родственным связям попал на службу сначала к Михаилу Романову, затем к Борису Черкасскому, а это наипервейшие супротивники Годунова. Спят и видят на троне одного из бояр «царского корени». В конце 1600 г. вместе с другими заговорщиками Романов и Черкасский были схвачены. Их «ближних» слуг тоже похватили. Измучив пытками, предали опале. Но Юшке Отрепьеву удалось скрыться. Тогда-то и надел он монашеский куколь, стал смиренным чернецом Григорием. Верные люди помогли попасть ему в наипервейший на Руси кремлевский Чудов монастырь. Ну а дальше Отрепьев своими талантами выдвинулся. Быстроумен, на язык боек, каллиграфическое письмо в совершенстве освоил. За то и взяли его на патриарший двор — книги переписывать, каноны святым слагать. Видя такое «досужество», патриарх Иов на «сидения» Боярской думы стал его «имать», так что о кремлевской жизни самозванец не понаслышке знал. Такой и за царевича вполне сойти может. Не зря же поляки и литва за него уцепились. Им только повод дай в великорусские пределы залезть, все, что плохо лежит, к рукам прибрать. Они и козла вонючего ради своей выгоды серафимом признают...

Так вот всего за несколько лет вызрела, пошла вширь и вглубь первая русская смута. Разлад между народом и правителями дошел до крайности. Низы жаждали доброго царя, а значит, справедливости. Верхи никак не могли поделить власть, корыстовались, местничали, то есть считались чинами и титулами, а не умом и способностями. А голод между тем опустошал города и селения,



ожесточал нравы, рушил былые скрепы в народе. Дошло до того, что люди перестали слышать друг друга, понимать, что происходит, отдались на волю сокрушающих порядок и нравы стихий.

Посланник русского царя

Драматично развивались события и на просторах Сибири. В то время как народы Нижнего и Среднего Приобья приняли российское подданство, стали частью Московского государства, Южное Зауралье продолжало страдать от раздробленности и межнациональных убоиц. Сюда за легкой добычей приходили бухарцы, кыргызы, черные и белые калмыки и другие степняки-кочевники. Они забирали скот, пушнину, невольников, обкладывали мирные малочисленные племена непосильной данью. Вместо того чтобы объединиться в противостоянии набегчикам, «лучшие люди» сибирских племен множили личную вражду. Лишь немногие были готовы во имя общего блага поступиться личным интересом.

Одним из таких людей был бикмурза (иначе говоря, большой князь) татарского племени эушта Тоян. Его охотничьи угодья и рыбные ловли находились в низовьях реки Тоом (в русском звучании Томь, Тома). По соседству располагались владения его ближних и дальних родичей — Басандая, Еваги, Тигильдея, Енюги и Ашкинея. Но узы их родства давно подточила взаимная неприязнь, желание одних потеснить других. Тоян пробовал образумить соплеменников. «Обидами считаться — единство потеряем, — говорил он. — Даже собаки, завидев волка, забывают о вражде между собой. А мы люди. Опомнитесь!» Ему возражали: «В один сапог две ноги не затолкаешь. Каждый должен идти своей дорогой».

Тогда-то и пожаловал к эуштинцам посланник русского царя тобольский послужилец Василей Тырков. Одарив Тояна серебряными ковшами и одеждами, тисненными чепраками с бисером, он вручил ему ярлык «за государственной красной печатью». А говорилось в том ярлыке, что «царь и великий князь Борис Федорович всея Руси» зовет эуштинцев в подданство и обещает им «ласку и привет, и великое бережение». Затем Тырков поведал о том, как сорок пять лет назад правитель Сибирского ханства Едигер отправил своих доверенных людей Тягрула и Панчаду к тогдашнему русскому царю Иоанну Грозному — просить, чтобы тот «всю землю Сибирскую взял во свое имя и от сторон ото всех заступил». Почему он это сделал? Да потому, что сын шибанидского хана Муртазы Кучум, потомок Чингисхана, замышлял захватить его земли. Так уж получилось, что Кучум-хан опередил Грозного, согласившегося взять Едигера «под свою высокую царскую руку». Наскочив на Сибирское ханство хорошо вооруженным бухарско-ногайско-башкирским полчищем, он убил Едигера и его соправителя Бекбулата, обложил поклонявшихся идолам татар и остяков* непосильной данью, в мусульманскую веру против их воли загнал. Но через некоторое время справедливость восторжествовала. Набегал из-за Камня (Урала) атаман Ермак с малым казачьим войском, разгромил Кучумову ставку на берегу Иртыша да и стал Сибирь к Москве склонять, как Едигер того хотел. Ясак посулил малый, не то что алман** Кучум-хана, обхождение справедливое.

* От слова *ас-ях*, что значит обские люди; к ним относились кеты, ханты, селькупы.

** Дань.



Потянулись к нему люди, дружить стали, даже родниться дочерьми с атаманом захотели. И пусть погиб на Вагае от коварства Кучум-хана Ермак Тимофеев, не погибло его дело. Годы разъединяют, но они же и соединяют. Не сразу и не вся, но ведь встала Сибирь за спину Москвы, русскими городами да острогами укрепились. Правду сказать, не так велики они пока, далеко друг от друга отстоят, но за линию, которую они образуют, степняки опасаются заступать. Силу чувствуют. Но одной лишь голой силой не удержишься. Ее дружбой постоянно подкреплять следует, взаимной пользой и единомыслием. Умные люди говорят: горы не сойдутся, а народы сходятся. Лучше идти вместе, чем искать дорогу одному...

Тырков говорил просто, но с достоинством. Он не чурался пословиц и иносказаний, которые так любят произносить посланцы могущественных владык, но и не злоупотреблял ими. Его речь отличалась искренним дружелюбием, открытостью и прямоотой. Над его словами хотелось думать.

Вот и стал Тоян расспрашивать тобольского посланца о Московском государстве, о его делах и порядках, о царе Борисе Федоровиче, красной печатью которого скреплен писанный в стольном граде Сибири ярлык.

Тырков охотно отвечал. Его рассказ изобиловал яркими красками, вызывающими невольный трепет и почтительное удивление. Особо впечатляюще обрисовал он «светлодушного, милостивого и нищелюбивого» царя Бориса. По его словам выходило, что Годунов в Сибирь «всю душу вложил». Если челом ему ударить, то и на Томи защитная крепость скоро стоять будет. За спиной Москвы не пропадешь! До Первопрестольной, конечно, не ближний свет — сто дней пути, не меньше, но это не беда. Государевы обозы туда круглый год ходят. Выбериай любой. Обозные казаки тебя и сопровождают, и охраняют, и обратно вернуться помогут. Было бы желание.

Отбыл восвояси Тырков, и остался Тоян наедине со своими раздумьями. Доводы посланца «сибирской Москвы» (Тобольска) показались ему убедительными. Он и сам давно понял, что эшуте необходим сильный союзник. Но кого послать к русскому царю? Наиболее верные ему старейшины крепки умом и опытом, но ветхи годами — дальнего пути им не выдержать. А у людей помоложе нет умения вести столь ответственные переговоры. Правильней всего ехать самому, но в отсутствие Тояна мурзы-соперники могут перекроить эшуту, а его самого от власти отрешить. Так плохо и так не лучше. Надо еще хорошенько все обдумать. Когда спешишь, ноги за полы кафтана цепляются.

Три года думал Тоян. И лишь на четвертый принял окончательное решение. Оставив вместо себя сына-наследника Таная, он отправился сначала в Тобольск, затем с попутным обозом, везущим «ясачную казну», в Москву. Откуда ему было знать, что там уже полыхнула опустошительная смута и царь Борис, которого так искренно превозносил Василей Тырков, теряет остатки своего могущества? Старики говорят: не прислоняйся к юрте, которая готова упасть. Так-то оно так, но как быть, если Тоян уже прислонился?

«Не о чем жалеть, — тут же успокоил себя он. — Моя юрта тоже вот-вот повалится. Если падать, так падать вместе. Не зря говорится: пустив стрелу, не пробуй повернуть ее назад — в себя попадешь. Кто одолел половину горы, должен одолеть и гору».



Каждый день пути Тоян отмечал зарубкой на передке своей кибитки. Где по тайге путь обоза шел, он вырезал елку, через степь — цветок, где сходились темный лес и луга — стрелу, где тайга поднималась на Каменный пояс, а затем спускалась с него, — ежа, а светлый лес отмечал изображением листа березы. Никогда не покидал Тоян своего городка дальше, чем на пятнадцать зарубок, а на этот раз уже в шесть раз больше сделал, но конца-края пути все еще не видно. Не вмещает душа таких просторов, одиноко ей в них, тревожно, но и сладостно вместе с тем, ново. Владеть столькими землями может только обладатель великого царства. Как он встретит Тояна, допустит ли к себе? Судя по всему, много у него сейчас бед и врагов. Но это и понятно: чем больше властелин, тем больше сил приходится отдавать ему для удержания власти...

Но как бы долго ни был выбранный по подсказке судьбы путь, рано или поздно он кончается. Окончился и этот.

Челобитие

Москва поразила Тояна своим великолепием. Обилие златоглавых *удук уй*, называемых здесь церквями, бесконечность белых и красных крепостных стен, широта дорог, разнообразие проездных башен, защитные рвы и подъемные мосты, череда зеленых, лазурных и даже серебряных крыш, единство камня и резного дерева... Но среди этого великолепия не было радости. Люди проходили понуро, точно опасаясь друг друга. Их было немного. Зато много стражников и ворон.

В покоях Казанского и Мецгерского дворца Тояна ждала обильная еда, баня в широкой кадке и мягкое ложе. После дальней дороги оно показалось теплым облаком на втором небе. Тоян погрузился в него, радуясь тому, что достиг Москвы, пусть даже такой хмурой и непонятной.

Утром к нему пожаловал большой кремлевский дьяк Нечай Федоров с толмачом. Приложил руку к груди:

— Приветствую тебя, добротчимый Тоян. Пусть высоким будет для тебя небо! Здоровы ли кони и души моих друзей?

— Благодарю тебя, высокопочный Нечай, — с достоинством ответил Тоян. — Дорога кончилась. Мы здоровы. Ты встретил нас у порога, как подобает хорошему хозяину. Мы рады тебе. Пусть и над тобой небо будет высоким!

Расспросив Тояна о дороге, о его беседах с тобольским воеводой Андреем Голицыным и письменным головой Василием Тырковым, Нечай Федоров подтвердил обещанную ими готовность Москвы во всем благоволить и споспешествовать эуште. Более того, дьяк сообщил, что государь о прибытии Тояна знает и готов принять его, как только высокие дела ему это позволят.

Тоян — человек терпения и выдержки. Он приготовился ждать столько, сколько потребуется. Но Борис Годунов, удрученный свалившимися на него несчастьями, переходом многих бояр и дворян-перевертней под знамена Лжедмитрия Гришки Отрепьева, решил встречу с эуштинским князем не откладывать. Ведь это уже не первый челобитец от коренной Сибири, готовый по своему почину за спину Москвы стать. В прежние годы вот так же явился к нему просить подданства властитель кодских остяков (хантов) с нижней Оби Ичигей Алачев. Но тот в светлое для России время к ней приложился, а Тоян в смутное при-

пожаловал. Значит, и принять его следует по-особому, не мешкая. Лучше всего в Грановитой палате Кремля. Не всякий иноземный гость такой чести удостоивается, только высшие сановники, посланцы королей, цесаревичей и прочих западных владык. Вот и надо показать недругам Годунова, что ныне Москва по-прежнему сильна, ведь присоединиться к ней желают все новые и новые племена и народы с не менее могущественного, чем Запад, Востока.

Чтобы усилить значимость предстоящего челобития, Годунов велел позвать на него не только ближних бояр и думных дьяков, но и послов из других стран и заморских купцов. Пусть видят, что русский царь силен и могуч, что нипочем ему любая смута...

В назначенный час Нечай Федоров доставил Тояна в Большую Грановитую палату и велел ждать.

Осмотрелся Тоян. С высоких выкругленных сводов смотрели на него изображения людей, диковинных птиц, зверей, растений. Заметив изучающий взгляд князя, Нечай Федоров начал объяснять ему, что это история рода человеческого, положенная в красках, и что взята она из святых христианских писаний, а рядом запечатлена история Московского государства в его правителях, начиная от Владимира Великого до сегодняшнего государя Бориса Годунова.

Рассматривая красочное изображение того, с кем ему вот-вот предстоит встретиться, Тоян поневоле оробел: очень уж величав русский царь, благолепен — на голове двурядная шапка (Нечай назвал ее шапкой Мономаха), в руках царский скипетр, а сам он облачен в сияющие золотом одеяния. Таков ли он в жизни, как выглядит на этой диковинной для всякого сибирского человека росписи?..

Не успел князь исполниться обычной своей выдержки и спокойствия, дверь в соседнюю залу распахнулась и дворцовый глашатай торжественно объявил:

— Томские земли князь Тоян-зушта сын Эрмашетов с поклоном к великому царю всея Руси Борису Федоровичу!

В сопровождении Нечая и своей свиты из соплеменников Тоян вступил в Золотую Грановитую палату. Посреди нее возвышался слепящий золотом царский трон. Стены и своды за ним украшены изображениями нежной отроковицы, цветущего юноши, зрелого мужа и убеленного сединами старца, а над ними воспарили небесные существа с трубами. Если вдуматься, то эти фигуры символизируют весну, лето, осень, зиму и ветры судеб, меняющие вместе с ними землю и время. Но Тояну не до разгадок символов стало. Он впился взглядом в царскую корону с боевыми часами и двуглавым орлом, парящим над тронном скрещении рисованных ветров. Нечай Федоров успел рассказать ему, что означает эта необычная птица. Единство страны, глядящей одновременно на запад и на восток, — вот что. Она словно соединяла огромную Россию и маленькую Эушту, тревожное настоящее и обнадеживающее будущее.

Тоян перевел взгляд на лицо московского царя. Оно дышало силой и уверенностью, но под внешним благолепием угадывался немалый возраст, усталость и предательское нездоровье.

Преклонившись, Тоян облобызал царские одежды и отступил в сторону, давая место соплеменникам. Они понесли к подножию трона богатые поминки — связки соболей, куниц, горностаев, степных лисиц, лосиные кожи и другие подарки. Казалось, им конца не будет.

Собравшиеся в Золотой Грановитой палате иноземцы и царедворцы оценивающе следили за тем, сколь ценны и многочисленны дары сибирского князя, привезенные в поклон московскому государю. По ним было принято судить, как высок и представителен гость, на какой прием рассчитывает.

Тоян держался с почтительным достоинством. Его поминки, а затем кратко, но мудро изложенная просьба принять эушту под высокую царскую руку московского повелителя произвели на всех благоприятное впечатление.

Отличился красноречием и возбужденный удачно складывающейся церемонией Борис Годунов. В ответ он пообещал Тояну взять его народ в подданство, поставить на Томи город со всеми устройствами, а ясака на городские службы с эушты не взимать. Более того, всех, кто похочет служить Москве, царь велит верстать в казаки без всяких условий. Остальным воля вольная. Руси не только воины нужны, но и охотники, и рыбаки, и скотоводы, и проводники по сибирским землям. Дающий крепнет от берущего, а берущий — ответно. И заключил:

— Прими напоследок мое ответное пожалование, князь. Оно достойно тебя и нашего уговора.

И потекли к Тояну дорогие одежды, ткани, серебряные кубки. Годунов знал, что, увидев такое, иноземные купцы и послы поразятся его щедрости. Вот и пусть удивляются. Москва — она на то и Москва, чтобы даже в шаткие времена, при голоде и неустройстве, не скупиться.

Царская грамота

Государевым именем царские грамоты пишутся, да не государями составляются. Для этого у них особые люди есть — такие как второй дьяк Казанского и Мещерского дворца Нечай Федоров и его подьячие Андрюшка Иванов и Алешка Шапилов.

Город срубить — дело нешуточное. Вон она где, Тома-река, в дальних таежных местах за Обью. От ближних острогов до нее еще идти и идти, одолевая сотни глухих верст. Помощи от тамошних служилых людей ждать не приходится. В Кетском и Нарымском острогах их и по трех десятков не наберется. Одна надежда на Сургут. Там нынче чуть не двести казаков и стрельцов службу несут, а сверх того гулящих людей, беглых и хожалых собралось немало. Из них полсотни и забрать не грех. Остальных по пути в Сибирь заверстать придется — не гнать же их из Москвы. Это и дорого, и насадно. А случится нехватка в послужильцах, на прочие сибирские крепости их разложить можно, а в Тюмени взять посланные прежде в запас «пищаль скорострельную, а к ней 200 ядер железных да 200 ядер свинцовых, да 10 пуд зелья (так в ту пору назывался порох), 10 пуд свинцу, да 2 человек пушкарей». Да и Онжа Алачев, нынешний князь кодских остяков (хантыйское княжество в низовьях Оби), младший брат достославного Ичигея Алачева, наверняка помочь не откажется. Одно плохо, Сургут от эушты вдвое дальше находится, чем Нарым и Кетск.

Тут-то и пришла составителям царской грамоты спасительная мысль: а что, если именно в Сургуте старое плотбище расширить, построить на нем дощаники для казаков, плоскодонные кочи для грузов, маневренные струги для дозорных людей и походного начальства, а как лед на Оби вскрыется, двинуться по ней судовой ратью в земли эушты?



Продумав все до мелочей, усадил Нечай Федоров своих подьячих за писание грамоты. Начинаясь она обычным для таких бумаг посылом: «От царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси в Сибирь, в Сургутский город, Федору Васильевичу Головину да голове Гавриле Писемскому...» Дальше говорилось: «Бил нам челом Томские земли князек Тояна что б нашему царьскому величеству его Тояна пожаловати, велети ему быти под нашею высокою рукою и велели бы в вотчине его в Томи поставити город. А место де в Томи угоже и пашенных людей устроить мочно, а ясаиных де у него людей триста человек».

Немалое место в грамоте заняло описание окрестных земель, которыми владели киргизский князь Номча, арецкий Биней, телеутский Абак, умацкий Четя, кузнецкие Базарак и Дайдуга, мелесский Изсек. Затем следовало указание привести Тояна в Сургуте «к шерти* и напоя, и накормя» отпустить к себе в Томскую волость, а с ним послать «немногих людей для того, что б им тех мест, где поставити город, и всяких угодий разсмотреть всякими обычаи и где на городовое дело имати лес, и сколь далеко, и какой лес, и на которой реке, и сколь велика река, и сколько пашенных мест, и какова земля, и что каких угодий, и вперед тут городу стояти мочно ль, и как приводити наши хлебные запасы, и какие люди около Томские волости живут, и сколь далеко. Да как наши служивые люди, проводя его, придут в Сургут, и вы б об том всех тех служивых людей расспрося накрепко, отписали, и роспись подлинную дороге и чертеж прислали к нам, к Москве. И велели отписку и роспись и чертеж отдать в приказе Казанского и Мецкерского дворца дьяку нашему Нечаю Федоровичю и мы о том о всем велели свой царский указ учинити. Писана на Москве лета 7112-го генваря в 20 день».

Россия в ту пору вела счет годам «от сотворения мира». Этим и объясняется малопонятная ныне дата написания наказной грамоты. В конце семнадцатого века, а точнее говоря в 7208 году, держава Российская по указу Петра I перешла на летоисчисление «от Рождества Христова». Согласно Библии Спаситель родился в 5508 году. После вычета этого числа из даты грамоты получаем: 20 января 1604 г. по старому стилю (1 февраля по новому).

Приложил свою руку к наказной грамоте Борис Годунов, и поскакали с ней в Сургут гонцы, не зная ни сна ни отдыха. Следом Нечай Федоров Тояна и его соплеменников отправил, а с ними отрядец казаков, стрельцов и мастеров строительного дела. Они везли денежную казну, плотницкую снасть, ружья, одежду и другие необходимые припасы.

Клятва на верность

Разрастаясь по пути как снежный ком, отрядец, посланный Нечаем Федоровым, достиг наконец Сургута. Немало новобранцев добавилось к нему в Верхотурье, Туринске и других «югорских» крепостях. Следом стали подходить тюменские, тобольские, березовские казаки, татары и остяки из окрестных становищ. Их распределяли по десяткам, полусотням, сотням и тут же отправляли на обское плотбище — суда для дальнего плавания ладить. А распорядились всем этим «кипением дел» назначенные воеводами Томской волости Гаврила

* Присяга на верность.

Писемский и Василий Тырков. Один до этого сургутским письменным головой служил, другой — тобольским.

Узнав, что их с Тырковым дороги вновь сошлись, обрадовался Тоян, но и огорчился вместе с тем. Никак не мог он в толк взять, почему Тырков назначен вторым, а не первым томским воеводой? Разве не он путь к эуштинцам проложил и помог им с Москвой сблизиться? Разве письменный голова главного на Сибири города Тобольска не главнее письменного головы Сургута? Разве Тырков не сын боярский, а бояре не самые знатные и родовитые люди страны? Вопросы, вопросы, вопросы...

Недоумение Тояна понять можно. То, что он успел узнать о Тыркове и Писемском, говорило в пользу первого. Но узнал он далеко не все. Да и трудно ему было разобраться в хитросплетениях царских назначений. Он-то думал, что сын боярский и сын боярина — одно и то же. Ан нет. Сын боярский — всего лишь чин, а сын боярина — родовитость. Этим прежде всего и различались томские воеводы.

Тырков выбился наверх из казачьих низов. Службу начинал на Урале. Сначала Лозьминский острожек ставил (1590), потом Пельымскую крепость (1593). Там особо и отличился. Отбивая нападение вогулов (манси), пленил «на бою» Таганая, сына пельымского князя Аблегерима. Его же и отправили с пленником в Москву. Дальний путь сначала примирил, а потом и сблизил недавних противников. Тырков сумел втолковать вогуличу, что Россия не враг уральским народам, а их первейший защитник и союзник, так что лучше с нею дружить, а не ссориться. «Лучшие люди» прилежащих к России племен и народов, кого она принимает в подданство, сохраняют не только свои титулы, но и новые земли в награду получают. Вот Таганай и решил проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, так. В Москве, окрестившись, он титул русского князя и «волоштишку» неподалеку от Верхотурья получил. А Тыркову за храбрость и умение вести дела с инородцами был пожалован чин сына боярского, иными словами, чин боярского слуги, исполняющего особые поручения — военные, посольские, распорядительные. Тут-то и показал Тырков свои способности. Объездив всю «ближнюю Сибирь», научился говорить на языках татар и остяков, в их миропорядок и обычаи вник, за что и получил должность тобольского письменного головы.

У Писемского опыт и заслуги другие. В юные годы он служил при дворе царя Федора Иоанновича *жильцом* (был и такой чин) и выслужил за это титул *выборного дворянина* Тульского уезда с окладом в 600 четвертей (свыше 300 гектаров) плодороднейшей земли. Это дало ему право зваться не только по имени, но и по отчеству — с «овичем» на конце, как и подобает людям высокого звания. В Сибирь он прибыл сразу на должность сургутского казачьего письменного головы, и служить ему было расписано два года. Они пролетели быстро. Дальше Писемского ожидало либо возвращение в родные края, либо та же должность, но поближе к Москве, либо повышение. Вот его и повысили. Повысили и Тыркова. И вот как говорит об этом другая царская грамота: «Государь царь и великий князь Борис Федорович всяя Руси велел голове Гаврилу Ивановичю Писемскому да Василью Тыркову быть на своей государевой службе вверх по Обе реке на Томе в Томской волости...» Один именуется по имени-отчеству, другой только по имени.



Ни Писемского, ни Тыркова такой расклад не удивил, оба остались довольны. Писемский потому, что «в товарищах» с ним на Тому пойдет опытный и авторитетный «голова», а Тырков потому, что не в пример другим знатым «временщикам» Писемский умом и духом крепок, успел к Сибири сердцем прикипеть, необходимость ее для России почувствовать. При таком соначальнике и вторым человеком походить можно...

Еще Тоян удивлялся, почему присягать на верность Москве ему определено в Сургуте, а не в главном сибирском городе Тобольске?

Василий Тырков, с которым его сближало давнее знакомство, и объяснил:

— У нас правило: на какой город государь для пользы дела укажет, тот нынче и главный. А он в своей грамоте на Сургут указал. Нынче здесь служильцы большинства обских крепостей на томское дело собрались да лучших сибирских людей немало. Гордись, князь, что по твоему челобитию все это случилось.

— По моему челобитию, да по твоему совету, — сказал Тоян. — Я рад, что мы теперь вместе, воевода...

Посмотреть, как Тоян будет давать клятву Москве, собрался весь Сургут. А посмотреть было на что. Посреди Троицкой площади выстроились в два ряда казаки. С одной стороны сургутские, с другой — заверстанные на Томское ставление. Меж ними на лобном месте мордой на запад раскинута была шкура матерого медведя. Под звуки барабанов и звон литавр от съезжей избы* к лобному месту прошествовали сургутский воевода Федор Головин со своими людьми, а от Гостиного двора — Гаврила Писемский и Василий Тырков со своими. Затем появился Тоян с соплеменниками. Помедлив для порядка, он снял шапку и пал на колени, но так пал, что ни один мускул на его смуглом лице не дрогнул, а прямая спина еще прямее стала.

Из сургутского ряда выступил вперед дюжий казак. В руке у него обнаженная сабля. Навстречу ему из томского ряда шагнул другой казак. Он вздел на конец вскинутой сабли краек свежеиспеченного ржаного хлеба, бережно присыпал его солью. И вознеслась та сабля с хлебом над головой Тояна.

Тем временем сургутский дьяк развернул утвержденную для таких случаев *шертеприводную запись*.

— Повторяй за мной, — сверху вниз глянул он на простоволосого Тояна. — Аз, Тоян Эушта сын Эрмашетов...

— Аз, Тоян Эушта сын Эрмашетов... — эхом откликнулся тот.

— ...даю шертю государю своему, царю и великому князю Борису Федоровичу...

Тоян без запинки повторил и эти слова. Дальняя дорога всему научила, без толмача обошелся.

Дальше пошла государева титла. Ее Тояну можно не повторять, но дьяку вычитать надо. Вот он и воодушевился, заликовал голосом, воссиял лицом:

— ...вся Русии самодержцу, Владимирскому, Московскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, царю Сибирскому...

— Сибирскому... — зашептали казаки, радуясь, что есть и о них упоминание.

* Воеводская канцелярия.

Забыли на время, что родом-то они из других пределов. Вымичи, сысоличчи, пермичи, зыряне, талдемская мордва, вотяки, чувашаи, устюжане, усольцы, двиняне, важане, пустоозерцы, каргопольцы, уроженцы московских, литовских и прочих мест...

— ...государю Псковскому и великому князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вяцкому, Болгарскому...

Собравшиеся слушали чтеца завороженно, представляя при этом, как велика Русская земля.

— ...государю и великому князю Новагорода, Низовския земли, Черниговскому, Резанскому, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Обдорскому, Кондинскому и иных многих государств государю и обладателю...

Когда царская титла закончилась, сургутский дьяк выразительно глянул на Тояна, давая понять, что дальше снова нужно повторять каждое слово:

— ...по своей бусурманской вере, на том, что быть мне, Тояну Эуште, под его государевой высокою рукой...

Про бусурманскую веру Тоян повторять не стал. Самолюбив очень! Пришлось дьяку проглотить эту вольность.

— ...и ему, великому государю, служить и прямить и добра хотети во всем, и на Томском ставлении быти верным помочником его доверенным воеводам Гавриле Писемскому и Василию Тыркову. А буде мы, эуштинские люди и я, Тоян Эушта, не учнем великому государю служить и прямить и во всем добра хотети, то нам бы, за нашу неправду, рыбы в воде и зверя в поле, и птицы не добыти, и чтоб нам, за нашу неправду, с женами и детьми и со всеми своими людьми помереть голодною смертию; и как по земле пойдем или поедем, и нас бы земля поглотила, а как по воде поедем, и нас бы вода потопила. Шертую на том, на всем, великому государю, как в сей записи писано...

Тут казак протянул Тояну хлеб на кончике сабли. Тоян снял его, откушал и сказал, обращаясь к воеводе Федору Головину:

— А не учну я государю своему и великому князю Борису Федоровичу всяя Руси служить, как сказал, и буди на мне огненный меч, и побий меня государевы хлеб и соль, и ссеки мою голову эта вострая сабля.

— Аминь! — заключил воевода Головин.

Его дьяк поднес Тояну запись — рукоприложиться. Тоян с достоинством нарисовал в указанном месте родовое клеймо и, надев меховую шапку, легко поднялся с колен.

— Ну, вот мы и под общей державой, — шагнул к нему Василий Тырков. — В земле наши деды-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат. Как скажется, так и откликнется. Верно я говорю, Тоян Эрмашетович?

— Ищешь мира — ищи друзей, — ответил тот. — Нашел друга, значит, брата нашел.

Жалованное слово

Судоходство на сибирских реках начиналось в те годы на Николу Вешнего, сразу после ледохода. Ведь святитель и чудотворец Николай считался еще и хранителем на водах, «спутником путешествующих», как говорилось в церковных песнопениях, «и на море сущим правителем». Из этого следует, что «су-

довая рать» Писемского и Тыркова двинулась вверх по Оби не ранее 9 мая по старому стилю.

Идти пришлось против течения. Обь и впрямь разлилась, как море. Ее неоглядная ширь, взмученная песками и глинами (в переводе с зырянского *обва* — снежная вода), даже в солнечную погоду казалась серой пустыней, отливающей свинцом. Тым и другие могучие притоки, вытекающие из болотистых урманов, пронизывали ее темно-коричневыми струями, которые стремительно растворялись в непроглядных пучинах.

Часто задувал встречный или боковой ветер, то и дело обрушивались на флотилию проливные дожди, и тогда казаки на стругах и плоскодонных дощаниках, а люди Онжи Алачева на шатких каюках, спустив паруса, брались за весла или шли с бечевой по берегу, сокращая путь по узким протокам.

Пестрый, измотанный небывало трудным походом караван под началом Писемского и Тыркова появился на Томи четыре с лишним недели спустя. Миновав «островное царство» Ашкинея, земли Тигильдея, Енюги и Еваги, суда приблизились к легнему Тоянову городку, а точнее сказать, к череде юрт, поставленных на левом берегу Томи. За юртами начинались зеленые луга, на которых паслись невысокие мохнатые кони эушты. Еще дальше возвышалась обрывистая гряда, густо поросшая высоким желтоствольным сосняком. Лишь Тырков знал, что в этом сосняке укрывается зимний Тоянов городок, укрепленный поставленным на земляном валу частоколом. Место для томской крепости, которое высмотрел несколько лет назад Тырков, находилось на противоположном берегу Томи. Туда и направил он флотилию.

По опыту Тырков знал, что город лучше всего ставить на высокой горе при слиянии двух или нескольких рек. Именно так поставлены Туринский острог, Тюмень, Тобольск и Сургут. Слава богу, в землях эушты недостатка в подобных «горах» не было. Одна поднималась над двумя речками, возле которых ставили обычно свои походные шатры приходившие за данью с верховий Чулыма и Енисея кыргызы Алтысарского княжества (не случайно эти речки называются Большой и Малой Киргизками), другая — в устье Ушайки (по преданию, здесь жил то ли охотник, то ли мурза Ушай), третья — в устье речки, где находился укрепленный городок мурзы Басандая (отсюда сегодняшнее ее название Басандайка). Тырков выбрал «знатной вышины пригорок» в устье Ушайки. Он был неприступен с трех сторон, к тому же находился во владениях Тояна, а не соперничающих с ним сородичей...

История не сохранила точной даты, когда на «песках» в устье Ушайки под высоким «крепким холмом» высадились первостроители Томска, но можно с уверенностью сказать, что произошло это с 6 по 10 июня 1604 г.

В царском наказе, который нагнал Писемского и Тыркова перед самым отплытием в земли Тояна Эушты, говорилось: *«...А пришед в Томскую волость, поставитъ сторожи и караулы для бережения, и велети... Гаврилу и Василью и служивым людям быть в цветном платье, а как к ним томские князья и мурзы и татаровя и всякие люди придут и Гаврилу говорить томским людям... жалованное слово, что царское величество их жаловал, велел в Томской волости для обережения город поставити и велел де их во всем беречи, чтоб им насильства никоторого не было... и братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали и волости полнили... а которые*

будет новые люди учнут прилежать в новый Томский город, ино к тем и новым людям береженье и ласку держати, чтоб их приучить и поити их и кормити, государевы запасы и сукна им давати смотря по их служению...»

Томские воеводы так и сделали.

Однако далеко не все начальные люди «нижнетомских земель» пожела-ли ульшать «жалованное слово» Московского государя, а тем более «стать под его высокую царскую руку». По примеру мурзы Басандая несколько его сторонников уклонились от встречи с «орусами». Басандай внушил им, что лучше платить алман владыкам восточных степей и гор, похожих на эуштинцев обли-чием и обычаями, чем попасть под пятау «чужих людей» с той стороны, куда заходит солнце.

Однако отсутствие Басандая и его сторонников не помешало Писемскому и Тыркову склонить на свою сторону большинство мужчин и «лучших людей» эушты.

Бог троицу любит. В Москве Тоян челом царю Борису ударил, в Сургуте от имени своего народа клятву на верность Руси дал. Пришло время сделать третий, решающий шаг — на пожалование Москвы живым делом ответить. А дело теперь у всех одно — общими силами крепость на Ушаевом бугре устроить и жить дальше в помощи и согласии. Под началом у Писемского и Тыркова до двухсот казаков и стрельцов да сотня остяков, что Онжа Алачев в Эушту привел. Если Тоян свою сотню к отряду строителей прибавит, к осени крепость будет стоять крепко и нерушимо.

— Да будет так, — ответил Тоян. — Не соединив пальцев, иголку не ухватишь.

На том и порешили.

Томское ставление

Первые укрепления в Сибири рубились острогом, то есть обносились высоким (в три-четыре человеческих роста) частоколом заостренных сверху бревен «на брусяных иглах с отноги и выпуски». Он защищал служилых и промышленных людей с семьями и работниками от нападения немирных племен.

Но шло время. Укрепления стали строиться более надежно и основательно — «стены в клетку с башни, а в клетках прорублены двери, ходить по городу». Иными словами, из прямоугольных срубов (городен) сооружались соединенные наугольными башнями ограждения в один, а то и в два яруса. Это называлось «город городить». Такой вид укрепления как нельзя лучше подходил для военного гарнизона и воеводского начальства.

Затем города стали строиться в одной связке с острогом. Их было принято рубить в четыре, а с острогом в шесть или восемь углов, реже полукругом. Чтобы вписать такую крепость в выбранную для этого местность, ее углы нередко приходилось скашивать, удлиняя одни стены, укорачивая другие.

Так случилось и с Томским городом (ударение в слове «томской» делалось на последнем слог). «Знатной величины пригорок», который приглядел Василий Тырков, оканчивался мысом над рекой Ушайкой. Будто споткнувшись об нее, мыс поворачивал на юго-восток и вклинивался в болотистую пойму Ушайки (район, получивший название «Болото»). На этом неприступном с запада, юга и востока клине и решено было «вскинуть» город. А с севера его закроет «передняя городовая стена», она же «задняя острожная».

Прикинув объем предстоящих работ, Писемский и Тырков засомневались. На строительство острога этим летом времени может и не хватить. Да и надобности в посаде пока нет. Дай бог с городом до осени управиться и от кыргызов оборониться, ежели они за данью к Тоюну придут. А там видно будет.

Вместе с уставщиками над плотниками Степаном Ложниковым, Денисом Кручинкой и Назаром Заевым воеводы наметили точное местоположение стен, башен, других сооружений «города-скоростроя». И началась слаженная, прошибающая до седьмого пота «государева работа». Одни в тайгу посланы — «лес ронити легкий, чтоб скорее город зделать». Другие его конными волокушами на «городовое место» затаскивают. Третьи из мелких и крупных лесин делают бревна разной длины или вытесывают из них плахи, доски, перекладыны. Четвертые канавы для подстенных клетей роют. Пятые эти самые клетки сбивают и, уложив в землю, засыпают глиной, старательно утрамбовывают тяжелыми пестами. Затем — венец к венцу, звено к звену — начинают ставить встык срубы-городни, напоминающие деревенские избы, но без окон и дверей. В нижние ряды кладут бревна потолще, посмолистей, так чтобы углы их сходились то комлем, то вершиной.

И вот уже над крутыми склонами мыса как по волшебству вырастают высокие бревенчатые стены с житницами в срубах, с зелеными (пороховыми) погребами, амбарами и складами для хранения съестных припасов, казны, военного имущества и прочих надобностей, караульными избами, а над ними возводятся боевые галереи, крытые двускатными кровлями в два теса с зубцами на свесе.

Одновременно сооружаются три дозорные наугольные башни. Они гораздо выше и внушительней городских стен, в сцепке с которыми и образуют крепость. На рамах из толстых бревен в нижних срубах умельцы складывают печи из красной глины, ставят спальные лавки, пересекают дымовые и волоковые окна, конопатят стены мхом, чтобы дольше хранили тепло, делают межэтажные перекрытия, наполненные землей. Это жилецкие клетки для служилых людей, десятников и другого казачьего начальства. Во втором ярусе на уровне груди сруб они делают шире, «с выпуском», чтобы между верхней и нижней его частью образовалась щель. Это *облам* для ведения подошвенного боя. В третьем ярусе сооружается «раскат» для пушки или тяжелой пищали. Подняться сюда можно только по внутренним или приставным лестницам. А венчают наугольные башни остроугольные четырехскатные крыши с дозорными беседками.

Однако не с них началось строительство Томского города, а с воротной башни. В нижней ее части казаки-градоделы изладили широкий проезд для возов и конников, в средней (вместо облама и пушечной площадки) — звонницу с шатровым верхом, а на его шпиле высоко в небо подняли искусно вырезанного из дерева и обитого белым железом двуглавого орла — герб Московского государства. Пусть все видят и помнят, что Русь одновременно на запад и на восток глядит, земли и народы объединяя.

Рядом с воротной башней врублена в переднюю городовую стену съезжая (приказная) изба (в ней разместится воеводская канцелярия и архив), а возле дозорной башни со стороны Песков (берег Томи у впадения в нее Ушайки) начали расти воеводские хоромы. Крыши их сначала прокладываются слоем бере-

сты, предохраняющей дерево от гнили и сырости, а после украшаются чешуйчатым осиновым лемехом.

Город рос не по дням, а по часам. Общая длина его стен составила 97 сажень (202 метра). Не город, а городок, в котором не очень-то разгуляешься. Зато под острог за столбили более двух десятин (свыше четырех гектаров) — будет где переселенцам развернуться, крепкие корни пустить.

Работы всем хватало: и казакам, и остякам из кодского Белогорья, и татарам-эуштинцам — всякому по его силам и умению.

Одновременно с возведением башен и городских стен артель казаков-чистодеревщиков начала сооружать церковь,

как того требовал царский наказ: *«А поставя город, а по городу наряд и пушечные запасы к казне устроя и караулы в городе поставя крепкие, поставит в городе храм во имя Живоначальныя Троицы да придел страстотерпцы Христовы Бориса и Глеба, а другой — Феодора Стратилата...»*

Церкви в Сибири в то время ставили обычно умельцы из Заволочья (так назывался Русский Север, расположенный по берегам Двины, Онеги и других «тамошних рек»). Их сооружения были просты по конструкции, но при этом величавы и «духотподъемны»: высокий подклет с уходящим в небо ребристым шатром, увенчанным небольшой серебристой главой с крестом. Когда позволяло время, церковь рубилась в пять глав, более основательно, да еще и со звонницей.

Как выглядела первая томская церковь, мы не знаем: описания ее не сохранилось. Одно точно: возводилась она в кратчайшие сроки, а значит, в упрощенном варианте, затем не раз достраивалась и видоизменялась. Более ста лет окормляла она православных горожан, и главной ее святыней все эти годы была икона Живоначальной Троицы, списанная с доски Андрея Рублева. Ее прислал в дар новому городу Борис Годунов.

Восстановить последовательность и логику тех стародавних событий, оживить их воображением, не выходящим, однако, за рамки исторической действительности, помогают нам не только царские указы и грамоты, но и разного рода отписки, челобитные служилых и посадских людей местному и московскому начальству, окладные, верстальные, разборные, переписные книги, послужные списки и прописи, проезжие памяти и другие бесценные свидетельства. Более





того, они позволяют назвать поименно довольно значительную часть первостроителей Томска, составить представление о том, откуда они родом, чем занимались прежде, какие заслуги имели.

Самые сложные плотницкие работы уставщики над плотниками доверили, конечно же, казакам и стрельцам, которые уже ставили другие сибирские крепости, а потому имели необходимый опыт. Наилучшим образом показали себя в деле уроженец Яренской волости Потаня Маслов, ярославец Ивашка Пеплинский, новгородец Михалка Куркин, крапивинец Ивашка Лаврентьев, вологодцы Семка Лурохонцев и Мишка Астраханцев, уроженец Великих Лук Сенька Аркатьев, выходцы из Москвы и Подмосковья Иевлейка Карбышев, Пашка Истомин, Демка Бурыха, Кирилка Медведчиков, Ивашка Кырнаев, Федька Бардаков, Савка Лудяк, Ивашка Коломин и другие умельцы, строившие Сургут. Тот же Сургут, а после Нарым и Кетск ставил Прошка Вершинин; на строительстве Березова отличились Андриюшка Гутов, Амоска Мангазеин, Илейка Березовский, Стенька Бедрин, а Тобольск рубили Федька Толмачев и Гришка Баташков... Было у кого поучиться новичкам, набранным в Москве, а затем на Урале и в Сибири. Среди них — Митрошка Вяткин, Климушка Костромитин, Андриюшка Губа, Омелька Соломатин, Свиридка и Гаврюшка Спиридоновы, Ивашка Эгбнев, Петруня Кожевников, Степашка Бурундуков, Наумка Петлин, Меркурий Попов, Ивашка Пущин, Якимка Стрелковский, Конон Терсков, Куземка Голещихин, Корпушка Володимирец, Тришка Тузик, Васька и Артюшка Завьяловы — уроженцы Вятки, Костромы, Соли Камской, Вологды, Мезени, Рязани, Устюга Великого, Галича и других городов державы. Можно без преувеличения сказать, что Томск строила вся Россия, что тогдашние казаки были не только прекрасными воинами и землепроходцами, но и непревзойденными мастерами строительного дела.

Особое место в их ряду занял человек с самой распространенной на Руси фамилией — Гаврила Иванов. Прежде чем попасть на Томское ставление, он, по его словам, *«служил... на поле 20 лет у Ермака в станице и с ыными атаманы. И как с Ермаком Сибирь взяли, и Кучума царя с куреня збили, и царство сибирское... взяли»* (а случилось это в 1582 году), ставил Тюмень (1586), Тобольск (1587), Пельым (1593), Тару (1594), участвовал в окончательном разгроме Кучум-хана на реке Ирмень (1598). С таким вот послужным списком и прибыл на Тому — «городовую крепость» ставить, молодых казаков уму-разуму учить.

Другой яркой фигурой «томского похода» был ближайший помощник Писемского и Тыркова Дружина Юрьев. Восемью годами раньше «за многие выслуги, бои и раны» его произвели в атаманы тюменских конных казаков, а теперь он стал атаманом томской «судовой и градостроительной рати». Имя Дружины Юрьева пользовалось заслуженным уважением, о чем свидетельствуют упоминания о нем во многих деловых бумагах той поры.

А вот еще одна непростая судьба. Уроженец местечка Лебедянь (ныне город в Липецкой области) Алешка Трубачев еще мальчонкой был угнан ногайцами «в туретчину». Оттуда продан невольником в Бухару. Повзрослев, бежал из плена, но неудачно. В Барабинской степи его схватили черные калмыки (западные монголы-ойраты, или джунгары) и вновь продали бухарцам. Второй побег оказался более удачным. Алешка добрался до Ямыш-озера, где местные жители

и служилые люди первых сибирских городов добывали соль. Здесь он попал к казакам разъезжей станицы-караула, а затем в Тобольск. Там и заверстался в казаки. Из Тобольска его отправили «на городовое поставление в Томы». С тех пор и до конца жизни Трубачев сначала служил, а затем крестьянствовал в ставшем для него родным Притомье.

Это были люди крепкой породы — выносливые, жизнелюбивые, прямодушные, готовые воевать, если придется, но лучше дружиться, как дружил с ними с «сибирцами» атаман Ермак и его дружина.

День города

Томск строился всего три месяца и двадцать дней — срок поистине удивительный. Не следует забывать и того, что на пути к нему лежали горы и болота, реки и таежные урманы — тысячи километров по земле и воде. Что вело сюда томскую дружину? Что одушевляло? Что давало силы преодолевать, казалось бы, непреодолимое? Не только же слепое послушание царю и воеводам, не только щедрое вознаграждение, обещанное за труды на дальней стороне, и уж, конечно, не стремление покорить инородцев. Думается, простые и бесхитростные души большинства первостроителей завораживали бескрайние просторы, вечное движение, походное братство, а еще мечта о заветных местах, где царит согласие и справедливость, иными словами, божья благодать...

Тяжкий груз лег на плечи Писемского и Тыркова. Город построить — полдела. Вторая половина — общий язык с местными народами найти, «терпением и лаской» их к Москве «прилепить». В государевом наказе на это сделан особый упор: *«С бедных людей, кому ясаков платить не мочно, по сыску иметь ясаков не велено, чтоб им нужды не было. И они б, сибирские земли всякие люди, жили в царском жалованье, в покое и тишине без всякого сумления. И промыслы всякими промышляли и государю и пр. служили и прямили... И братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали, и волости полнили... Кто из служилых людей, приходя к ним в волости для ясаку, изобидели... и воеводы про то не сыскивали и обороны не давали, и сами воеводы какое насильство и продажу чинили, ясак имели не по государеву указу вдвое — и государь и пр. пожаловал, велел на тех людей давать суд и от продаж оборону велел им учинить...»*

Конечно, все это не более чем благие пожелания. В самой системе назначения воевод и их ближайших помощников был заложен механизм для злоупотреблений. Царского жалованья они не получали. Но им разрешалось брать определенный процент с таможенных и судебных сборов, находить другие способы для «прокормления». Вот они их и находили. Поборы с подчиненных, казнокрадство, притеснение инородцев — наиболее распространенные из них.

У новорожденного города не было еще ни казны, ни суда, ни таможи, да и Томская волость включала пока лишь земли эушты. Басандай и часть других мурз, сородичей Тояна, не спешили «под царскую высокую руку». Не в их интересах было отдавать то, чем они сами кормились.

С эушты, как мы помним, Борис Годунов распорядился ясака до его особого указания не брать, но для остальных земель Притомья ясак был все же распisan. Как Писемскому и Тыркову в таком случае поступить?

Вот и отправили они сборщиков ясака на Обь и Чулым к осякам и татарам. Несколько месяцев спустя кетский воевода Постник Бельский обрушился на них за это с гневным посланием: «...И вы, господине, делаете не по государеву указу, что в Чулым и Киргиссы ясашников посылаете и ясак государев велите имати, а Чулым и Киргиссы прежде сего ясак давали в Кеукий острог. И в наказе у меня написано: которые волости и горотки прежде давали государев ясак в Кеукий острог, и с тех ясашных людей велено имать в Кеуком остроге по старому. И вы поступаетесь напрасно в мой присуд, и мне о том писать государю. А будем, даст бог, на Москве и увидим царские очи, и мне бить челом на вас о бесчестии...»

Прямо скажем, претензии справедливые. Но для нас эта «отписка» не только свидетельство о нередкой среди воевод распре. В ней указана дата окончания строительства Томского города. Других письменных данных, увы, не сохранилось. Так что вчитаемся повнимательней в приветственное слово, которым начинается эта весьма недружелюбная грамота: «Господину Гавриле Ивановичю да Василью Фомицю Постник Бельский челом бьет. Писали есте ко мне с стрельцом с Сидорком Иевлевым: 112-го году по государя царя и великого князя Бориса Федоровича наказу город в Томской волости зделали со всеми крепостьми сентября в 27 день...» (10 октября по новому стилю).

Три с половиной столетия спустя именно эту дату томичи стали отмечать как день рождения города. Но в 2000 г. депутаты томской городской думы и мэрия решили, что день основания города тоже не менее памятное событие. По их мнению, для массовых мероприятий начало лета больше подходит, нежели холодная осень. Томск заложен 7 июня. Вот пусть этот день и станет для него праздничным.

Еще одно решение городская власть приняла в 2014 г. Днем города вновь стал сентябрь-листопадник, правда, со сдвигом в более благоприятные для общественных торжеств дни — 13 и 14 сентября.

Допустим ли такой сдвиг?

В царском наказе сказано: «А как в Томской волости город поставят и совсем укрепят, и ясачных людей под государеву руку приведут, и заклады поемлют — и им (Гаврилу с Васильем) тобольских и тюменских и березовских служилых людей и юртовских татар и осяков отпустить из нового Томского города по домам по росписи, чтоб им в новом городе не зазимовать, а с собою оставив в новом городе всяких людей по росписи их».

В общих чертах город был построен к середине сентября. Казалось бы, самое время казаков из других крепостей и кодских осяков по местам их службы и жительства разослать, а с ними сибирским воеводам, в том числе Постнику Бельскому, весть о поставлении Томского города отправить. Так было принято — постоянно сноситься с соседями по текущим делам, последние новости с ними обсуждать, а то и затяжные тяжбы друг с другом вести. Для этого у каждого под рукой было сразу несколько посыльных, таких как, к примеру, томский стрелец Сидорка Иевлев, упомянутый в отписке кетского воеводы. Круглый год, в жару и стужу мерили они таежные версты с грамотами, отписками и прочими спешными бумагами начальных людей. А тут на тебе — редкая возможность от-



править все, что накопилось, рекой, попутно, всем получателям сразу. Не беда, что в томской крепости еще многое недоделано. Об этом в грамотах сибирским воеводам, а тем более в приказ Казанского и Мещерского двorca Нечаю Федорову писать не следует. Ведь он не к кому-нибудь, а к самому «государю царю» с полученной вестью поспешит. Следовательно, весть эта непременно радостной должна быть, полновесной. А недоделки и после устранить можно. Посторонние люди в «томском углу» нескоро появятся, стало быть, опасаться «чужого догляда» не приходится.

Но Писемский и Тырков решили обустройство крепости на потом не откладывать. Силами расписанных на томскую службу казаков и стрельцов сделать это они не надеялись. Другое дело — всем отрядом, прибывшим на Томь в начале июня. Вот и решили воеводы задержать «тобольских и тюменских и березовских служилых людей и юртовских татар и остяков» во главе с тюменским атаманом Дружиной Юрьевым до тех пор, когда судоходство на сибирских реках заканчивается.

В отписке Постника Бельского сказано, что город в Томской волости сделан «со всеми крепостями», то есть с острогом. А ведь сначала у воевод не было уверенности, что они успеют его вместе с городом поставить. Значит, успели! Случилось это «сентября в 27 день». Но и дни 13—14 сентября не противоречат историческим обстоятельствам. Напротив, помогают лучше понять их, зримо представить, как все было в действительности...

«Последней водой» выступила из Томска «судовая рать» Дружины Юрьева. Проводить ее пришли не только казаки «томской службы», но и многие эштинцы. Интересно им было поглядеть и послушать, что скажут те, кто умеет говорить, помолчать с теми, кто умеет молчать, или сделать прощальный подарок тем, к кому за время совместной работы успели привязаться душой. Многим еще не раз предстояло встретиться на бескрайних сибирских просторах.

Красноречив русский человек в минуты расставаний, порывист, чистосердечен. Именно такими видятся мне томские воеводы, оказавшиеся в центре внимания. Потеряв вдруг всякую начальственность, они растворяются в толпе отплывающих, становятся ее частью.

Иное дело Тоян Эрмашетов и Онжа Алачев. Они сдержанны, немногословны. Один желает отплывающим «белой дороги» (счастливого пути), а остающимся высокого чистого неба. Другой его речь умело подхватывает: «Медный гусь нас в родные места зовет. Пора песню отплытия слушать». И тотчас рядом с ним появляется *арэхта-ку* (человек-песня). Так принято у его народа: сопровождать важное событие песней.

Вот слова одной из них: *«Откочуем к родному очагу, но часть себя здесь оставим. Пусть любуется новым стойбищем на большой темной реке дочь солнца Челынды нэ. Пусть стрелой несутся по течению наши каюки, похожие на чюнд и чэтыр — речных коней и жеребят. Нас ждет много забот в земле прародителей. Поспешим туда, как спешат дети в жилище, где их ждут родные...»*

От зари до зари

Разноплеменное население Западной Сибири не превышало в то время двухсот тысяч человек. Это треть населения нынешнего Томска. От поселения до поселения или, как принято было говорить, от дыма до дыма иной раз приходилось добираться не днями, а неделями. Численность «сибирцев», проживающих в юртах, стойбищах, городках, улусах, определялась обычно количеством работоспособных мужчин-добытчиков. Оно и понятно: их жены, дети, престарелые родители трудились на семью и поэтому подушными податями не облагались. А счет велся именно этим податям.

Как следует из царской грамоты, под началом у Тояна было «триста человек». Следовательно, вместе с семьями — не более полутора тысяч. Даже если к этому числу прибавить всех без исключения людей Басандая, Еваги, Тигильдея, Енюги и Ашкинея, Нижнее Притомье того времени трудно будет назвать многонаселенным. Правильнее сравнить его с песчинкой, затерявшейся на обочине огромной дороги, которая шла через мирные и немирные «землицы». Зимой эту дорогу покрывали «снеги великие», весной и осенью «зыбели и ржавцы», поэтому енисейские кыргызы из Алтысарского или Езерского улусов являлись в эушту за алманом в летнюю пору, когда тепло, сухо и земля щедро плодоносит.

На этот раз, узнав, что *орусы* по челобитию Тояна строят на Ушаевом бугре «двойную крепость», верховный предводитель енисейских кыргызов Немек велел своим ближним князьям Номче и Коре не мешать им в этом. Ссориться с Москвой из-за какой-то эушты неразумно, рассудил он. У кыргызов и без нее недругов хватало. Прежде всего черные калмыки (джунгары) контайши Хара-Хулы (другое написание Кара-Кула). Кто знает, может, скоро с орусами против них придется объединиться. А то, что с эушты нынче не взято, пусть алтысарцы с кизылов, басагаров, ачинцев, аргунов, шустов, камларов и других чулымских *кыштым*ов (данников) доберут.

Все лето Писемский и Тырков ждали *баранты* (набега), но его не последовало. Это означало, что енисейские кыргызы выжидают. Переговоры с ними вести можно. И не только с ними, но и с белыми калмыками (телеутами) зайсана Абака, кочующими в междуречье Иртыша и Оби. У них тот же, что и у енисейских кыргызов, главный соперник — джунгары.

В переводе с монгольского *джунгар* — это левое крыло войска. Во времена Чингисхана в него ставили самых сильных и бесстрашных воинов. Отсюда и пошло название ханств дербен-ойратов — «джунгарские». Позже джунгары получили прозвище «черные калмыки (колмаки)».

Телеуты гораздо миролюбивее их. От джунгар они отличались не только характером, но и внешностью. Потому и назывались — «белые калмыки (колмаки)».

Взвесив все за и против, Писемский и Тырков направили в Большой Улус к Абаку посольский отрядец во главе со служилым литвином Иваном Поступинским и конным казаком Баженкой Костянтиновым. Положение у Абака было незавидное: с одной стороны Хара-Хула его теснит, с другой — Казахская орда, а между ними «мунгальцы» Алтын-хана норовят свою часть зависимых племен у Абака отхватить. Самое время ему за спину Москвы стать. Да и в царском наказе ясно сказано: «...И в дальние землицы и волости, и в Чаты, и в кир-

гизы, и в орды, и в телеуты, и к кузнецам к князькам и мурзам, и к ясачным людям посылать служилых людей — литву и стрельцов и казаков добрых и просужих (опытных), а с ними толмачей с государевым жалованьем...»

Послы вернулись с известием, что людей у Абака пять тысяч человек, что дружить с Москвой он готов, а в Томской город обещал прибыть весной следующего года. Судя по всему, человек он осторожный, уклончивый, но при этом очень разумный и влиятельный. Мурза татар Тарлава — его зять, внук бывшего правителя Сибири Кучум-хана Аблайгирим — его дальний родич. Через посредничество Абака можно «прилучить» к Москве орчакского князя Кексежа, барабинского Когутея, калмыцкого Узеня и других окрестных предводителей.

Ободренные первым успехом, Писемский и Тырков тотчас отправили послов в Чаты и Тулуманы (земли обских и барабинских татар, входящие ныне в Новосибирскую область).

Тогда же томские казаки вспахали и засеяли за Ушайкой «для опыту» первое хлебное поле, а выходцы из Поморья и других рыбных мест стали ловить «для общего прокорма» на удивление вкусную и тучную рыбу.

Еще зимой служилые люди заготовили впрок и перевезли к Ушайке десятка два кип (штабелей) строевого леса, а как потеплело, начали сооружать из него плотину с подъемным мостом и мельницу. Работа затянулась до конца лета. Да и как ей не затянуться, если казаков-плотников теперь в крепости раз-два и обчелся? Пока одни мельницу и плотину делают, другим поручено в девяти верстах от города малый монастырский острожек с церковью Пресвятой Богородицы (Казанской Божией Матери) срубить. Тут одному за троих успевать пришлось. Зато сразу видно: искусная работа, боголюбивая.

Поскольку задняя бугровая башня Томского города поставлена была над тем местом, где плотина с мельницей перекрыла Ушайку, ее стали называть Мельничной, а монастырский острожек — Усть-Киргизским Богородицким монастырем. Ведь поставлен он близ устья речки, возле которой енисейские кыргызы разбивали свой стан, приходя на Томь за алманом.

Забегая вперед, следует сказать, что несколько лет спустя церковь Пресвятой Богородицы, срубленную на берегу Томи и Большой Киргизки, смыло половодьем. Ее пришлось ставить заново, но теперь подальше от своенравной воды. В 1658 г. случилась новая беда — пожар. Монастырь выгорел дотла. И тогда старец Ефрем и схимонах Исаяя заложили на Юрточной горе близ Мельничного пруда монастырь во имя Алексея человека Божия (1663). Туда и перебрались старцы с Усть-Киргизки...

Но это случится позже. А пока жизнь в Томском городе шла своим чередом — в строительных, посольских, караульных и других заботах. Каждый день был расписан от зари до зари. Тут-то и аукнулся томским воеводам ясак, который они прошлым годом в «присуде» кетского воеводы Постника Бельского на Томской город «не по государеву указу» взяли.

Летом 1605 г. посыльный доставил в Томской город новое послание кетского воеводы. Из него следовало, что двойной ясак, который взяли сначала томские, а следом кетские сборщики, вызвал возмущение остяцкой знати. Жена одного из князей донесла Бельскому, что он с другими такими же «мужиками» задумал *«как бы им кецких людей побивати... и Бог помиловал, что тех лутчих людей вскоре похватили... И князю Могуля сказал: присылали де к*



нам зимою Томской князеу Басанда да киргисский князеу Номзи Чюлымского князца Лагу... и велели де нам над Кеуком острогом промышляти всяким промыслом, огнем зажигати... А у Томских, и у Киргисских, и у Обских и у всех земель, которые государев ясак платят в Томской город, умышление над Томским городом и над государевыми служилыми людьми, и хотят приходить к Томскому городу в деловую пору, как люди разойдутся на пашни и на рыбную ловлю... а тех людей по пашням и на рыбной ловле побивати, и куда которых служивых пошлют и их побивать... и нам де грозили: не возьмете де вы Кеукого острогу, и мы возьмем Томский город, да вас всех побьем, да и Кеукий острог возьмем... И женки приходя сказывают, что есть над Томском городом умышление... И тебе, господине, по государеву указу жить бережно, а про то проведывать накрепко про их умышление и шатость».

В этом послании обращают на себя внимание несколько взаимосвязанных моментов. Прежде всего: зачинщиками «шатости и умышления» против служилых людей Кетского острога и Томского города стали не «худые люди» (то есть остяки-добытчики), а «лучшие» (князья и их родичи, те, что кормятся чужими трудами). Среди них — томский князь Басанда, в котором без труда угадывается давний недруг Тояна и орусов мурза Басандай. Еще одно знакомое имя — Номзи. Это тот самый князь Номча, которого тайша енисейских кыргызов Немек предостерег от набега на строившийся в землях эушты город. Было и еще одно написание его имени — Нечи, что значит «рыбешка». Как и в России, вражду, междоусобицы, войны затевали в Сибири алчные верхи, а страдали низы.

Жестоко расправился с заговорщиками бунта среди кетских остяков Постник Бельский. Десять самых знатных князей он велел бить кнутами.

Известие об этом разошлось далеко по округе, а затем вошло в исторические хроники. Томские воеводы в них не упоминаются. Значит, действовали они более сдержанно и осмотрительно. Значит, извлекли урок из прежних ошибок.

Время самозванцев

Тем временем ширилась, растекалась по Московскому государству опустошительная Смута. Всего через две недели после того памятного дня, с которого начинается история Томска, она вспыхнула с новой силой. 13 октября трехтысячное войско лжецаревича Гришки Отрепьева переступило рубежи русской державы. Состояло оно из польских и литовских жолнеров (солдат), гайдуков, панцирной шляхты, немецких и венгерских наемников, запорожских и реестровых (привилегированных польским правительством) казаков. К ним примкнули крестьяне, разоренные панами Польской и Литовской Руси, беглые холопы и (по словам летописцев того времени) «чернь, вертопрахи и висельники». Все это разноликое «полчище» вломилось в столицу древних Ольговичей пограничный город Моравск. А Монастырский острог, находившийся поодаль, сам распахнул перед ним ворота.

И разнеслась по городам Северщины огушительная весть: «Подымается наше красно солнышко, ворочается к нам Дмитрий Иванович! Станем возле его стремени! За правду Бог и добрые люди, а без нее не житье, а вытье».



Хлебом-солью встретили Лжедмитрия в Чернигове, зато под Новгородом-Северским он потерпел сокрушительное поражение. Хотел было повернуть назад, но тут новый подарок: ключевой город всей северской украины (окраины) торговый Путивль признал Гришку Отрепьева царевичем Дмитрием.

Сидя в Путивле, Самозванец стал слать издевательские «писули» Борису Годунову, называя его «старикашкой», сравнивая с бедной курицей, которая перед ястребом своих птенцов крыльями покрывает.

«А ты орла двуглавого, что на печати царской выбит, своим малодушием позоришь, — дразнил он престарелого монарха. — Чем Россию под мой гнев подставлять, выехал бы ты ко мне на поединок и сразился в честном бою».

Вскоре на сторону Лжедмитрия перешел Воронеж, Елец, Белгород, Оскол, Валуйки, Царёв-Борисов, Северский Донец и другие степные города. Тут он себя и вовсе божьим избранником почувствовал.

И двинулся к Москве, собирая вокруг себя обиженных и обездоленных.

13 апреля 1605 г. от Рождества Христова, ровно через пять месяцев после вступления Лжедмитрия на русскую землю, скоропостижно скончался Борис Годунов. Невзгоды последних лет окончательно подточили его и без того уже изношенные силы. Не сумел он превозмочь «злосчастную судьбу». Чуть не треть Московского государства в эти годы под могильные кресты легла. Одних голод и злоупотребления хлебных перекупщиков замучили, другие в схватках с властью или иноземными наемниками пали, третьи в распутстве и разбоях сгинули. Тут и крепкое сердце надорвется.

Смерть Годунова ускорила торжество Лжедмитрия. В начале июня под праздничный перезвон колоколов он въехал в Кремль, чтобы потом одиннадцать месяцев «по воле народа» править обезлюдевшей Россией.

До Томского города эта весть дошла не раньше второй половины сентября 1605 г. Нет сомнения, что она вызвала здесь разноречивые толки, а возможно, и серьезные разногласия.

Но служба шла прежним чередом. Ведь Москва далеко. Там всякого люда видимо-невидимо. Каждый своей выгодой живет, на прочие веши и города свысока глядит. Что ей Сибирь? Лишь бы исправно присылала пушнину, белую и желтую рыбу, целебные коренья и прочие таежные богатства да службу в дальних крепостях как положено несла. Остальное не ее забота. Кого надо, того Москва в цари и поставит. Для этого бояре и прочие досужие люди есть. Им видней, что и как должно быть...

По известиям, которые приходили из разных мест, нетрудно было понять, что в Первопрестольной началась большая чистка. Стронники покойного царя Бориса оказались в опале. На их место пришли новые люди со своими порядками. Для них плохо все, что делалось прежде. Главное для них — служить не государству, а себе самим, ни с какими запретами и призывами к справедливости не считаясь. Это тоже самозванцы, но более мелкого калибра — хваткие, двоедушные, без чести и совести.

Именно такие люди — Матвей Ржевский и Семен Бартенов в мае 1606 г. сменили первых томских воевод Писемского и Тыркова. Сохранилась челобитная (жалоба) казаков и стрельцов на их вопиющую, идущую вразрез с наказаниями Бориса Годунова вседозволенность. Вот небольшой отрывок из нее: *«Как ехали*



Матвей и Семен в Томской город Обью рекою с усть Иртыша, и едучи по Оби реке ясаиных людей пытками пытали, и поминки с них великие имали, и их грабили, лисицы, и собаки, и рыбу, и жир, чем они сыты бывают, имали насильством, и от того де в ясаиных людях стала измена великая, и те в Томской город не приходят... А служивым де людям царское денежное и хлебное жалованье и оклады давали в кабалу... рублей по 10 и 20. Да в Томской город приходила из Киргиз Номчина жена бити челом государю царю, чтоб им киргиским людям быть под царской высокою рукою; и Матвей де и Семен с Номчины жены сняли грабежом шубу соболью, и за ту де шубу киргиский князеу Номча воевал государевых ясаиных людей Чюлымских волостей... Да от Матвеева ж де и от Семенова насильства и изгону побежали ис Томского города казаков 12 человек... Да в Томской же город приходил ис Черных колмаков лутчай князеу Цызыян бити челом государю чтоб им быть под царской высокою рукою и челом государю два коня добрых ударил, и Матвей де и Семен те кони взяли себе и послали к Руси по своим поместьям с своими людьми полем, мимо Томского города...»

Но не только о вседозволенности свидетельствует жалоба томских казаков и стрельцов. Она подтверждает, что Писемский и Тырков, не в пример Постнику Бельскому, отнеслись к кетским заговорщикам и впрямь сдержанно и осмотрительно. Одного из наиболее активных его участников князя Алтысарского улуса Номчу они сумели через посредников убедить в необходимости союза с Москвой. Более того, условились, опять же через посредников, о встрече. Однако, узнав, что томские воеводы сменились, осторожный Номча сам в Томской город не поехал, а послал вместо себя жену. Тут-то и показали себя Ржевский с Бартеневым. Одним махом они разрушили связи, которые их предшественники терпеливо и постепенно выстраивали не только с енисейскими кыргызами и черными калмыками, но и с другими сибирскими народами.

Такое было время: одни строили, другие ломали; одни служили верой и правдой, другие позорили имя истинных сынов Отечества.

Колмацкий торг

Гаврила Писемский вернулся в Москву летом 1606 г., уже после того как Лжедмитрий Гришка Отрепьев был убит, раздет и брошен в грязь посреди главной торговой площади, названной впоследствии Красной, а царем стал Василий Шуйский. Присягнув на верность «законному государю», Писемский получил чин *столичного дворянина* и отправился воеводствовать в Алатырь на Волгу. Там он собирал ополчение и деньги для борьбы со вторым Лжедмитрием Богдашкой Шкловским, более известным как Тушинский вор, а затем и с третьим — Матюшкой Веревкиным.

Тогда же получил царское пожалование Онжа Алачев. За то, что «*в прошлом во 112-м году (7112) был он в Томском городе з Гаврилом с Писемским, а с ним было котских остяков 100 человек, город ставили и городовое дело делали*», Онже дарованы были волостишки Васпуколок и Кулпуколок на Нижней Оби «*со всеми угоды и с ясаком*». Больше того, после смерти старшего брата Ичигея к нему перешла власть над Кодским княжеством.



Остался в Сибири и Василий Тырков. В 1606 г. он вернулся в Тобольск. Здесь его ждало новое назначение. Большой сибирский воевода Роман Троекуров отправил Тыркова «воевать» сына Кучум-хана Алея и его братьев Каная, Азима и Кубей-Мурата, разорвавших крестьян и служилых людей Прииртышья и ближнего Приобья.

Из-за смены томских воевод не сдержал свое обещание прибыть по весне «к царскому пожалованию» не только киргизский князь Номча, но и зайсан приобских телеутов Абак. Очень уж разбойно повели себя Ржевский и Бартенев со своими подданными — вместо того чтобы найти с ними общий язык, «в ропоты вогнали». Можно представить, как они себя с другими сибирскими народами поведут. Лучше держаться от таких управителей подальше.

Лишь два года спустя, уже при следующих томских воеводах Василии Волинском и Михаиле Новосильцеве, отношения с белыми калмыками вновь стали налаживаться. На этот раз в Большой улус на реке Мерети отправился посольский отрядец во главе с казаком Ивашкой Коломной. В товарищах с ним пошли Васька Мелентьев, Ивашка Петлин и эуштинский князь Тоян Эрмашетов.

Время было выбрано удачное. Войско джунгар Хара-Хулы увязло в столкновениях с Казахской ордой и латниками Алтын-хана монгольского. Не до выяснения отношений с телеутами им теперь. Вот и стали томские посланцы звать Абака в Томской город, чтобы там о союзе с Москвой договориться.

Но Абак заопасался, как бы его в Томском городе «в заклад» (под стражу) не взяли. Так правители многих народов делают, чтобы «измором» добиться того, к чему по согласию не смогли прийти.

Положение спас князь Тоян. Он согласился остаться у телеутов *аманатом* (заложником) до тех пор, пока Абак с сопровождающими его мурзами и другими «лучшими людьми» не вернется в Большой улус.

В марте 1609 г. Абак прибыл в Томск и присягу на верность Москве дал. В свою очередь томские воеводы обязались оберегать его от «мунгальского Алтын-хана и Казахской орды», разрешили кочевать «блиско Томского города», «устроить за рекой колмацкий торг», а «ясаку за то не давать» (то есть торговать без пошлин). Вот как описал это событие томский дьяк:

«Обак приехал, с ним мурзы и лутчие люди челом ударили и поминки дали соболей да лисица красная. И воеводы ему сказали милостивое слово... Царсково жалованья дали Обаку князю: однорядку, да рубашку золотую, да колпак, да сапоги, а мурзам по однорядке настрафильной и людям ево по однорядке рословской. Без ясака почали часто з базаром и лошадьми и с коровами приходит в Томской город, и лошадьми, и коровами служивые люди наполнилися в Томском городе... Черные колмаки з белыми колмаками кочуют многие заодно... Обак и мурзы подкочевали со всем улусом за день до Томского города. Велели Обаку черных колмаков призывать, Черные колмаки воюютца с Алтынцарем и потому мало приходят».*

Так на томской земле появились коровы алтайской породы.

Вскоре после шерты Абака на дальние пастбища эушты напали воинственные кужегеты. Табуны коней и отары овец захватили они, но далеко отогнать не успели. На пути их стал со своими воинами один из боевых князей Абака

* Долгополый кафтан без ворота.



Изенбей. Пришлось кужегетам, бросив добычу, убраться восвояси. За такое «братство» томские воеводы наградили Изенбея однорядкой «из добрых су-кон» и не менее добрым кафтаном.

Не раз потом казаки, эуштинцы и телеуты сообща будут сдерживать натиск енисейских кыргызов и джунгар, а порой и сами в наступление переходить. Однако не раз и неприятелями станут. То воеводы своих обещаний не выполняют, чем оттолкнув от себя Абака, то Абак начнет лавировать, более выгодных союзников искать. Ему предстоит править «телеутской землицей» еще двадцать пять лет, а потом столько же его сыну Коке. И все эти годы по «колмацкому торгу» на левом берегу Томи можно будет судить, в каких отношениях находятся горожане с телеутами. Если он ломится от людей и скота — дружат, если пуст — враждуют...

Исторические фамилии

Разбирая архив Сибирского приказа за вторую половину XVII в., новосибирский ученый Б. П. Полевой буквально споткнулся об «историческую фамилию» — Тырков.

В руки ему попал действительно интереснейший документ. Внук Василия Фомича Тыркова, тобольский «недоросль» (то есть молодой человек, не достигший 21 года), нижайше просил царя Алексея Михайловича зачислить его на военную службу, а поскольку своих заслуг у него пока не было, не преминул перечислить заслуги деда. Получилась краткая, но весьма насыщенная событиями биография, дополняющая новыми сведениями то, что было известно о Тыркове-старшем прежде.

«...В прошлых, государь, годех служил дед мой Василий Тырков... в Тобольску и в иных сибирских городех тридцать восемь лет всяки службы в детях боярских и многих иноземцев в Сибири Пелымскую и Кондинскую землю под вашу государеву высокую руку дед мой привел и за ту службу пожалован вашею государевою милостью и жалованьем, велено ему в Тобольске служить из четверти. Да в прошлых же, государь, годех окольников и воевода Семен Сабуров посылал деда моего ис Тобольска в Томь через Тару ко князям и к мурзам с вашим государским жалованьем с милостивым словом и с ковши и с платьем и з грамотами за вашею государскою печатью. Да в прошлом же во 111 году посылан был дед мой с служивыми людьми ставить вновь Томской город и дед мой Василий Тырков Томской город поставил и которые были немирные земли, Томь и Тулуманы и Кузнецы и Мелесцы и тех под высокую государеву руку привел и ясак с них взял. Да и в прошлом же, государь, во 114 году воевода князь Роман Троекуров посылал деда ж маево Василия Тыркова из Тобольска на вашу службу со служивыми людьми в степь на царя Алея, сына Кучумова, воевать и дед мой с служивыми людьми тово царя Алея на степи погромил совсем, имал его сестры и племянников в полон взял...»*

По какой-то причине Тырков-младший не упомянул два важных периода в жизни деда. В 1609 г. Василий Фомич был послан в пермские земли, чтобы

* Восьмой тобольский воевода; прибыл в Сибирь в 1599-м, умер в 1600 г.



ускорить сбор денег для войска князя Михаила Скопина-Шуйского, наголову разгромившего полчище второго Лжедмитрия. А в 1612 г. собрал он сибирскую дружину в помощь нижегородскому ополчению Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и вместе с ней участвовал в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия. Зато в челобитии внука содержался факт, неизвестный прежде историкам: *«Да в прошлом же, государь, в 121-м году посылан был дед мой на вашу государеву службу ис Тобольска в Томской город на воеводское Михайлово место Новосильцево и в Томском городе служил дед мой на воеводстве два годы и многих киргизских воинских людей, которые приходили под Томск побил и город отстоял».*

Другими словами, в 1613 г. Василий Фомич Тырков вновь стал томским воеводой. К тому времени город наполовину выгорел. Его подожгли бежавшие от «лихоимств» Василия Вольнского и Михаила Новосильцева казаки. Время «самозванщины» довело город до «последнего упадка». Вот и пришлось Тыркову не латать, а перестраивать заново крепостные стены и башни разваливавшейся на глазах крепости, оборонять город от енисейских кыргызов, а потом искать с ними и другими «отложившимися» от Москвы племенами замирения и дружбы.

Первое крупное нападение кыргызов на Томской город пришлось на июль 1614 г. Теперь мы знаем, что томскими воеводами тогда были Василий Тырков и атаман Иван Пуштин. Это подтверждает и такая сводка приказа Казанского и Мецкерского дворца:

«Да в прошлом же во 122-м году писали к нам ис Томсково города Василей Тырков и Иван Пуштин... июля в 10 ден приходили под Томской город киргиские и мелесские люди войною безвестно и под городом в огородах и у служилых людей и у пашенных крестьян жон и детей их побили... на том бою убили наших служилых людей двенадцать человек, а иных изранили, и у пашенных крестьян ярыжных побили, их хлеб весь вытоптали и лошади и животину всякую отогнали... а схвачены кому казакам носы и уши резали».

Казалось бы, на такую жестокость казаки должны были ответить не меньшей жестокостью, но документы тех лет говорят о другом. Русские служилые люди стойко оборонялись, а нападая, старались обезоружить и захватить в плен противника, прежде всего князей, их сородичей и «лутчих улусных мужиков», с которых можно было стребовать ясак или «окуп» за все племя сразу. Убивали они только тогда, когда это спасало их собственную жизнь и жизнь товарищей, а над пленными «не злобствовали».

Не затерялось имя Василия Тыркова в сибирской истории и после того, как он заново отстроил Томской город. В 1620 г. он расследовал злоупотребления кетского воеводы Чеботая Челищева и отстранил его от должности. В 1624 г. — сделал первую перепись населения Тарского уезда и составил подробнейшее описание самой Тары для «дозорной книги». Умер Василий Фомич Тырков в 1625 г. в Тобольске. Его дом стоял на 2-й Устюжской улице, возле которой протекала речка с красноречивым названием Тырковка.

Историческим стало и имя Гаврилы Писемского. При царе Михаиле Романове он служил вторым воеводой в Невеле, затем размежевывал русские и польско-литовские земли. В Томске его именем названа одна из улиц.

А имена многих казаков, строивших Томск и другие сибирские крепости, сохранились в названиях поселений, основанных ими. Отслужив «долгие службы», они получали в награду «землицы для пашни», обзаводились хозяйством и пускали в сибирской земле крепкие корни. Вот лишь небольшой перечень таких поселений: Карбышево, Вершинино, Губино, Кожевниково, Гутово, Сгибнево, Астраханцево, Костантиново, Баташково, Соломатово, Аркатьево, Поломошное, Коломино, Трубачево, Батурино, Дорохово, Попаддейкино, Молчаново, Сеченово, Лучаново, Нелюбино, Десятово, Заварзино, Кривошеево, Лаврово.

В одном ряду с ними стоят поселения, сохраняющие память о коренных насельниках Притомья — Эушта, Тигильдеево, Шулюяково, Кормушаково... Мало кто догадывается ныне, что Нестояново озеро раньше звучало как *КнезТояново* (так оно записано в первых русских документах), а Нестоянка — это *КнезТоянова* речка. Кратчайший путь от Томска до села Киреевского на Оби старожилы и сегодня именуют Танаевой дорогой, а ведь это имя сына-наследника Тояна — Таная. В Томске же о «младенческих годах» города повествуют названия таких улиц, как Эуштинская, Тояновская, Татарская, Басандайская, Большая Каштачная, Томская, Селькупская, пять Усть-Киргизок, Юрточный переулочек, Каштак (*каш* — кочевать, *кыш* — зима, *тау* — горы; отсюда — зимний выпас для скота на возвышенности), Конная площадь и другие.

Встречь солнцу

Население Томского города год от года увеличивалось. Казаки и стрельцы заводили семьи и переселялись в острог, ставили там избы, вскапывали возле них небольшие огороды. За отсутствием невест «российского корня» жили с женщинами из местных племен.

Государеву пашню заложили на Елани (район улиц Советской и Герцена). Поначалу распахивали ее своими силами. Потом им в помощь прислали крестьян из Тарского острога, а в 1608 г. и позже — более пятидесяти ссыльных. Пополнили отряд томских земледельцев и новокрещены из числа коренных жителей Среднего Приобья. На это указывают такие строки царского наказа: *«А которые будет тотаровя и остяки пашню пашут, и с тех бы татар и остяков ясаку имать не велети, а велети с них имать хлебом. И служилым людям говорить, чтобы они себе для своей нужи пашню пахали, сколько кому мочно, а на семена рожь и овес и ячмень послано»*.

Много строительных, оборонительных, хозяйственных и других забот легло на плечи Томска, самого восточного в ту пору города Московского государства. Он стал тем рубежом, по одну сторону которого заканчивалась «первая», уже «знаемая» Сибирь, по другую начиналась Сибирь «вторая». Ее еще предстояло узнать, а узнав, объединить «под высокою царской рукой» раздираемые распрямами и междоусобицами сибирские княжества. Как это сделать быстрее и разумней, пусть думают сибирские воеводы. Они там рядом, значит, им видней.

В 1616 г. из разных мест в Томской город поступили сведения о том, что Алтын-хан монгольский Кункачей, теснимый джунгарами, готов стать за спину Москвы. Вот и решили Гаврила Хрипунов и Иван Секерин, сменившие на воеводстве Тыркова и Пушина, отправить в ставку Алтын-хана казачьего атамана



Василия Тюменца, а с ним десятника Ивашку Петрова, конного казака Ваську Ананьева и толмача Лучку Васильева. Люди они бывалые — и посольское дело наилучшим образом сделают и новые земли заодно проведут.

«Киргизская де земля кочевая, — поведали они по возвращении в Томск, — живут в ызах полстяных, а ходят в шубах и в зипунах, а едят рыбу и зверь бьют, а бой у них лучшей. Лошадей и коров и овец много, хлеба не сеют, и не родитца... А сен де на скот не готовят... к зиме сен ставить на лошади и на рогатый скот негде».

У сакм (дорог) их встречали серые каменные бабы (*кур-туяк-таи*) с губами, блестящими от жира и крови. Это местные племена, поклонявшиеся горам, рекам, солнцу и камням, зверям и птицам, угощали своих идолов после удачной охоты. Прежде чем положить к подножию *кур-туяк-таи* свои дары — куски мяса, съедобные корни, красивые речные камни, прежде чем воткнуть подле прутья с разноцветными лоскутьями, кочевники трижды объезжали идолов на лошадях. А потому каменные истуканы будто неглубокими кольцами-тропинками обведены. Это их нимб, их охранная линия...

Проезжая через земли «понизовых киргизов», видели томичи, как возятся в пыли, среди лошадей и верблюдов ребятишки, тешатся трещотками, свистульками, стреляют по птицам из малых луков и пращей, играют в меховые, глиняные или деревянные куклы, в *хазых* (бабки), пляшут под *чатхан* (громоздкий музыкальный инструмент со струнами из бараньих кишок). Завидев путников незнакомого облика, они смолкали, сбивались в ватаги, издавая *уран* (боевой клич), и даже метали *стрелы с грозами* (вызов на поединок).

По-разному встречали отряд Тюменца и западные монголы — иные «с невежеством, с криком и шумом», иные с уважением и почестями. Эти угощали гостей вином из кобыльего и коровьего молока (без хмеля), мясом и сладкими кореньями, старались завести добрые отношения, провожали до следующих улусов.

Добравшись до реки Кангери, посланцы Томского города двинулись вперед по каменной щели и через три дня вышли наконец к «синеглазому» озеру Убса-Нур (территория Тувы).

Переговоры с Кункачем завершились успешно. Алтын-хан дал клятву на верность Москве, просил прислать к нему мастеров, которые бы научили его людей делать пищади и порох, а чтобы джунгары Хара-Хулы не мешали их сношениям, предлагал стать против них общей силой.

В челобитной царю Михаилу Романову Василий Тюменец изложил все это по-военному кратко: *«И я, холоп твой с послами у Алтын царя был, и про Китайское государство, и про желтово, и про Одря, и про Змея царя поведал. И я холоп твой тебе государю служил, и Алтыновых послов к тебе государю в Томской город привели».*

Тому же Василию Тюменцу поручено было сопроводить монгольских послов в Москву. Пусть они сами расскажут там о своей «землице» и других восточных странах, прежде всего о Китае.

Из Москвы в то время Китайское государство виделось небольшим и небогатым. Но туда настойчиво рвались англичане и не кружным путем, а непременно Обью-рекой. Посол Англии Джон Мерик просил основать вольную торговлю по Оби с Китаем и Индией, о которых, по его словам, ему ничего



толком не было известно. Обещал за это большие пошлины и особые отношения в делах государственных. Это и насторожило Москву. Англичане ничего без выгоды для себя не делают. Да и подзапутались они в объяснениях. Зачем им налаживать торговлю с народами, о которых они «не сведомы», да еще и обещать наперед за это большие пошлины? Проще самим разведать, что за страна Китай, и свои отношения с ней наладить. Чай не вывелись на Руси казаки-землепроходцы...

Два года спустя, возвращаясь из Москвы, послы Алтын-хана монгольского вновь побывали в Томске. Дальше на восток вместе с ними отправился томский посольский отряд под началом «государева послужильца» Ивашки Петлина. Ему предстояло «проведать» Китай, установить с ним дружеские связи.

Много интересных сведений собрали во время своего «хождения» Ивашка Петлин «с товарищи» Пятунькой Кизыловым, Андрюшкой Мундовым и другими томскими казаками: *«И пришли оне в Китайское государство... Зделана стена каменная в вышину сажен с 15. И шли оне подле той стены с приходу 10 ден, а подле стены сидят села и деревни Манчики-царицы. И в те 10 ден, идучи, на стенах никово не видали. И приехали в ворота, а в воротах стоят пищали велики, и ядров в них з голову человечью, и людей в воротах много, с 3000 человек. А приезжают к воротам торговать с товары Алтыновы люди, да приезжают к тем же воротам с лошадьми и торгуют с китайскими людьми, а за стену с Алтыновых людей пуцают немного.*

И всего шли от Томи до ворот, oprичь простойных дней, 12 недель. И от ворот шли... до дальнего до Китайского города 10 ден. И пришли в Китайский город после Семена дни . И поставили их на большом на посольском дворе. И были оне в Китае 4 дни. И приезжал к ним на двор дьяк, а с ним по 200 человек на ишеках, а люди нарядны. И их подчивал раманею и всякими заморскими питьями. И говорили: прислал де к вам царь Тайбун, а велел вас спросить, для чего есте в Китайское государство пришли? И они де ему сказали, что великий государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси прислал их в Китайское государство проведать и царя видеть. И он им сказал, что царя видеть без поминков нельзя, и дал им грамоту...»*

Вот что говорилось в этой грамоте:

«...И Валли Китайский царь говорил им, русским людям: с торгом приходите и торгуйте; и выходите и опять приходите. На сем свете ты великий государь, и я царь не мал, чтобы между нами дорога чиста была, с верху и с низу ездите и что доброе самое привезете и я против того камками добрыми пожалую вас. И ныне вы назад поедите, и коли опять сюда приедите, и как от великого государя люди будут, и мне бы от него велети государев лист привезли, и против того листа и я лист буду посылать... А мне к вам великий государь своих послов послать нельзя, что путь дальний, и языка не знают».

Так была открыта торговля между двумя сильными государствами.

Однако следует упомянуть и о том, что с шаром, или дамбагу (табаком), служилые, пашенные и посадские люди первых сибирских крепостей познакомились гораздо раньше. Его «задорого» можно было купить на татарских, киргизских и калмыцких торгах, у заезжих бухарцев, выменять у местного на-

* После 1 сентября.



селения или вырастить самому. К тому времени, когда посольский отряд «тарханбакши» Ивана Петлина (так уважительно называли его монголы и китайцы) вернулся в Томск, в Тобольске, Мангазее, Березове курение табака было запрещено. Очень уж много бед и злоупотреблений было связано с ним. (Пятнадцать лет спустя царь Михаил Федорович распространит этот запрет на всю Россию. Виновные будут караться конфискацией имущества, телесными наказаниями, а то и смертной казнью.)

Что касается англичан, то известие о хождении томских казаков в Китай вскоре было включено в описание наиболее важных путешествий, составленное и изданное в Лондоне известным хронологом Самуэлем Перчезом.

Но вернемся в 1618 г. Его начало отмечено еще одним знаменательным событием. Во второй половине февраля в устье реки Кондомы, впадающей в Томь, сошлись конные казаки томского сына боярского Евстафия Харламова, казачьего головы Молчана Лаврова с лыжным отрядом татарского головы Осипа Кокорева — и Кузнецкий острог «поставили божьей помощью». Через два года он будет перенесен на высокий правый берег Томи ниже устья Кондомы и описан «в расспросе» одним из его основателей так: *«Кузнецкий де острог стоит на реке Томи, а от Томского города до того острогу езды вверх водою шесть недель, а сухим путем из Кузнецкого острогу до Томского города десять ден ходу. А около Кузнецкого острогу на Кондоме стоят горы каменные великие. И в тех горах емлют кузнецкие люди камень, да то камень разжигают на дровах и разбивают молотами на мелко, а разбив, сеют решетом, а просеев сыплют понемногу в горн, и в том сливается железо, и в том железе делают панцыри, бехтерцы, шелома, копы, рогатины и сабли и всякое железное, опричь пицалей. И те панцыри и бехтерцы продают калмыцким людям на лошади, и на коровы и на овцы, а ныне ясак дают калмыцким людям железом же. А кузнецких людей в кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело, и с тех кузнецких людей дают государю ясак немногие люди, которые живут ближе к острожку, всего с двести человек, а живут они в горах... А которые кузнецкие люди живут от кузнецкого острогу далеко и теми кузнецкими людьми владеют калмыцкие люди, ясак с них емлют соболями и железом всяким данным».*

В ту пору первопроходцами являлись практически все томичи. Одни из них разведывали дальние неведомые земли, другие осваивали и обживали ближние. Далеко за Каменным поясом (Уралом) выращивали земледельцы рожь, ячмень, овес, превратив бесплодный прежде край в одну из богатейших житниц Зауралья. Нашли залежи ценной глины, минеральных красок и слюды в Притомье, поставили на Чулыме Мелесский острог (1621). А через год в трех верстах от Томска кузнец Федор Еремеев обнаружил залежи железной руды и сообщил об этом тогдашним воеводам Ивану Шеховскому и Максиму Радилову. Дальше в царской грамоте с красноречивым названием «О железе» читаем: *«...И они посылали с тем кузнецом с Феткою казака Пятуньку Кизыла для опыту по камень и по железную руду; и они с ним тово камень и железные руды Фетке кузнецу велели железо варить при себе; и родилося ис той руды и ис камень железно добро, такое ж, что и в Кузнецкой земле; и то они железо прислали к нам к Москве с тем же кузнецом с Феткою Ере-*



меевым. И на Москве то железо переплавляли, и то железо добро, будет из него сталь. И по нашему указу за то кузнецу Фетке Еремееву, который приезжал к нам к Москве с тем железом и тое железную руду приискал придано нашего денежного жалованья к 5 рублям с четью 5 рублев денег, хлеба к 5-ти четям муки, да к чети круп и толокна; да ему ж дано нашего жалованья сукно доброе. Да Томского города казаку Пятуньке Кизылу, который послан был с тем же кузнецом с Феткою для проведывания тое железные руды, дано нашего жалованья сукно доброе. А на Москве в Казанском дворце тот кузнец Фетка Еремеев в расспросе сказывал: будет де мы укажем в Томском городе делать железный наряд, и в Томске железо можно делать, пищали полторные и полковые и скорострельные и к тем пищалам ядра железные, только де надобно такие кузнецы, кому б дело было за обычай».

Вернувшись в Томск, Федька Еремеев собрал обещанный на Москве «железный наряд». В него вошли присланные из Устюжны Железнопольской кузнецы Ивашка Баршен и Вихорка Иванов «со своею кузничною снастью», тобольский казак Тренька Горноста́й и томские послужильцы Федька Петров да два Бориски — Клементьев и Михайлов. Соорудили они домницу для выплавки сыродутного железа и приступили к разработке рудного месторождения на Томском уступе (район Лагерного сада).

В 1626 г. особой грамотой государя томским воеводам было запрещено брать с кузнецких людей ясак железными изделиями, только пушминой. Смысл этого распоряжения можно понять и так: у вас теперь своего железа достаточно.

Еремеев и его помощники немало сделали. Ими была отлита и установлена на Взвозной башне «пищаль железная, что делана в Томском городе в новом железе ядро фунт без чети, а к ней ядер железных по кружалу 150 ядер». Другую пушку томского производства подняли на главную башню Томского острога — Бугровую (еще ее называли Киргизской, потому что алтысарцы при набегах прежде всего пытались овладеть ею).

Однако за несколько лет запасы железной руды на Томском уступе поистощились, а в Верхотурском и Туринском уездах, на Невье и Нице, найдены были большие запасы более дешевого железа. Вот и поступила команда из Москвы (1628): «Железо в Томском городе вперед варить не велено».

Нижний острог

В 1629 г. царским указом Сибирь была разделена на два разряда — Тобольский и Томский. К Томску отошли Сургутский, Нарымский, Кетский, Енисейский и «новый острог, что велено поставить Андрею Дубенскому в Красном Яре»*.

Так случилось, что полномочия стольного города «второй Сибири» Томск получил в год своего двадцатипятилетия. Подведомственная ему территория вдруг стала больше той, что занимали Англия, Венгрия и Дания, вместе взятые. А томским воеводам было даровано право от имени Москвы обмениваться полами с Алтын-ханом монгольским, китайским царем и другими повелителями

* К тому времени Красноярский острог уже стоял. Он срублен в августе 1628 г. на высоком обрывистом мысе между Енисеем и его притоком Качей.



азиатских стран. Однако сам Томск на столичный город тогда мало походил. Очень уж невелик, тесен, большей частью на Воскресенской горе скупился.

Гору эту стали так называть с 1622 г., когда на ее оголовке поставлен был Успенский мужской монастырь. Обнесенный стеной из одноярусных городен, он напоминал крепостцу. Посреди этой крепостцы устроен был храм во имя Воскресения Господня и прицерковный погост, а напротив высилась стена острожного посада с встроеной в нее дозорной башней. Монастырь и острог разделял довольно крутой взвоз. С одной его стороны возвышался храм, с другой — острожная башня, очертаниями своими напоминающая храмовое строение. Эти «ворота» соединяли верхнюю, сравнительно многолюдную часть города (три с половиной сотни служилых людей и пятьсот семейств на острожном посаде, примыкавшем к городу на Ушаевом бугре) с нижней, малозаселенной. Давно шла речь о том, что и на Песках следует посад срубить, но до него все как-то руки не доходили.

А тут вдруг благодаря тому, что Томск стал разрядным городом, дошли. Случилось это при воеводах Петре Пронском и Алексее Собакине. Вот как они отписали об этом событии царю Михаилу Федоровичу: *«В нынешнем, государь, во 138-м году... поставили мы холопи твои Петрушка и Олешка около подгородного всего посаду по обе стороны реки Ушайки новый острог <со> дворяны и служивыми и жилецкими и приезжими и торговыми и всякими людьми. А у того, государь, подгородного острогу проезжих четверо ворота больших, да четыре башни глухих. А для, государь, приходу воинских людей на воротах надобе по пищали полковой да по две затинных, да над ворота де надобеть для всполохов по колоколу вестовому. Да прежь, государь, сего писали мы холопи твои к тебе, государь, что на городской на большой башне был колокол блавестный и вестовой пудов в 30 и больше, и тот колокол перед нашим холопей твоих приездом во 137-м году в сполошное время разбили, и ныне, государь, в Томском городе колокола блавестного и вестового никаково нет. И о том как ты государь царь и великий князь Михаил Федорович всяя Русии укажешь».*

Сейчас трудно себе представить центральную часть Томска, огороженную острогом, северный частокот которого тянулся от Томи (там, где раньше было Исток-озеро) по улице Ванцетти до взвоза, ведущего на Воскресенскую гору. Восточная стена Нижнего острога проходила по Большой Подгорной улице и, шагнув через Ушайку, продолжалась до мыса Юрточной горы. Здесь южная часть острожной стены поворачивала к Томи (район улицы Беленца) и шла до устья речушки Исток, впадающей в Томь. Западная замыкала острог по береговой линии Томи от одного Истока до другого. Получался искривленный, вытянутый с севера на юг четырехугольник со сторожевыми башнями, скрепляющими стены. На каждой из них имелись вестовой, блавестный или сполошный колокола и полковые пушки. В каждой стене устроены ворота из двух створ (одна для воез, другая для «пешего люда»). Вдоль северного и южного частокотов еще и рвы вырыты. Ручьев, малых озер, ключей вокруг было не счесть. Их водой и заполнялись рвы. А перед рвами высились земляные валы.

В 1633 г. посреди Нижнего острога была срублена небольшая церковь во имя Крещения Христова, более известная как Богоявленская (она стояла там, где ныне находится часовня во имя Иверской Божией Матери).



Нижний острог стал стремительно заселяться. Неподалеку от Богоявленской церкви появился свой гостиный двор. К нему стали лепиться торговые лавки, амбары, склады, постоялые дворы. Расширилась, обустроилась томская пристань. На берегу Ушайки в складчину была построена «торговая баня» и много еще разного назначения построек.

Вскоре здесь зашумело, расцвятилось яркими сукнами, кумачом, всевозможными изделиями из кожи, зеркалами, украшениями, медной утварью, всякими китайскими, бухарскими, монгольскими товарами «базарное место». Монастырские и казацкие «прожиточные» люди повезли на продажу муку, зерно, соль, толокно, солод, рыбу, кузнечные изделия. Не остались в стороне владетельные эуштинцы, чаты, «захожие» остяки: они продавали меха в пластинках (несколько хребтов, сшитых вместе), собольи «пупки» и хвосты, исподы и пояса из выдры и куницы... В эту круговерть попали и «нижние» посадские люди — какой торг обойдется без подсобных людей, годных на извоз и перевалку?

Изначальные промыслы томичей дополнились новыми — портняжным, «збруйным», сундучным, веревочным, мыловаренным, свечным, гончарным, маслобойным, войлочным, деготным, столярным... Но все делалось пока малыми партиями — прежде всего «для своего обиходу».

Расширился и Верхний посад. Со временем он ступил за острожные стены к Ак-Кулю, иначе говоря к Белому озеру. Так его называли эуштинцы. Белый цвет у восточных народов — это символ удачи и счастья, здоровья и силы. А воды Ак-Куля славились тем, что излечивали болезни глаз, желудка, суставов, делали человека бодрее и крепче. (Как объяснили впоследствии ученые Томского университета, озеро подпитывалось целебными радоновыми ключами.) Скорее всего, томские служилые люди переняли это название у местного населения, перетолмачив его на русский лад. Но есть и другая версия, более лирическая. Согласно ей, к озеру подступал березняк, стволы которого, отражаясь в воде, и делали его белым.

Из озера стекала в Ушайку речка, которую тоже называли Белой. Восточнее нее начинался район, богатый глинами, подходящими для устройства печей, стен и других кирпичных сооружений. Его так и прозвали — «Кирпичи». А на западных склонах Воскресенской горы стали селиться кузнецы, литейщики, железных дел мастера. Они и основали Кузнечные взвозы. Здесь делалось все — от ложек, ножей, серпов, подков, узорных решеток, дымников, лемехов и сошников к пугам до сабель, малых пушек и ядер к ним.

Заселялась посадскими людьми и Юрточная гора. К тому времени ее название уже мало соответствовало реальному положению дел. На месте юрт эуштинцев возник земляной городок, в котором жили не только они, но и чаты, и телеуты, и бухарцы (так называли мусульман из числа среднеазиатских купцов, ремесленников и караванщиков). В 1631 г. воевода Петр Пронский всех их перевел под Юрточную гору на притомские заливные луга (ныне район Московского тракта). Жители Верхнего и Нижнего острогов стали называть эти места Заисточьем. Так возникла татарская слобода и улица Татарская. Здесь и рождались первые томские сказания, знакомство с которыми впереди.

По росписи 1635 г. Томск получил новую печать. «На томской <печати> коруна (то есть царская корона), а около вырезано: “Печать государе-

ва Томского города”». Гербом его, как и других сибирских городов, оставалось изображение двух соболей. До собственного герба Томску еще предстояло дожить.

«И мы, государь, холопи твои...»

В 1636 г. был создан Сибирский приказ. Если вспомнить, что первый русский город Сибири Тюмень основан в 1586 г., то получится, что для этого потребовалось ровно пятьдесят лет.

Срок, как видим, не малый. И все это время Сибирь управлялась «попутно». Сначала ею «ведал» Посольский приказ. Но это понятно: тогда она еще не стала частью Московского государства и воспринималась как «чуждаляняя сторона». Затем Сибирь перешла в ведение приказа Казанского дворца, который отвечал за отношения России с казанскими, мецшерскими и астраханскими землями. (Мецшерой назывался край между Окой, Клязьмой, Судогдой, Колпью и Москвой-рекой, заселенный в ту пору «понизовыми татарами».) Не удивительно, что в приказе Казанского дворца решались дела прежде всего этих территорий и что самыми частыми посетителями здесь были знатные и торговые люди именно этих «царств», а до Сибири руки доходили в последнюю очередь.

Но вот очередь и до нее дошла. Не только в Москве, но и в других странах стали осознавать значимость Зауралья, относиться к нему не просто как к «улице» Московского государства, но как к набирающей силу «Сибирской России». А коли так, то и приказ ей нужен особый — с распорядительными, организаторскими и посольскими полномочиями.

Особых перемен в жизнь Томска появление Сибирского приказа не внесло. Только больше внимания стала уделять ему Москва, более покладистыми стали воеводы других сибирских крепостей и князья ближних и дальних улусов. Однако служба рядовых казаков, их десятников, сотников и атаманов легче от этого не стала. Напротив, новые обязанности тяжким грузом легли именно на их плечи. О том, что это за обязанности, довольно подробно повествует такая вот челобитная томских служилых людей, писанная на имя царя Михаила Федоровича в 1635 г. Среди тех, кто к ней «руку приложил», немало знакомых имен — Осташко Харламов и Оска Кокорев, ставившие Кузнецкий острог, пятидесятники и десятники Митка Копылов (о нем рассказ впереди), Ивашка Володимерец, Андрюшка Губа, Ивашко Коломна и другие.

«Служили, государь, мы, холопи твои, в Томском городе государевы всякие службы летние и зимние, струговые и нартные, и на городе, и на остроге... и в отъезжие караулы на конех мест в пять и в шесть человек по десяти по двадцати ездим верст по десяти и по двадцати, и по тридцати, и дале...»

А всех, государь, нас, холопей твоих, в Томском городе служилых людей немного, конных и пеших казаков только пять сот человек. А Томской, государь, город от иных от всех сибирских городов удален, место украинное; а около, государь, Томского немирных орд и степных и всяких вольных людей много безчисленно и мы, государь, с твоих государевых служб и с частых посылок, и с караулов не бываем, и хлеба, государь, на пашнишках своих про



свои нужи... упахать не успеваем, потому что, государь, все живем в твоих государевых службах и в посылках, и на караулах безпрестани. А твоим государевым хлебным жалованьем нам холопом твоим прокормитца немочно. А привозу, государь, в Томской на продажу нет ниоткуда, да и покупати, государь, нечем... а по твоему государеву указу в Томском с наших пашнишек в твою государеву казну выдельного хлеба у нас... емлют двадцатой сноп и за тем, государь, мы холопи твои, и от пашнишек своих отстали.

Да в прошлом, государь, во 142-м году весною гневом праведным божьим как Томь река вскрылась и пришла на посад вода со льдом большая и дворшишка у нас холопей твоих водою и льдом сломало и хлеб и скотинишка потопила и всякий лес от дворшишков и с пристанищ и рубленные всякие хоромишко водою разнесло розно.

Да нам же, холопом твоим, присылаетца твое государево хлебное жалованье и соль в Томской город ис Тоболеска... а иные, государь, те твои государевы запасы до заморозу в Томской и не доходят, а замерзают на дороге, а в заморозех подмокают и потопают... И в нынешнем во 143 году твое государево хлебное и соляное жалованье... до Томского льдом не допустило... А которые, государь, суды с твоими хлебными запасами до Томского допрыважены и устроены... И ис тех, государь, судов нам, холопом твоим, давано твое государево жалованье в наши оклады хлеб сухой и мокрой.

Да в прошлом же в 142-м году и в нынешнем во 143-м году томские пахоты на твоей государевой пашне и у служилых людей и у всяких томских жильцов на пашнях всякие хлебы не дородились, а иные, государь, морозом



и градом выбило, а достальные дожжем вымочило и всяких, государь, хлебов семена невывелись и рыбных промыслов не стало, потому что, государь, волею божиею и воды стоят и потопы с дождей великие с весны и до заморозу, и после, государь, того в Томском всякие хлебы подорожали... и мы, государь, холопи твои, в три годы в тех хлебных недородах и водных потопах хлеб покупаючи такую дорогою ценою обнищали и задолжали великими долгами, и в тех, государь, покупках хлебных, мы, холопи твои, оружие и панцири, и шелома, дворшишка свои и кони и всякую сбрую изакладывали и спродали, а нынеча, государь, мы, холопи твои,

от той хлебной скудости изадолжали и обнищали и вконец погибли... А около, государь, Томского города всяких орд и немирных земель людей много бесчисленно и приход, государь, иноземцам, под Томской бывает часто со всех сторон...

А в городе, государь, и вовсе де всяких служилых людей не живет человек и по сту, и против, государь, твоих государевых изменников и непослушников и всяких немирных земель людей оборонитца выехать некому да и не з чем, и нам, государь, холопом твоим, в Томском твоих государевых многих служб и частых розсылок и караулов безпрестанных малыми людьми пятьюстами служить невозможно... Вели своих государевых служилых людей прибавить... чтоб, государь, твоей царской дальней украины вперед прочной быти».

Грамотеев в ту пору среди служилых людей было сложно сыскать. Челобитные и прочие бумаги с их слов составляли приказные или *площадные*, то есть промышляющие на торговых площадях своим умением, писцы. К своему делу они подходили творчески: жалобы писали так, чтобы каждое слово до слез прошибало. Ведь прежде чем отправить их в Москву, авторы таких челобитных собирались возле особо почитаемого ими храма и там сообща заслушивали подготовленный писцом текст, а затем всем миром одобряли или тут же вносили в него свои поправки. В Томске местом таких чток была церковь во имя Живоначальной Троицы. Здесь хранилась икона, дарованная городу Борисом Годуновым, казачье знамя и другие памятные реликвии. Отсюда сообщались горожанам сведения о важнейших государственных событиях и прочие новости.

Можно представить, как внимали томские казаки каждому слову рассказа об их беспросветной жизни. Слов нет, жили они трудно, скудно, исхитряясь и пашню распахать, и в отъезжие караулы сходить, и бесхлебицу перетерпеть, и ясак с дальних и ближних «землиц» собрать, и с немирными «ордами» сразиться, но при этом оставались крепкими, предприимчивыми, хваткими людьми, о которых не скажешь, что они «вконец погибли».

Золотой ключ

В переводе с алтайского *тайга* — это скалистые горы, покрытые лиственничным лесом, *ал* — высокий. Соединившись, два эти понятия образуют одно — *Ал-тай* (страна высоких лесистых гор). Есть и другие прочтения этого слова: *ала* (пестрые), *тау* (горы); *алт* (от монгольского «золото»), *тай* (место).

Необычен пейзаж и природа этого удивительного края. Альпийские луга здесь соседствуют с горными тундрами, жаркие степи и цветущие долины с темнохвойной тайгой, стремительные реки с многочисленными озерами, россыпи драгоценных камней с целебными *аржанами* (источниками), бесчисленные стаи крикливых птиц с безмолвием холодных ущелий.

Не менее многолики и разнохарактерны *алтай-кижи* (алтайские люди). В этом жители Томского города убедились с тех самых пор, как за рекой возник «калмацкий торг». Сначала хозяевами на нем были сплошь телеуты, больше известные как белые калмыки. Потом стали приходить родственные им алтайские

племена — теленгеты, мюркюты, алматы, торо, чорос. Их айлы и улусы были разбросаны в южной части Алтая. Вслед за ними потянулись в Притомье тубинцы, челканцы, кумандинцы, туболары, через земли которых южные алтайцы гнали на торг свой скот, везли на продажу пушнину, невыделанные кожи горных баранов, тулупы, шубы, узды и другие товары, а взамен брали железные замки, капканы, ножи, «пансыри» и многое другое.

Все они приносили с собой на Томь дыханье Алтая, запахи его пастбищ и становищ, краски и звуки кочевой жизни, а еще — многообразные свидетельства о несметных природных богатствах края. Казалось, Алтай — вот он: до него от Томского города всего-то несколько дней пути. Но дни эти для томских служилых людей растянулись на два с половиной десятилетия. И вот почему. Еще в 1609 г., склонив предводителя телеутов Абака к шерти на верность Москве, томские воеводы Василий Волинский и Михаил Новосильцев дозволили белым калмыкам кочевать «близко Томского города», да еще и беспошлинный «калмацкий торг» на другом берегу Томи устроить, и ясака с них никакого не брали. За это они надеялись получить согласие на постройку на границе северного и южного Алтая дозорного стана. Но Абак уверял воевод, что время еще не настало. Предводитель джунгар Хара-Хула перешел Салаирский кряж и закрепился на реке Или. С другой стороны опасность грозила от киргиз-кайсаков (Казахской орды). Да и среди телеутов единства не было. Противится дружбе с Россией соперник Абака тайша Мачик... Об одном умолчал Абак: *калан* (ясачную дань) с зависимых племен он предпочитал брать сам, не делаясь с Москвой, которая освободила его от ясака.

Менялись томские воеводы, менялись отношения между Томским городом и телеутами. В 1617 г. Абак вдруг объединился с черными калмыками (джунгарами) тайши Пегима и напал на Чатский городок, который вместе с обскими татарами оборонял отряд казаков под началом Ивашки Хлопина. Недавние союзники оказались по разные стороны схватки. Бой сменился осадой. Она продолжалась три недели, но чаты с помощью русских свой городок все-таки «отсидели». С того и начался разлад между русскими и телеутами.

Четыре года спустя войско Хара-Хулы, объединившее белых и черных калмыков, часть енисейских кыргызов и кучугутов, решило напасть на Томский город, но Абак вовремя предупредил об этом тогдашних воевод Ивана Шаховского и Максима Радилова. Более того, он со своими людьми покинул Хара-Хулу, «принес вино» московскому государю и вновь «стал под его высокую царскую руку».

Однако в 1624 г. «улусные люди» Абака «пришли безвестно» под Томск, напали на казачьи пашни, «иных людей поранили, лошадей отогнали». Их удалось догнать и пленить на речке Мончуне. Абак пообещал наказать «изменников и непослушников», но уже следующие послы к нему были встречены враждебно — ограблены и «поруганы». И вновь предводитель телеутов клялся в верности московскому государю, и вновь делал вид, что ничего не случилось.

Долго терпели его «шатания» томские воеводы, наконец решили наперекор Абаку и другим «неверным союзникам» заложить опорный острожек при слиянии рек Бии и Катунь. Случилось это в 1632 г. — уже при Иване Татеве и



Семене Воейкове. Во главе отряда из шестидесяти казаков поставили они опытного в таких делах служилого дворянина Федора Пуштина. Выдали его людям годовое жалованье хлебом и солью, снабдили одеждой, обувью, оружием и боеприпасами, топорами и пилами, заступами и таганями для варки пищи — и отправили на трех дощаниках сначала вниз по Томи, а потом вверх по Оби-матушке. Она-де сама к Би и Катуню их приведет.

Дальше Чатского городка речным путем томские казаки прежде не ходили. Это заставило их быть более осмотрительными. В устье реки Ини они ожидали нападения «бродячих джунгар». Но его не последовало. Спокойно прошли и устье Уени. Зато вскоре на глыбистом левобережье (район современного города Камень-на-Оби) заметили трех *алтай-кижи*. Один из них бил в бубен. Оказалось, это посланцы Абака. Они спрашивали: куда и зачем плывете?

Федор Пуштин объяснил.

Посланцы осудительно головами покачали:

— Нельзя. Отец Алтай не разрешает. Возвращайся назад, *амбань* (начальник). Пускай сюда не ступит ни одна нога. Здесь небогатые улусные люди для рыбной ловли и другой охоты живут. Никакого задору и измены они перед московским государем не чинили.

— Я буду говорить только с Абаком! — отрезал Федор Пуштин и велел казакам грести дальше.

3 сентября выше реки Чумыша отряд попал в засаду. Десятки стрел впились в борта передних дощаников. В ответ казаки пальнули из походной пищали. Выстрел обратил нападавших в бегство.

Следующая засада ждала казаков на правом луговом берегу Оби у телеутских курганов (окраина сегодняшнего Барнаула). После непродолжительной перестрелки Федор Пуштин отправил на берег толмача Тайтана — звать нападавших на переговоры. Те согласились, но с условием: держаться на расстоянии полета стрелы.

Говорили они на языке «черных колмаков», но Тайтан сразу заподозрил неладное.

— Зачем прячете свой язык? — осуждающе спросил он. — Думаете, я не могу отличить каменного барана от домашнего, а язык телеутов от языка ойратов? Я по голосу узнал вас, Куранак, Изелбей и Илчидей. Для чего забыли вы государеву хлеб-соль? Для чего служилых людей стреляете? Разве этому учит вас мудрый Абак?

Пришлось нападавшим заговорить по-телеутски:

— Каждая голова знает свою печаль. Каждый *сеок* (род) хочет жить своим улусом. Только собака рвется туда, куда ее не пускают.

— Придержи язык. Или ты хочешь, чтобы великий зайсан Абак тоже звался собакой? Он дал шерть орусам. Орусы открыли перед ним себя и свои земли. Теперь мы люди одной судьбы...

— Великого Абака здесь нет. Я говорю от имени его сына-наследника Коки. Он просил передать, что судьба переменчива. Можно привести коня на водопой, но нельзя заставить коня пить...

Два с половиной дня шли переговоры, да так ничем и не окончились.

Отряд двинулся было дальше, но путь ему преградили лучники Коки. И началось боевое противостояние. Оно продолжалось еще пять дней.

По «расспросу» Федора Пуштина, запись которого сохранилась в воеводских бумагах, силы были неравные. К телеутам «прилегли орды многие» («черные колмаки», барабинцы и орчаки). Часть казаков они «переранили». Те и зароптали: «Мы люди невеликие, дальше идти не смеем».

Пуштин, человек по натуре смелый и решительный, на этот раз судьбу испытывать не стал, велел повернуть назад. Благоразумие взяло верх. Не захотел он «насмерть ссориться» с Абаком, оставил ему возможность случившееся у большого плеса в излучине Оби между Касмой и Гоньбой списать на молодую горячность Коки. И казаков от верной гибели уберег. И дело, порученное ему, не загубил. Не удалось построить острожек на сей раз, удастся в другой. Главное — путь в верховья Оби изведен.

Следующие томские воеводы Николай Егупов-Черкасской и Федор Шишкин решили действовать хитрее. Алтай-кижи будут ждать русских послужильцов не раньше следующего лета и тоже с реки, рассуждали они. Значит, надо послать их на Бию, как только снег ляжет, на лыжах, а нужные грузы при них на нартах, собачьими упряжками.

Так и сделали. На этот раз руководить отрядом казаков поручено было Петру Сабанскому, «поляку русской службы», человеку бывалому, не раз ходившему на переговоры с белыми и черными калмыками, енисейскими кыргызами и другими сибирскими князьками.

Спрямя путь, Сабанский повел отряд через Кузнецкий острог. Более четырех месяцев добирался он до Бии, еще месяц — до озера *Алтынколь*. Здесь жили телесы, предводителем которых был князь Мудрак. В его землях и решил Сабанский построить опорный острожек.

Поначалу телесы вражды к томским служилым людям не выказывали: места всем хватит. Но потом оказалось, что Мудрак тайно отправил своего человека в Большой улус телеутов к тайше Мачику, которому платил ясачную дань, и получил от него распоряжение изгнать орусов из «страны семидесяти рек».

Однако внезапное нападение телесов казаки отбили. Помогли *ручницы* (ружья), разящие огнем. Князь Мудрак бежал, оставив на произвол судьбы жену, сына и невестку.

Огорчился Сабанский, что и на этот раз не удастся отряду острожек «посреди Алтая» поставить, но и обрадовался: ближние люди Мудрака, попавшие в плен, хорошими *аманатами* (заложниками) будут. Пока они у казаков, ничто им особенно не угрожает. А если удастся вернуться с ними в Томской город, Мудрак волей-неволей следом явится и сам будет дружбы просить, лишь бы жену и сына вернуть. Так у сибирских народов принято.

Сабанский в своих расчетах не ошибся. В 1634 г. князь телесов Мудрак и впрямь появился в Томском городе. Приняв московское подданство, он обязался платить ежегодный ясак по десять соболей с каждого мужчины-добытчика своего племени. За это ему вернули плененное «за недружбу» семейство и с почетом проводили в родные края. Однако обещанного ясака так и не дождались.

Зато сохранилась в памяти томских стариков принесенная из далеких земель безыскусная телесская легенда. И говорилось в ней о том, как в неурожай-



ный год опустела в стране высоких лесистых гор тайга-кормилица, исчезла рыба из рек и озер, погиб скот. И вдруг посыпались с неба куски золота величиной с лошадиную голову. Бросились люди подбирать те куски, потом опомнились: что с ними делать? Ни себя, ни родных ими не накормишь. Тогда один пастух поднялся на высокую гору и кинул бесполезный кусок в озеро. Следом сам прыгнул. С тех пор гора стала называться Алтынту, что значит Золотая гора, а озеро Алтынколь (Золотое озеро). Освященное солнцем, оно золотом горит, хотя прозрачное, как ключевая вода. Старики говорят, что на дне этого озера Золотой ключ лежит. Им все можно открыть — даже время. Остается добавить: речь в этой легенде идет о Телецком озере.

«Промашка» Василия Старкова

Более двадцати лет потребовалось посольским и служилым людям Томского города, чтобы проложить наиболее надежный путь и в ставку Алтын-ханов монгольских на озеро Убса-Нур. За это время там сменилось два правителя, и каждый из них, давая шерть на верность московскому царю Михаилу Федоровичу, пил горячее вино, окрашенное в золотой цвет. У восточных народов это самая действенная клятва.

Второй раз шерть у Алтын-хана Эрдене в декабре 1634 г. приняли томские «посольские люди» во главе с Яковом Тухачевским и Дружиной Огарковым, людьми с весьма запутанными судьбами и несхожими характерами. В молодости они успели послужить почти всем самозванцам — сначала лжецаревичу Петру, затем Лжедмитрию Гришке Отрепьеву и невенчанному мужу Марины Мнишек казачьему атаману Ивану Заруцкому, позже перебежали в стан законного государя Василия Шуйского и столь же горячо присягнули юному царю Михаилу Романову, а в Сибири показали себя «досужими, подходящими для всякого дела людьми». Тухачевский за воинские заслуги получил вскоре чин сына боярского, а следом дворянство. Огарков стал при нем первым помощником — походным дьяком.

Перед тем как получить назначение в Томской город, Тухачевский с боем «отнял у ордынцев» Чингис-городок (ныне район села Чингисского Новосибирской области) и с высокими почестями похоронил погибшего в поединке с ним мурзу Тарлаву (*«над его могилою лошадь велел резать и поминать, а служилым людям около могилы велел стоять с ружьем»*). Огарков же счел это слабостью, недостойной «слуги государева», и потребовал *«взять у бусурман все животы* (т. е. имущество побежденных) *на себя»*. Пусть чувствуют жесткую руку власти.

Так же — напористо и жестко — повел он себя и в ставке Алтын-хана Эрдене, чем заметно усложнил переговоры.

Позже Алтын-хан не преминул сообщить об этом в Москву. Уговоренный ясак он прислал без задержки, а в ответ попросил прислать «золота, серебра, жемчугу крупного, корольков и разных цветов камня». Надо понимать, как плату за грубость томских послов по отношению к нему и его матери.

Год спустя в Томском городе, следуя в только что созданный «на Москве» Сибирский приказ, побывал брат Алтын-хана монгольского Дуран-Табун.

Здесь он с радостью узнал, что за ложный донос на Тухачевского его дьяк Огарков бит батогами и посажен в тюрьму, а Тухачевский назначен вторым воеводой в Тарский город на Иртыше. Значит, есть у оросов справедливость.

В 1639 г. с очередным посольством из Томского города пожаловал к Алтын-хану Эрдене сын боярский Василий Старков. От имени царя московского он вручил ему богатые поминки и стал ждать, каковы будут ответные дары. Они без слов скажут, готова ли принимающая сторона вести переговоры на равных, признает ли себя зависимой или, напротив, постарается ослепить и одновременно принизить блеском и богатством своих щедрот.

Очень хотелось Алтын-хану показать Старкову, что он ни в чем не уступает московскому царю, да не хватило ему для этого ста соболей. И тогда он предложил взамен двести пакетов травы *бак-чей* по 5/4 фунта в каждом.

Напитком из бак-чая Старкова уже угощали, и он ему не понравился. (Позже, в *скаске*, то есть в описании своего посольского путешествия к «мунгалам», он обрисует свои впечатления так: *«Прежде подавали все мясную похлебку, а теперь в знак особой чести одно питье, которое они называют “чаем”. Я не знаю, листья ли это какого дерева, или травы. Варят их в воде и подмешивают несколько молока... Чай в России есть вещь неизвестная и неупотребляемая, чего ради при царском дворе охотнее приняли бы на ту цену соболей».*)

Соболи в ту пору стоили по тридцать копеек за шкурку. Вот и прикинул Старков в уме, во что оценил Алтын-хан каждый пакет своего «чая» — аж в пятнадцать копеек! — сумма по тем временам немалая. Поначалу стал он отказываться от такой замены, но вовремя урезонил себя: подарки либо принимают, либо нет; торговаться в таких случаях грех великий. У многих народов на этот счет одна пословица: дареному коню в зубы не смотрят.

Пришлось Старкову принять в числе поминков от Эрдене пакеты с бак-чаем. Тогда и узнал он, что это вовсе не «мунгальское», а «китайское зелье».

Возвращаясь в Томской город он в приподнятом настроении. Прежде ему, приказчику пашенных крестьян, в послах к правителям сибирских народов ходить не доводилось. И ничего, справился. Все договоры как надо заключил и даже ясак с Эрдене взял. Ну а промашка с чаем не в счет. На его месте всякий бы ее поневоле допустил.

Однако именно эта «промашка» и сделала имя Василия Старкова историческим.

Попробовав привезенный Старковым чай, томские воеводы Иван Ромодановский и Андрей Бунаков нашли его очень даже «пользительным» — и тотчас отправили в Сибирский приказ. Оттуда он попал на царский стол. И полетели в Томской город гонцы с высочайшим повелением: «Впредь посылать к Алтын-хану и Валли Китайскому царю людей за бак-чаем». С той поры и на многие годы Томск стал крупнейшим центром торговли китайским чаем и сопутствующими товарами.

Лишь восемь лет спустя китайский чай кружным путем, по морям и океанам, был завезен в Голландию, а уже из нее попал в другие европейские страны. Там его поначалу употребляли как целебное восточное снадобье, но потом распробовали и как напиток. Решили было голландцы удивить им московского государя, но он сам удивил заморских послов, угостив их китайским напитком.

К тому времени через Томск лег путь, который впоследствии назовут «чайным». По нему с востока на запад шли обозы с тюками не только черного, но и зеленого чая. Сначала он появился на Нижегородской ярмарке, потом на Московской и на многих других.

Через девяносто пять лет после посольской поездки к Алтын-хану Василия Старкова в Томске побывал известный немецкий натуралист Георг Гмелин. В своей книге «Путешествие по Сибири» он писал: *«Если какой-либо город в Сибири расположен выгодно для торговли, то это Томск... Через Томск сюда прибывают не только по два каравана в год из Калмыкии, но и все идущие из Китая или из России в Китай сухопутные караваны проходят через этот город»*.

В Томске ученого поразило необычное зрелище: в холодные ноябрьские дни по городским улицам шествовал караван из двухсот верблюдов. *«Их вели русские, чаты, казанские татары и бухарцы»*. А в Гостином дворе Гмелин любовался на товары, привезенные на Томь из разных стран. Чего только здесь не было: персидские ковры, шкуры волков, медведей, степных лисиц, пантер и тигров, хлопчатобумажные ткани и, конечно, обтянутые кожей тюки с чаем, одним из самых ходовых товаров на любом рынке.

Вторя Гмелину, другой западноевропейский путешественник Астольф де Кюстин в книге «La Russie en 1839» отметил: *«Чай идет в Россию из Китая через Кяхту... Из Кяхты чай транспортируется сухим путем до Томска. Там он перегружается на баржи и путешествует дальше... Цена чая определяет цены всех прочих товаров»*.

С тех пор в Томске появилось множество чайных лавок и магазинов. Среди них было немало китайских. Крупными чайными фирмами в XIX в. стали торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья», товарищество «КараванЪ» и ряд других.

Как тут не вспомнить иронические, но в то же время и серьезные строки М. Е. Салтыкова-Щедрина: *«Чай! Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, — бо-о-ольшая суматоха могла бы выйти!»* Как тут не вспомнить томского посла Василия Старкова!

(Окончание следует.)



Валентина КОТЕГОВА

РАДИ ЧЕГО ЖИВЕМ

*Воспоминания первостроителя
новосибирского Академгородка**

Родилась я и выросла в деревне. И воспитала меня простая, чистая, открытая, добрая матушка-деревня Степановская Кировской области. Названа она именем моего деда Степана. Наши предки, как мне рассказывала старшая сестра Мария, родом из Болгарии. Там был какой-то бунт, и они перебрались в Россию. Место на берегу Камы, где они поселились, стало называться деревня Габово — по фамилии основателя, моего прадеда болгарина Йойло Габо. Она есть до сих пор.

Фамилия Габо по-нашему стала — Габовы. У прадеда был сын Степан. А у него была большая семья: три дочери, три сына — Тимофей, Егор, Ефим. Степан Иолович, наш дед, решил отделиться, облюбывал место вблизи тракторной дороги на берегу речки Каи, притока Камы. Перебрались туда. Вырубили лес, построились, расчистили луга под покосы, развели домашний скот. Дочери повыходили замуж в соседние деревни, а сыновья поселились все на одной улице. Старшие братья возвели добротные дома с пристройками, в которых и сейчас живут внуки и правнуки. В родительском доме остался младший Ефим, мой отец.

Деревня не любит ленивых. Раньше говаривали: наступил прекрасный день — не одолела б только лень. Я выросла в многодетной трудолюбивой семье. Нас было девять детей. С пеленок учили нас труду, воспитывали терпение, выносливость, доброту, согласие, прививали любовь к природе, всему живому. Мудрые, сильные, смелые, любящие родители Ефим Степанович и Елена Прокопьевна научили нас всему, что нужно в жизни деревенскому человеку: как растить хлеб от зернышка до готового пирога на столе, как сделать одежду от льняного семечка до готового полотна, как пошить все от ночной рубашки до верхней одежды.

Именно здесь, в деревне, были заложены все мои жизненные основы, которые и помогали мне в жизни: в трудные военные годы, а затем на строительстве Братской ГЭС и Академгородка. Постараюсь рассказать, что помню и как смогу. Может, кому-то это напомнит свое пережитое, а подрастающее поколение сумеет лучше понять нас, старших: почему мы так жили и ради чего.

* Литературная запись А. Подистова.

Деревенское детство

У Ефима спозаранку баня затопилась. Знать, Лена разрешилась. Кто же появился на белый свет? Две дочери и два сына уже есть. «Животик кругленький был, наверное, девочка», — судачили соседи. А денек-то хорош, весна. Все от долгой зимы просыпается. Да, в этот счастливый день, 14 апреля 1934 г., родилась я, Валентина Габова.

Тятенька утречком, помолясь перед иконами, с благословения бабушки Надежды Васильевны (маминой мамы) пошел с топориком в лес вырубать березовый очеп, на чем будет висеть и качаться зыбка — люлька, сделанная из липовой коры, с соломенным матрасиком, подвешенная к потолку на льняных веревочках.

Папа, Ефим Степанович Габов, имел образование в объеме приходской школы. Прошел Гражданскую войну, был контужен, лечился в госпитале. Был председателем сельского совета. Мама, Елена Прокопьевна, работала в колхозе. В сенокосную страду метала зароды — складывала сено в стога на зиму. В посевную сеяла вручную из решета, подвешенного на груди: сеялок еще не было.

Пахали на конях плугом. Лен обрабатывали вручную. Пряли, ткали — полностью одевались. Производили своими руками одежду, обувь, головные уборы. Продукты питания выращивали сами и заготавливали на круглый год. Деревня-матушка научила всему.

В колхозе была кузница, водяная мельница, большая площадь для коллективных сборов и гуляний, скотный двор, конный двор, изба-читальня, где проходили и вечерки молодежи, и торжественные вечера. Еще льнокомбинат, где полностью обрабатывался убранный с поля лен. Это и были наши «университетские аудитории», где нас учили предстоящей жизни.

Самое светлое, радостное время! Конечно, бывали в жизни всякие периоды, целые годы, которые не хочется и вспоминать. Но деревенская жизнь — прозрачная, жизнерадостная. Люди добрые, все как родные, доброжелательные. И все места и местечки, где родилась и выросла, и близки, и обследованы, и любимы — они мои.

Вспоминаю ясли. За окном просторная площадка. Все большие гулянья и великие праздники проходили здесь. На площадке располагались качели и «гигант». Это был высокий, прочно вкопанный деревянный столб, наверху которого «сковородка» с четырьмя кольцами, к ним привязывались веревки с сидушками. Смелчаки раскачивались, вращаясь по кругу. Рядом с площадкой — правление колхоза, деревенская кузница, изба-читальня.

В ясли приводили с годовалого возраста, как только ребенок вставал на ножки. Рядом с яслями, чуть поодаль, размещались скотные и конские дворы. Туда маленьким запрещали ходить одним, только с родителями. Наши нянечки знали много разных песен и всяких игр, водили нас в лес и рассказывали обо всех деревьях, о травках лечебных и ядовитых, о грибах и ягодах. Мы в этих лесных походах многому учились. А главное — беречь и любить природу и землю-матушку, кормилицу нашу.

С детства приучили нас уважать старших, прислушиваться к их советам, почитать стариков. Нянечки-воспитатели нам рассказывали, как все живое свя-



зано между собой, и всякие поучительные истории. Вот, к примеру, у Апроськи Алешихи (Ефросиньи Алексеевны) и продолжения рода нет, видать, греховодные они — вот Господь Бог детей и не дал. Взяли девочку из детдома — и ту Господь прибрал...

Многому нас научили еще до школы.

Вятский народ — очень гостеприимный, ласковый. У нас в деревне, когда мы росли, все жили одной семьей. Каждый знал, что чьи-то дети как бы и его тоже. Всем миром их должны оберегать, учить, направлять.

Кузнец Алексан — Александр Емельянович — творил чудеса. Из куска железа он мог сделать что угодно: нож, вилы, подкову. Нам, малышам, было интересно, как подковывали лошадей, да и хотелось поддувалом поработать. Всю деревенскую детвору он учил кузнечному делу. Мы любили помогать ему, раздували меха. Он подбирал тех, кто посильнее: а ну-ка давай молоточком, а ну-ка еще вот это сделай... И каждому поручит дело. Потом тем, кто хорошо поработал, по карамельке выдаст. И скажет: «Ой какой ты молодец! Вот вырастешь — будешь моим заместителем, подкузнечным!»

Военные годы

Какое радостное было мое детство — среди доброжелательных, трудолюбивых людей. Но резко оно оборвалось. Летом 1941 г. началась война. Такое не забыть никогда!

Скачет на коне по полю верховой и громко кричит: «Война началась! Гитлер напал на Россию!» На всю округу зазвенел тревожный звон. Били по стальному лемеху от плуга. Все поспешили к правлению колхоза. Мы, дети, не совсем понимали, что случилось, но чувствовали: что-то страшное, жизненно важное.

Все собрались у правления колхоза. Уполномоченный из района объяснил печальную обстановку. Казалось, над деревней нависла грозная туча и сейчас задрожит от грома земля и начнется ураган страшной силы. Так отложилось в детском сознании.

На другой день, 23 июня, провожали в солдаты...

Нескончаемым потоком от районного военкомата (семь километров от нашей деревни) тянулись конные повозки с новобранцами. По обочине трактовой дороги стояли провожающие, высматривая своих. Далеко разносился надрывный плач и причитания. А где-то разухабисто играла гармонь, лились частушки про скорую победу и отважных воинов, про любовь и разлуку.

Слышалась песня «Как родная меня мать провожала». Ночью горели костры. Не было видно конца движущимся повозкам. Помню, как плакала тетя Анна с малышкой Тоней на руках. А мы с двоюродной сестрой Лидой должны были идти в первый класс. Лиде пришлось водиться с младшей сестренкой.

На фронт ушли два маминых брата — дядя Ваня, колхозный счетовод, и дядя Коля, механизатор, и два старших сына, мои братья Вася и Афоня. Не прошло и недели, а из деревни ушли все мужчины и молодежь, что постарше. Сколько мы пролили слез в эти дни, провожая родных!

Вскоре стали приходиться похоронки. Соберутся женщины, к кому похоронка пришла, наплачутся, попоют печальные песни. И опять за работу. Все легло на плечи женщин и детей, расслабляться было некогда.

Мы, первоклассники, 1 сентября пришли в школу только на переключку, чтобы познакомиться с первой учительницей Антониной Николаевной, и тут же пошли работать вместе с ней на колхозные поля. За парты сели лишь после того, как убрали весь урожай и выкопали картошку.

Тяжело досталось нашей маме. Семья большая. Полон двор домашнего скота. В октябре 1941 г. родилась сестренка Нина. Помню, как мама прибежала на обед, чтоб покормить малышку. Видела я, как капали мамины слезы, а рядом с ревностью глядела на маму четырехлетняя Юля: ее уже некогда было маме приглубить...

Папу на фронт не взяли по здоровью. В Гражданскую он был контужен, долго лечился и теперь работал председателем сельсовета.

Мы редко его видели. Да и у нас не было свободного времени. Я уже была в ответе за все дела по домашнему хозяйству. Мария, которая была старше меня на четыре года, работала вместе со взрослыми на колхозных работах.

В семье у нас всегда был строгий распорядок. У каждого свои обязанности, каждый за что-то отвечал. Находили время напрясть шерсть и навязать рукавички и носочки для солдат — отправляли посылочки на фронт. Помню: усталые женщины сядут на завалинку под большую развесистую березу у нашего окна и запоют — о любимых своих. А руки их все работают, им некогда отдыхать. Они вяжут, шьют, вышивают или куклы детям мастерят.

Мы быстро повзрослели. Были физически развитыми и здоровыми. Но однажды я не рассчитала своих сил и чуть не поплатилась жизнью.

Пришел папа на обед домой и говорит: «Картошка уже почти у всех окупчена. Окучник под окном у Апроськи Филихи». Я пообедала, первой вышла из-за стола. И пошла за окучником. Окучник — это плуг весом 60 килограммов, впереди колесико. Поддерживаю, качу его по ровной дорожке. До калитки в изгороди еще далеко. Решила перебросить его через изгородь, так быстрее. Подняла на нижнюю жердочку, а потом все выше, выше и так перебросила с великим усилием и потихоньку докатила до дому. Но внутри тела что-то хрустнуло и опустилось. Картошку окучили. А я к ужину не могла дойти и до стола. Привезли фельдшера. Долго она меня осматривала, осторожно ворочала и родителям тихо сказала: «Не жилец Валя. Опушены все органы...» Сенокосная пора — а я подняться не могу. Даже повернуться нет сил: беспомощна. Болит спина и все внутри. Со мной обращаются как с маленьким ребенком. Бабушка Надежда Васильевна каждый день топила баню. И правила меня, делала массаж с головы до ног. В баню она меня унесет, а из бани — у нее уже нет сил. Так в бане и ночевали.

По угору наш дом крайний стоял. Все звено, в котором я работала, собиралось у нас под окном на завалинке, и от нашего дома шли на покос. Подойдут ко мне: «Че ты, Валя, залежалась? Копны таскать некому. И песню запеть некому». После уж мама рассказывала, что это они со мной попрощаться заходили.

А моя бабушка упорно возилась со мной. Бывало, скажет: «Потерпи, милая, потерпи, постепенно, не сразу, с Божьей помощью все на место поставим, будешь какой мама родила. Боженька да Матерь Божья нам помогают!» И я верила. Верила, что золотые руки бабушки да Божья помощь поднимут меня с постели — и я буду здорова.

И 1 сентября 1942 г. я поднялась и, как здоровый ребенок, пошла в школу. В школе учились в одном кабинете по два класса: первый и третий, второй и четвертый. Было два учителя. На переменах мы водили хороводы и играли в разные игры: «Во кузенке», «А мы просо сеяли», «Как у наших у ворот», «Цепи кованые», «Перетягивание каната» — кто сильней, «Вам барыня прислала 100 рублей» — на внимание. Все вместе разыгрывали пьесы и организовывали концерты для родителей. Это были праздники для всех, где пелись песни, читались стихи и письма с фронта.

После уроков, пообедав, мы шли с учительницей Антониной Николаевной на колхозные работы. Она так интересно организовывала труд и разные соревнования, что всегда хотелось петь. Что мы и делали.

Старшая моя сестра Елена Ефимовна — заслуженный учитель. Во время Великой Отечественной войны она организовала в районе детский дом. Ездилла искала беспризорных детей по деревням. С помощью районной парторганизации собрала педагогический коллектив и мобилизовала его на создание нормальной жизни и учебы для осиротевших детей. О ней много писали в газетах. Брат Вася, вернувшись с войны, пошел по стопам старшей сестры — стал сельским учителем. Брат Афоня с детства мечтал о медицине. Он всю войну прошел офицером медицинской службы. Встретил Победу в Польше. Чуть не женился на польке. Но потянула малая родина, вятские просторы.

Как я стала агрономом

Я закончила четыре класса в Кайской начальной школе. На семейном совете папа сказал: «В пятый класс в село Афанасьеве Валя не пойдет, до школы целых восемь километров. Читать, считать, писать научилась, как жизнь восстановится — пойдет учиться дальше. А пока... в колхозе не хватает рабочих рук!»

Папа был у нас большой начальник, но старшие дети его переубедили. Нет, Валя пойдет учиться в пятый класс, а жить будет у Васи, старшего брата. Ходить будет — транспорта ведь никакого — на лыжах. Она разрядница по лыжам!

Я так обрадовалась: мне же хотелось учиться дальше, я даже решила уже, что буду учиться на ветеринара. Так и стала я учиться дальше. По утрам мама меня собирала. У нас волков много было в Вятской губернии — ночами, бывало, воют совсем рядом, а у кого плохие овчарни — вытаскивали ягнят... Вот мама нащиплет лучины, бересты даст, спички, молитву прочитает, скажет: «Валя, тебя волки не догонят». Волки боятся огня. Я факел разожгу — и на лыжи. Только встала и — фьють! Легкая была — тогда ведь как научились ходить, так и на лыжи сразу вставали. Так весь пятый, шестой, седьмой классы и бегала я в школу на лыжах.

В Афанасьеве была, конечно, уже другая жизнь — благодать: и в библиотеке посидишь, и в кружках позанимаешься, и в кино сходишь. Там в пионеры меня приняли. «Будь готов — всегда готов!» — такую давали клятву. Носила значок БГТО — «Будь готов к труду и обороне». Но дома все равно ждала колхозная работа, когда приходила на выходные. А бывало, что и среди недели скажут: «Валя, ты приди помоги, вот то-то и то-то надо сделать».

Тогда обязательным образованием считалась семилетка. Когда я закончила семь классов, в деревне говорили: «Ефим, да ты Валю-то на певичку отдай —

смотри, как баско поет. И голосок-то какой хороший! И ведь любую песню запой — вытянет!» А папа отвечал: «Вся деревня поет, вся округа поет, а Валю отправим, чтоб по науке хлеб растить училась. Есть такая Фалёнская школа полеводов, на агрономов там учат — туда ее и направим».

Август месяц, но ведь с 1 сентября занятия. Все работают: «Валя, а ты куда? Ты посмотри, сколько работы! А ты вот учишься поехала?!» Но вся деревня желала мне доброго пути: «Валя поехала учиться, чтоб по науке хлеб растить. Научный работник у нас будет!»

Бабушка, мама, папа вышли проводить меня до большой тракторной дороги. Транспорта никакого. Лошади? Заняты! Бабушка благословила меня, прочитала молитву на добрый путь: «Да помоги тебе Господь в добрый час, Валенька!» Мама заплакала — как же, впервые одна в такую даль! На поезде никогда не ездила, да до него еще восемьдесят километров тѣпать пешком. Папа наставление дал: «Не забудь, зачем на белый свет родилась! Твори добрые дела на благо Родины, матушки-России и малой родины — деревни Степановской». Что ж, благословили, распрощались.

Восемьдесят километров я прошла за два дня. Переночевала в деревушке на полдороги. А ведь как шла-то: лес, тайга густая, птички повсюду поют, и я иду и песни пою всю дорогу! Налегке, в лапоточках, за плечами легкая котомка. Дошла до станции, впервые на поезде еду. Ой какая благодать! Забралась на верхнюю полку, напеваю, в окна смотрю — только лес назад проносится. До Фалёнок-то недалеко ехать. Не успела опомниться, объявляют: «Станция Фалёнки!» Вышла. Куда идти? Спрашиваю школу полеводов. «А вон двухэтажное здание». Пришла туда.

Посмотрел все мои документы директор Михаил Иванович Угрюмов. Подает обратно и говорит: «На будущий год приедете к нам, годик погулять надо, вам еще пятнадцати нет». А я ему: «Как это? Меня вся округа проводила к вам, чтоб вы меня научили, как по науке хлеб растить. Я обратно не поеду». Он мне терпеливо: «Ну как не поедешь? Вот тебе документы. Через годик опять приедешь». Встал из-за стола, по голове погладил меня, у меня косищи длинные были, до пояса. «Вот через год приедете — и мы будем вас учить. А сейчас...»

И тут я ему давай рассказывать, как мы в деревне живем, чем занимаемся, как я на фермах работала, и свой скот откармливала, и в колхозе была звеньевой... И всю работу знаю: и как хлеб растить, и как лен растить, и как одежду пошить. Так ему и объявила: «Все равно не поеду! Останусь здесь!»

Ну и что вы думаете? Я две ночи ночевала в директорской приемной! Там у них диван стоял. В котомочке были сухарики, творожок, масло, что мама положила на первое время.

Пока я там два эти дня жила — все вспоминала, как меня бабушка благословила. Думаю: бабушка, Надежда Васильевна, где твои добрые слова? Ты же меня с иконочкой проводила, благословила. Ну почему меня не принимают? Папа же мне сказал: ты не забывай, зачем ты рождена. Рождена, чтобы прославить нашу Родину, чтобы учиться самой и учить других, чтобы вокруг тебя были добрые, хорошие люди. Молилась Боженке милостивому, Богородице, всем святым...

Не сразу смог директор принять решение. Спасибо Надежде Ивановне, жене его, которая у нас потом растениеводство вела и экзамен принимала, — она, видно, на него повлияла.

Приходят ко мне:

— Ну что, — говорят, — давай документы! Дается тебе испытательный срок. Еще посмотрим, как будешь учиться... Общежития уже все заняты, пойдешь жить к тете Груне.

Назначили мне стипендию — 20 рублей, и стала я учиться в школе полевых. И этих 20 рублей мне вполне хватало! Я была сыта. Подрабатывала на селекционной станции, на папу-маму не надеялась: там сестер и братьев младше меня еще четыре человека...

Жила я припеваючи! С первых же дней организовала художественную самодеятельность. И где только мы не были: по округе ездили, во Дворце культуры выступали... На экскурсии ходили в свободное от учебы время, изучали Вятский край.

Тетя Груня, хозяйка дома, на колхозных работах молотила зерно, а на своем огороде растила помидоры для всего колхоза. Прихожу с занятий — чем заниматься? Ее нет, она в поле. Пойду подмену ее на работе — она бежит домой. Так я у нее годик — как в гостях — пробыла. Отучилась, сдала экзамены, дали мне аттестат и звание полевода.

Юность, работа, любовь...

Приезжаю домой. В райсельхозотделе нет агронома по кормам и пчеловодству. Пчеловодству нас не учили, а агроном по кормам — то что надо! Тут же меня оформляют агрономом по кормам.

Работаю в райсельхозотделе, постоянные командировки по колхозам. Колхозов много, работы много, а агрономов мало. И спрашивают как со взрослого «ученого» агронома — а мне 16 лет! Так началась моя взрослая жизнь.

Везде, где бы я ни работала, у меня была всегда общественная нагрузка. В Фалёнках занималась с комсомольцами, с пионерией. Как вернулась на родину — и в районном клубе, и в райсельхозотделе поднимала художественную самодеятельность. Тут еще дали мне нагрузку — печатать на машинке, быть секретарем. Коллектив небольшой, ставки нет. С самодеятельностью мы по колхозам ездили, ставили концерты, на машинке я печатала сценарии — и это как-то не мешало одно другому, а, наоборот, способствовало тому, чтобы ничем посторонним не заниматься. Днем была работа, а после работы приходилось составлять планы, сценарии, разучивать новые роли...

В моей работе агрономом была и опасность. Я — молоденькая, подвижная, общительная... Куда ни приеду в колхоз — все ребята влюбляются. А я видела в них лишь хороших, верных друзей.

Однажды направили меня в колхоз в командировку. Пешком тогда ходили — а леса там густые. Иду, распеваю песни, строю себе планы: так, приду сейчас, соберу собрание, о чем будем говорить, что мы наметим...

Пришла, отвели мне дом, где квартировать, хозяева хорошие. Познакомилась с хозяйюшкой.

— Вот, Валюша, — говорит она, — тебе в сенках полоч, там будешь спать, у нас места много.

А погода стоит — залюбуешься. Попросилась спать на сеновале. Я и дома любила на сеновале, там запах такой! И когда дождик бьет по крыше, приятно. Любимое место было!

Вечером после рабочего дня пошла на сеновал. Хозяйка сказала, где можно лечь, дала подстилушки, положи тканые. Я там устроилась, полеживаю, обдумываю, как и что у нас прошло, что наметили, что будем делать завтра... И вдруг слышу: кто-то ко мне лезет. Сеновал высоко: конюшни-то высокие. Прислушиваюсь: поскрипывает лесенка. Появляется здоровенный такой мужчина. Я его видела пару раз — в правлении колхоза и на собрании... Ой, думаю, что же делать? Лестница отрезана, тут надо быстрее, стрелой — прыгать!

Так и сделала — как сиганула я с этой конюшни! И бежать! Куда? Быстрее в дом! И к хозяйке, спрашиваю: кто такой? А она в ответ: «Ой, Валенька, я и забыла, к нам в гости родственник приехал, недавно освободился...» Слава богу, что удачно я приземлилась... Руки-ноги целые. Прыгать-то с конюшни было о-го-го как высоко! Такого никогда не было, я и не думала, что мои поездки по району могут быть опасными. Родственник этот лез же ко мне не по душам поговорить...

Труд агронома нелегкий и ответственный. Постоянные командировки. Моя старшая сестра Мария работала начальником отдела кадров в Афанасьевском леспромхозе, куда входило семь больших лесучастков. У них освободилась должность секретаря директора. Сестра и предложила мне место: и зарплата выше, и командировок нет. Я дала согласие. Директор Егор Иванович Крошечкин пригласил на собеседование и тут же предложил новую для меня общественную нагрузку: принять дела секретаря комсомольской организации. Закрутилась работа: днем — в приемной директора, а вечером — в кругу молодежи, комсомольцев. Художественная самодеятельность, спорт — и опять поездки по участкам. И все это с удовольствием и в радость!

«Судьба играет человеком, она изменчива всегда...» Взыграла и моя судьба и изменила мою радостную жизнь.

В нашем леспромхозе был большой автогараж, и директором этого предприятия работал молодой мужчина: стройный, красивый, очень обаятельный, всегда внимателен и заботлив, уделял мне много внимания. Влюбилась я в него без памяти. Чувства скрыть было трудно. Он даже поднимал меня на руки и целовал при народе.

После недолгих ухаживаний Игорь повел меня в загс. Я даже не посоветовалась с родителями и сестрами. Он для меня был солнышко красное. Думала только о нем — какая жестокая штука любовь!

И вот мы предстали перед родителями как муж и жена Белобородовы.

Стали жить у Игоря. На работу и в гости к маме я уже пешком не хожу, мы ездим на нашем мотоцикле. Я и сейчас вспоминаю с дрожью эти счастливые дни...

Его матушка Мария Анисифоровна Белобородова, бухгалтер леспромхоза, полюбила меня. Но слишком я доверчива была, всем делилась с одной своей близкой подругой. Как позже узнала, она очень мне завидовала, делала все, чтобы ему понравиться за моей спиной. И добилась своего. Он ушел к ней. Как-то конторских работников и служащих временно послали на прорыв — на сплав леса. Меня не взяли, я была в положении. А Игорь поехал, и моя подруга

тоже. Она работала в леспромхозе кассиром. Потом мне сообщили, что ночи они проводили в уединении. Так пошло-поехало...

Я все ему прощала, лишь бы он вернулся ко мне. Очень любила и не могла представить себе жизни без него. Душа рвалась на части — ведь меня предали два самых близких человека, а у меня под сердцем шевелился и не давал расслабиться маленький живой комочек, мой будущий сынок.

Они свободно развлекались. Его родители сочувствовали мне, но ничего поделать не могли. У нас родился сын, но их встречи не прекращались. Сына мы потеряли.

Из жизни ушла радость. Все было немило, все потускнело, опустело. Я теряла сознание, когда слышала рокот мотоцикла. Я видела только его. Я любила его без предела. Мне было не жаль и себя, лишь бы он был счастлив и доволен своей жизнью. Пусть он живет с моей подругой, если ему там хорошо, лучше, чем со мной. Я люблю его и хочу, чтоб он был счастлив!..

Не раз покушалась я на свою жизнь — об этом и вспомнить страшно. Но однажды решила: мне жизнь дана Богом, надо все осилить, пережить это испытание. Жизнь — это борьба. Значит, такова судьба. Крест дается по силам. У меня еще есть силы бороться. «Не падай духом, вставай и иди! — говорю себе. — У тебя все еще впереди, родители благословили тебя на большую жизненную дорогу».

Дальше терпеть не было никаких сил. На все я закрыла глаза. Всем мысленно все простила. Все стремятся к счастью — и подруга моя в том числе. Пусть она будет счастливой. Я все бросила — и работу, и комсомол — и уехала к подруге Ларисе Дроздовой в Свердловск.

Трудный это был для меня период жизни. Была борьба с собой — за любовь, за саму жизнь. Меня учили подруги, как приворожить его к себе. Но этого я не хотела. Я хотела настоящей, чистой, сердечной любви, какой она была сначала. А зла никому не желала, да и не было во мне зла, во мне была большая, настоящая любовь. Господь Бог и любимая работа помогли мне.

УЗТМ — это Уральский завод тяжелого машиностроения. Я выучилась на машиниста мостовых кранов, стала работать в 34-м сталелитейном цехе. Как исполнительную, передовую крановщицу, меня часто посылали и на другие краны, в меднолитейку, где за вредность за смену давали пол-литра молока. Первая смена — фасовка, формовка, много шума. Вторая смена — заливка, жара до 70 градусов. Третья смена — выбивка, вся пыль идет кверху.

После смены — спецовку в стирку, а сама сразу в душ, а то встречные не узнают. Но все равно работа очень нравилась, работала с удовольствием. Я делала полезное дело, чувствовала себя нужным человеком!

Занимала себя до предела. Каждый вечер в любимом заводском парке танцы под духовой оркестр. Вечером провожает меня мой стропаль из 34-го цеха, а я не могу с ним даже рядом идти, все мне Игорь мерещится. Но стараюсь забыть — пусть живет как хочет. Во Дворце культуры УЗТМ занимаюсь художественной самодеятельностью, участвую в спортивных соревнованиях. Читаю художественную литературу. Занята каждая минута. И это меня спасает от ненужных мыслей.

Как-то узнала, что срочно требуются рабочие на строительство Братской ГЭС, покорять Ангару. С завода меня не отпускают. Пишу в заявлении: «Выхожу замуж, уезжаем на строительство Братской ГЭС».

На Братской ГЭС в отделе кадров начальник Щуревич говорит: «У нас стоит башенный кран, нет крановщиков, можете сейчас поехать посмотреть».

Я тут же согласилась. Поднялась в кабину крана, проверила механизмы, посмотрела в окно и ахнула — какая красота! Бурлит перекатами красавица Ангара, кругом горы и нескончаемая тайга. Боже милостивый, как это прекрасно!

Сплошная романтика. Жилье в палатках. Клуб, столовая, баня, медпункт — все в палатках. «Комсомольцы-добровольцы, беспокойные сердца, комсомольцы-добровольцы все доводят до конца...» На стройке организован непрерывный ударный труд. И не смолкает музыка, песни под гитару, танцы. Там мы и поженились с гармонистом Федей Котеговым и прожили с ним в мире и согласии 53 года.

Мы были первыми жителями Академгородка

Когда мы с мужем Федором Федоровичем работали на Братской ГЭС, по радио услышали, что под Новосибирском началось строительство города науки. Очень нужны были строители любых профессий. А мы-то уже с опытом: я — машинист башенного крана 7-го разряда и слесарь, а Федя — столяр-плотник, бетонщик. И мы в 1957 г. приехали к родителям Феде в село Легостаево Новосибирской области.

Муж сразу устроился на работу, а я еще была в декрете. Как родила дочку Таню, сразу пошла на первый башенный кран, который тогда работал на Институте гидродинамики.

В Академгородке еще никто не жил, кроме Михаила Алексеевича Лаврентьева в его знаменитом домике.

Когда мы приехали, вначале поселились на станции Третий разъезд. У хозяев был маленький ребенок, а мы жили в подвале. Надо было срочно выходить на кран, не хватало крановщиков, тогда строителей вообще не хватало. Сказали, есть вагончик, где слесари и электрики хранят инструменты. Он был утепленный, нам его перегородили, и мы в одной половинке устроились, а потом нам его весь отдали. Вот там и жили. И это было удобно. Дороги тогда до Академгородка из города были очень плохие, машины со стройматериалами часто буксовали, приезжали поздно. Говорили: «У нас крановщик на месте до утра». В любое время меня поднимали, и я шла разгружать машины. А потом наш вагончик перетаскивали трактором на новые объекты, пока не дали нормальное жилье. Остальные строители жили на правом берегу, на левом, в Юнгородке, это теперь микрорайон «Ц», в Бердске, на Третьем разъезде. Их привозили на машинах.

Жили мы в лесных зарослях, но нам было не страшно. Иногда встречались лоси, видимо, пробегали по своим старым тропам. Днем я любовалась с высоты башенного крана голубизной Обского моря и разнообразием сибирских лесов. А осенью картина была еще краше: разноцветное покрывало пожелтевших и покрасневших листьев заполняло все пространство вокруг стройплощадки.

Крановщиков, как я уже говорила, тогда не хватало. На курсах их обучали, но немногие могли работать на высоте. И приходилось мне по две, а иной раз по три смены работать.

Первые здания, которые мы строили, — это Институт гидродинамики и угловой дом на Морском проспекте, тот, в котором сейчас управление делами СО РАН. Все силы были брошены на эти объекты. И одновременно строились жилые дома, ученые ждали жилье.

Вот и сдача первого дома. Его жители нашли дорожку к нашему вагончику и приходили благодарить нас. С того дня и нам стало веселей.

Вначале я на одном кране работала, потом на двух. Меня часто перебрасывали на другие объекты. Я любила свою работу, свой кран. Когда возникали проблемы, говорили: «А вон Котегову попросите, она сделает!» Иногда приходилось трудиться по двадцать четыре часа.

Бывало, отработаешь свою смену, приходит Иосиф Петрович Зеленский, начальник СМУ-1: «Валя, ну выйди сегодня на общежитие НГУ. Вот *так* надо! Завтра придет бригада — надо полностью перекрыть этаж, чтобы они начали новый». Если что-то кому-то надо — я обязательно сделаю. У нас были классные стропали-виртуозы Саша Ревякин и Миша Батыргалеев, мы без слов друг друга понимали. Попросила кого-нибудь из них в помощь. Пришла на общежитие, перекусила, тут и Миша подоспел. И дело пошло: весь этаж за ночь перекрыли, и раствор, и кирпичи к утру наготове для строителей, а я пошла домой — отдохнуть. Часочка два посплю, и все — дальше могу работать.

Сейчас удивляюсь: как хватало здоровья, сил? Были молодые, была цель... И всегда — с песней. Сижу там, наверху, моторы шумят... а я пою и работаю.

Мне сверху весь простор видно. Красотища!

Строительство быстро росло и ширилось, и вскоре было забыто слово «первый» — первый кран, первый дом, первый магазин, первый институт...



Строительство Академгородка. Начало

...Строительная площадка Института цитологии и генетики. Его возводила бригада С. Н. Бурнышева, уже в то время знаменитая. Только что закончилась короткая передышка: у нас в гостях была группа ученых, каждый из них рассказывал о своем. Один о своих научных изысканиях, другой о поездке за границу, а третий просто говорил «за жизнь». Сотрудники этого института, бывало, на встречи приносили «результаты своего труда»: какие-то новые сорта овощей, фотографии различных зверьков. Частенько они приходили не только поговорить, но и поработать. Брала в руки носилки, лопаты или ломы и занимались подсобными работами. Здание института мы тогда сдали с хорошей оценкой.

Такие встречи воодушевляли нас. Хотелось строить быстрее, лучше — что мы и делали. А как иначе? Ученые ждут институты, дети ждут детские садики и школы и все ждут жилье. И хотелось работать так, чтобы здания, как в сказке, росли не по дням, а по часам.

Помню, бригадир Филипп Соломатин решил с бригадой строить сразу два дома одним краном! Дали две площадки рядом. Другой бригадир Антон Юшкин, когда пришла к нему, усомнился: «А выдержишь наши темпы? Берем обязательство за месяц дом выстроить!» Не испугал он меня, а заинтересовал здорово: думаю, интересно, как получится — за месяц? Приходила пораньше, чтоб к началу рабочего дня у каменщиков все было уже под руками: и раствор, и кирпич. Все пошло хорошо, я успевала подавать строительные материалы. Нелегко было, ни минуты свободной. Зато в результате — большая экономия средств и ускоренные темпы строительства. Не месяц, а всего восемнадцать дней прошло — и четырехэтажный двухподъездный дом был сдан под отделку.

В юном Академгородке совсем не было жилья для студентов. Мы спешили построить угловой дом-общежитие на Морском проспекте. Может, кто из старожиллов помнит тот «факел»: загорелся кран, когда коротнуло проводку. Сгорела кабина, но я уцелела, сиганув со второй секции, благо был глубокий снег. Леня Проценко со второго этажа прыгнул прямо на портал и выключил рубильник. А наутро монтажники уже запустили мой кран в работу.

Смотришь сверху на стройплощадку — все как на ладони. Была бы моя воля, каждого новичка, приходящего на стройку, подняла бы в кабину крана и говорила: «Смотри, красота какая! И это ты создаешь своими руками». Любое сердце не устоит, дрогнет перед такой красотой труда: четкостью и легкостью движений, слаженностью, увлеченностью, с которой идет работа. Этот труд как песня. И у нее тоже есть свой аккомпанемент — перестук кельм четко отдается вокруг: тук-тук, чик-чик. И, глядя на быстро растущие кирпичные стены, невозможно не петь, душа поет под гул моторов и сопротивлений в кабине крана.

Этот праздничный настрой почти не покидал нас. Бывало, что в обеденный перерыв рассядемся на строительные леса и запоем песню о коммунистических бригадах, о комсомольцах. В нашей бригаде тогда все были комсомольцами. И так совпало, что большинство из них — выпускники Викуловской средней школы из Тюменской области. Они мечтали о комсомольской стройке, о большой и ответственной работе — и тут ее нашли. За короткий период обучились на каменщиков и монтажников, на стропалей. По истечении некоторого времени

кто-то из ребят поступил в высшие учебные заведения и ушел со стройки, а кто-то продолжал работать и учиться заочно. Но я думаю, что стройка, которая для многих стала стартовой площадкой в жизнь, осталась в памяти первостроителей навсегда. И как школа жизни, и как школа труда.

Работали мы с радостью и удовольствием. А как весело отдыхали! К нам регулярно приезжали артисты, имелась своя хорошая художественная самодеятельность в Юнгородке. Правда, сначала приезжих артистов мы встречали на площадке возле строящегося Института гидродинамики. Когда в городок приезжали высокие гости, мы ходили их приветствовать. Запомнились встречи президента Франции Шарля де Голля, Н. С. Хрущева, лидера Югославии Иосипа Броз Тито и других. Зарубежных гостей в строящийся городок привозили на экскурсии. Некоторые из них хотели посмотреть, как живут строители, и бывали у нас дома. Мы жили тогда уже в благоустроенной квартире на улице Золотодолинской. Ребятишек было двое: Таня родилась в 1957 г., Саша — в 1960-м. С ними бабушка Уля сидела, Ульяна Кердановна — она им была как мать родная.

В моей памяти до сих остаются приятные воспоминания о тех далеких и счастливых днях. Мы и сейчас, бывает, напеваем песни нашей молодости. И обязательно песню «Тишина», написанную и подаренную мне каменщиком, стропалем и просто строителем-виртуозом Сашей Ревякиным. Если бы вы знали, как мне хочется собраться вместе всем составом нашей бригады 1958 года!

Я с благодарностью вспоминаю наших руководителей — бригадиров, мастеров, прорабов, начальников разного уровня. Первым мастером у нас на строительстве был Леня (Леонид Трофимович) Проценко, а прорабом Илья Зиновьевич Рахман. Вспоминаю и бригадира Филиппа Соломатина.

Мы работали тогда не жалея себя. И городок рос буквально на глазах: ежемесячные сдачи в эксплуатацию стали обыденным делом. Задел строительства был настолько большой, что всего и не перечислить. С крана это было особенно хорошо видно: и там идет стройка, и там — везде.

Мне довелось принимать участие и в строительстве Дома ученых. От самой закладки фундамента. Требование было ко мне суровое: чтобы никоим образом не повредила деревья, которые не подлежали вырубке. Приходилось разворачивать стрелу крана так, чтобы не пострадала ни одна ветка.

Как-то на строительстве ДУ был такой случай. Было это в мой день рождения.

— Может, тебя сегодня подменят? — спросил муж Федя, провожая меня на работу.

Что я могла ответить, если хорошо знала, что на стройке крановщиков не хватает? Надеюсь, что после работы еще хватит времени, чтобы посидеть за праздничным столом.

Не успела я подойти к крану, как мастер В. Долгих меня предупредил:

— Валя, сегодня у нас ответственная работа — будем укладывать первую стальную ферму. Груз предельный для крана, нужна высочайшая осторожность.

Предстояло поднять 36-метровую стальную каракатицу.

Все началось как обычно. Идет раствор, кирпич, бетон. День уже почти подходит к концу, а ферма лежит еще на земле. Подумалось: «Может быть, на завтра все перенесут?»

И тут слышу голос бригадира снизу:

— Валя, давай сюда!

Вот уже и ферма зацеплена. Медленно натягиваю стропы. Стрела наклоняется все ниже и ниже к земле, а ферма все на месте... И вот наконец стрела, похрустывая, послушно понесла груз. Вот концы фермы коснулись бетонных простенков. Облегченно вздохнула. Но ферма, оказывается, на свое место пока не встала. Долгих быстро сбрасывает с себя пальто, надевает монтажный пояс — и вот он уже завис над простенком с отбойным молотком в руках. Раздается пулеметная очередь работающего молотка. Дело пошло. И вскоре ферма застыла на том месте, которое ей было предназначено проектом.

Давно уже разошлись по домам бригады каменщиков и плотников, и только монтажники-высотники, человек шесть, заняты своим делом. А я думала только об одном: установить первую ферму надо именно сегодня.

— Майна! — весело кричит бригадир. — Но ты зайди к нам, надо посоветоваться, как дальше поведем монтаж.

Спустилась с крана, захожу в бытовку. А навстречу мне в один голос:

— С днем рождения, Валюша!

Шутят, смеются, довольные. И преподносят мне подарок, который и сейчас у меня стоит на видном месте — фигурку мальчика с собакой.

Много теплых и добрых слов было мне сказано в тот день. На поздравительной открытке остались подписи: «В. Долгих, В. Тиль, И. Иванов, А. Новиков, В. Шубин, Н. Андреев».

А дома терпеливо ждали гости. Стол был накрыт. Все уже знали, что сегодня, 14 апреля, мы установили первую ферму над Большим залом Дома уче-



Всесоюзный семинар строителей-каменщиков в Сибкакадемстрое.
 В. Котегова в центре первого ряда

ных. Радость была одна на всех. До полуночи пели, танцевали, рассказывали забавные истории. И спать в ту ночь не хотелось, душа переполнялась радостью прожитого дня.

Такое остается в памяти на всю жизнь.

Дом ученых сдали в канун 50-й годовщины Октябрьской революции, сдали с оценкой «отлично».

Начальник СМУ-1 И. П. Зеленский вручил хозяевам этого прекрасного здания символический ключ. Я была приглашена в президиум как почетный гость. В тот день на сцене ДУ впервые выступили самодеятельные артисты ДК «Академия».

Мне тогда вручили пропуск на все мероприятия в Большом зале. Другое дело, воспользоваться им я так по-настоящему и не смогла: времени не было.

Как сейчас вспоминается: стоит Иосиф Петрович Зеленский под краном и приглашает меня спуститься вниз.

— Валя, неотложные дела. Срочно нужно перекрыть этаж железобетонными плитами, чтобы завтра с утра бригады начали работу — здесь будут проходить соревнования каменщиков.

— Будет сделано! — отвечаю я ему. — Только дайте стропалю Мишу Батыргалеева.

Все планы на вечер разрушены. Первая смена закончилась, ставлю свой кран на захваты. Начинаем работу, нельзя подвести Иосифа Петровича. Мне он запомнился человеком слова и дела, его очень уважали строители.

Стропаль Миша был несравненным мастером своего дела, мы с ним друг друга в работе понимали без слов.

Все. Уложена последняя плита. Дело сделано. Но ведь завтра надо прийти ранешенько, чтобы к началу смены расставить кирпичи и раствор, подготовить рабочее место для каменщиков.

И так день за днем.

Про Лаврентьева

За всю мою жизнь в Академгородке я общалась со многими интересными людьми. Особенно дороги мне воспоминания о Лаврентьеве. Это был очень простой человек — открытый, добрый. Когда строили Институт цитологии и генетики, Михаил Алексеевич часто к нашей бригаде приходил. Видит, кран остановился, значит, перекур или обед. Конечно, это во вторую смену, днем он у себя на работе был. Рассказывал, что и как будет в Академгородке, что они разрабатывают, чем занимается Институт цитологии. О том, как он ездил за границу, как у них там живут.

Мы знакомы были с ним хорошо еще и потому, что он был депутатом Верховного Совета, а я районного, и мы встречались на депутатских сессиях вначале на левом берегу в райисполкоме, а потом в Доме ученых. Я ему, бывало, говорила: «Михаил Алексеевич, вы такой занятой, у вас такой коллектив ученых, и вы, человек мирового значения, тратите золотые ваши минуты на нас, строителей!» Он меня по плечу похлопает и отвечает: «Эх, Валентина, вы недооцениваете себя. Вы знаете, кто такой строитель? Это создатель. Без строителей не было бы нашего Академгородка».

Вспоминаю одну из таких встреч. В нашу депутатскую группу входило четырнадцать человек, в том числе большие ученые — доктор технических наук Георгий Сергеевич Мигиренко, доктор биологических наук, директор Ботанического сада Кира Аркадьевна Соболевская. Мы еженедельно подводили итоги проделанной депутатской работы. Местом для проведения заседаний был кабинет в 166-й школе. И вот на одном из заседаний мы решили, что надо озеленить территорию школы. Кира Аркадьевна разработала план посадки деревьев и кустарников, секретарь депутатской группы, преподаватель начальных классов Нелли Николаевна Семашко была ответственной за сбор и организацию старшеклассников для копки лунок под посадку. А мы с директором школы Петром Спиридоновичем Сиволобовым пошли с нашим предложением на прием к Лаврентьеву — за технической помощью.

Михаил Алексеевич встретил нас на пороге своего кабинета. Воодушевленный успешно проведенным опытом, он продемонстрировал стальную болванку, расщепленную струей воды. После чего внимательно нас выслушал, рассмотрел план посадки. И тут же поднял трубку телефона, кого-то вызвал, дал указания — все спокойно, вежливо, деликатно.

На другой день с утра у школы уже стоял транспорт: автомашины, бульдозер, экскаватор. Михаил Алексеевич предоставил нам все, что было необходимо для доставки деревьев и кустарников из Ботсада и посадок на территории школы. И буквально за один день мы с учителями и учениками посадили целый сквер. Он красуется там и сейчас!

Вот так Лаврентьев руководил людьми. Я каждый раз, когда прохожу мимо памятника Михаилу Алексеевичу, остановлюсь, поклонюсь и слова благодарности говорю. Он для меня — учитель жизни. И то, что он, создатель Академгородка, стоит сейчас в центре как страж этого городка, — это правильно.

Про депутатскую работу

Кроме того что я работала на кране, еще я была руководителем депутатской группы по верхней зоне Академгородка, редактором газеты «Механизатор» в управлении механизации, общественным корреспондентом «Известий», заседателем народного суда. Художественной самодеятельностью занималась. Как-то все успевала делать.

А Лаврентьев узнал меня как депутата потому, что меня все время нахваливал Иван Прохорович Мучной, председатель райисполкома. Бывало, на сессиях он говорил: «Берите пример с Котеговой Валентины Ефимовны! Посмотрите, сколько она уже решила вопросов!»

Поначалу бытовых вопросов было очень много: и жилищных, и по детским садикам, и торговля, и транспорт... И работой-то была загружена, но общественными делами я всегда с удовольствием занималась.

Мучному возражают: «Ну что вы всё нам Котегову в пример приводите? У Котеговой нет портфеля, нет кресла, у Котеговой есть башенный кран. На этот башенный кран никто не претендует! А если мы будем так напирать — завтра вы нас сбросите с нашей работы...»

Я потому и стала руководителем депутатской группы, что пробивная. Четырнадцать человек — депутатов районного, городского, Верховного Советов, а я вот была у них за главного.

Приду, бывало, к секретарю райкома партии Яновскому Рудольфу Григорьевичу. «Знаете, — говорит, — вот завтра...» Я ему в ответ: «Завтраками меня кормить не надо — у меня кран стоит! А там не одна бригада его ждет. Кран стоит — работы нет! Вы мне сейчас решите этот вопрос, сейчас. Я от вас так просто не уйду!» Ему хочешь не хочешь, а действительно приходилось подписывать что нужно.

И к Николаю Маркеловичу Иванову, начальнику Сибкакадемстроя, приходилось обращаться за решением депутатских вопросов... Я же к любому начальнику обращалась, хоть у строителей, хоть у ученых. Где работает мой жалобщик — к тому начальству и иду. Николай Иванович, бывало, скажет: «Валентина, ты не стой за дверями, ты мне позвони и заходи сразу в кабинет». Очереди, конечно, на прием всегда большие. Так и делала. «Котегову пропусти!» — и все. Он же знает, что я работаю на кране. Звонит после разговора своему шоферу: «Вот Валентина работает на таком-то объекте, отвезешь ее!» Выйдешь — машина уже стоит. Некогда разгуливать было.

* * *

Когда строился Дом ученых, мой башенный кран стоял на месте Большого зала. При сдаче объекта в эксплуатацию Михаил Алексеевич Лаврентьев с трибуны произнес: «Валентине Ефимовне Котеговой в этот Большой зал на все художественные мероприятия вход свободен!»

Но у меня тогда не было свободного времени ходить на концерты. А теперь есть, но времена не те и люди не те... Раньше мне звонили из Дома ученых: вот сегодня такой-то певец выступает, приходите. Если мест нет: «Мы вам стульчик поставим!» Тогда я могла сходить и не платить большие деньги, которых у меня не было.

И я шла туда как домой, как на встречу с юностью моей.

А сейчас мне говорят: «Ой, вы знаете, нам билетов мало дали!» В смысле, бесплатных. Ну ладно, иду покупаю самые дешевые...

Я хожу сюда с удовольствием на любое мероприятие, особенно песенное.

И Дом ученых для меня самый дорогой моему сердцу объект, который я строила в Академгородке.

Я вообще люблю Академгородок. У меня малая родина моя — деревенька Степановская, а в Сибири — Академгородок. Он для меня родной с первого колышка геодезиста, первого института, первого дома, первой школы, которые я строила. Академгородок раньше называли «академдеревней». Меня это даже радовало, что я могу сравнить мою «академдеревню» с моей деревней Степановской.

Он настолько был родной, что, бывало, идешь — и так и хочется сказать: дома мои, улица моя! Стоят коляски под окнами, вокруг настолько спокойно, что можно было не бояться никого и ничего. Люди знали друг друга, ходили в один магазин, в один кинотеатр, дети вместе учились. И как-то все были дружны, как когда-то в нашей деревеньке, в которой я выросла.

А сейчас он стал холодный, отдаленный. Не тот теперь Академгородок...

Светлана ГОЛИКОВА

ТОМСК В ГРАФИКЕ ВАДИМА МИЗЕРОВА

Вадим Матвеевич Мизеров (1889—1954) — график, педагог. Учился в Казанской художественной школе у Н. И. Фешина (1908—1913). В 1914—1920 гг. работал в Кургане, с 1920-го — в Томске. Член творческого объединения «Двадцати шести» (Томск, 1920—1921), Общества охраны памятников искусства и старины (Томск, 1920—1921), Всесибирского художественного общества «Новая Сибирь» (1926—1929, председатель Томского филиала), Союза художников СССР (с 1934). Участник выставок с 1913-го. Преподавал рисунок в Томском технологическом институте (1923—1946), руководил художественными студиями в Томске.

Одной из самых заметных особенностей художественной культуры Сибири первой трети XX в. стал поиск регионального своеобразия в изобразительном искусстве. Стремление обрести такое своеобразие находило выражение в интересе художников к этнографическим темам, побуждавшим их к работе в научно-исследовательских экспедициях и созданию многочисленных серий документальных зарисовок, в обращении к фольклорным мотивам, связанном с попытками формирования особого «сибирского стиля». В русле этих поисков, важных для развития местного искусства названного времени, оказываются и произведения, посвященные образам сибирских городов.

Архитектурная тема особенно цельно и значительно реализовалась в работах художников, живших в 1920-е гг. в Томске. Облик этого старинного города служил неисчерпаемым источником для их творчества, а научно-просветительские общества, активно действовавшие здесь, видели одну из важнейших своих целей в сохранении и изучении памят-

ников зодчества. Хорошо известен тот существенный вклад, который внесли в решение этой задачи художники, объединившиеся в начале 1920-х гг. вокруг секции ИЗО Томского наробраза и занимавшиеся планомерными архитектурными зарисовками. Несмотря на заведомо прикладной, исследовательский характер такой работы, эта часть их наследия содержит немало произведений, в которых реальные городские виды преобразались индивидуальным творческим восприятием художника и наделенных неподдельной художественной образностью.

Пример такой интерпретации архитектурного пейзажа, в которой незримо, но ясно присутствует личность художника, можно найти в рисунках Вадима Матвеевича Мизерова (1889—1954). Творчество этого мастера, воспитанника Казанской художественной школы, работавшего в Томске с 1920 г., стало одним из самых талантливых отражений стиля модерн в сибирском искусстве. Присущие его манере камерность, изящество, утонченная лиричность образов проявились и

в графических листах с архитектурными мотивами, хранящихся в коллекции Новосибирского государственного художественного музея.

Получив образование на архитектурном отделении Казанской школы и имея опыт зарисовок традиционных построек в Пермской губернии, Мизеров естественно присоединился к числу томских художников, посвящавших себя архитектурному пейзажу. «Все лето 1920 года, — писал искусствовед П. Д. Муратов, — В. Мизеров проходил с альбомом по городу, рисовал и писал акварелью старинные сибирские избы, с удовольствием чувствуя, как оживает в нем художник».

Три рисунка, исполненные Мизеровым в окрестностях Томска — в старых селах Каштак и Семилужки, — объединены как общими техническими приемами, так и выразительностью художественного решения, эмоциональностью, гармонично входящей в натурный этюд. В этих листах ясно ощутим искренний интерес художника к красоте народной деревянной архитектуры. Теплый оттенок коричневатой бумаги, ее чуть шероховатая фактура, мягкие градации тона графитного карандаша, штрихи белого мела, воспроизводящие блики солнечного света в дверных и оконных проемах, определяют живописный характер изображений. Сходные композиции этюдов «Дворик» и «Сенцы» фрагментарны и в то же время монументальны. Низкие, покосившиеся проемы и выщербленные двери не противоречат здесь общему впечатлению

добротности и прочности построек, создающемуся грубоватой мощью крупной бревенчатой кладки, чередованием замкнутых и открытых пространственных планов. В рисунке «Село Семилужки» привлекает внимание его ритмическая цельность: разрушающийся старый дом словно подхвачен вверх вихревыми линиями облаков, вовлечен в их движение.

Другая грань графического почерка В. М. Мизерова — интерес к выразительным возможностям силуэта и гибкой контурной линии — воплощена в работах «Улица Гоголя. Томск», «Купола и листья», «Университет». В акварели «Купола и листья», предположительно определенной как изображение Троицкой церкви в Томске, подчеркивается контраст бирюзово-синей храмовой кровли и желтой осенней листвы, в свою очередь ярко выделяющейся на фоне темной хвои елей. Особая декоративность такого сопоставления достигается локальностью больших цветовых пятен и изысканной условностью их очертаний, выполненных черной тушью. Рисунок «Университет» также основан на контрасте темных, четких силуэтов деревьев, ограды, фигурок людей — и светлого, тающего фасада в глубине.

Томские мотивы начала 1920-х гг. предстают в рисунках В. М. Мизерова полными тихой и медлительной красоты, неуловимо отрешенной от конкретного времени. Гармоничная созерцательность, заключенная в этих образах, определяет неповторимое обаяние творческой личности художника.



АВТОРЫ НОМЕРА

Базилевский Михаил Сергеевич родился в 1974 г. в Иркутске. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Работает в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова. Стихи публиковались в журнале «Сибирь». Живет в Иркутске.

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Гребенников Алексей родился в Новосибирске. Окончил Новосибирский авиатехникум. Служил в морчастях погранвойск КГБ СССР на Курильских островах. Автор сказок, опубликованных в сборнике «Среда обитания», а также книги «Третий экипаж» (совместно с Г. М. Прашкевичем). Живет в Новосибирске.

Заплавный Сергей Алексеевич родился в 1942 г. в Чимкенте. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Поэт, прозаик, публицист. Автор нескольких десятков книг прозы и поэзии. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Наш современник» и др. Живет в Томске.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в 1947 г. в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Косых Ирина Михайловна родилась в 1976 г. в Тамбовской области. Окончила МГУ и ВЛК при Литературном институте им. Горького. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Волга», «Урал» и др. Работает школьным учителем. Живет в Тамбове.

Котегова Валентина Ефимовна родилась в 1934 г. Работала крановщицей на Братской ГЭС. Первостроитель новосибирского Академгородка. Руководитель фольклорного ансамбля «Журавушка» и музея народной культуры «Горница». Живет в Новосибирске.

Куницын Владимир Георгиевич родился в 1948 г. в Тамбове. Окончил философский факультет МГУ. Автор множества статей, рецензий и трех книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и исто-

рии кино. Вел авторские передачи в эфире радио «Маяк». С 1998 по 2014 г. работал на Центральном телевидении. Член Союза писателей России.

Люблинская Лидия Ефимовна родилась в 1948 г. в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. Работала в редакции крупного издательства. Автор двух поэтических книг. Член Международной федерации русских писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

Максименко Виталий Александрович родился в 1975 г. в Хабаровском крае. Окончил Хабаровский педагогический институт. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Юность», «Дальний Восток», «Веси». Кандидат физико-математических наук. Работает преподавателем в Дальневосточном университете путей сообщения. Живет в Хабаровске.

Некрасова Марина Сергеевна родилась в 1971 г. в Чите. Окончила областное музыкальное училище, факультет журналистики Забайкальского университета. Работала журналистом, преподавателем русского языка как иностранного. Кандидат филологических наук. Публиковалась в журналах «Слово Забайкалья», «Дальний Восток», «Другой берег» и др. Живет в Чите.

Рысенков Василий Николаевич родился в 1966 г. в пос. Кречевицы Новгородской области. Окончил аграрный вуз, работал агрономом и учителем. В настоящее время преподает литературу и ряд других дисциплин в колледже Росрезерва города Торжка. Публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Русская провинция» и др. Автор шести сборников стихотворений. Член Союза писателей России. Живет в Торжке.

Сапрыкина Татьяна родилась в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Живет в Новосибирске.

Скрундзь Татьяна Павловна родилась в 1982 г. в Липецке. Окончила Липецкий технический университет и Литературный институт им. Горького. Работала фотографом, дизайнером, водителем такси, журналистом. Публиковалась в журналах «Урал», «Октябрь», «Новая Юность» и др. Живет в Липецке и Санкт-Петербурге.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 29.11.2016 г. Дата выхода № 1 за 2017 г. в свет 12.01.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.